

1997



Октябрь

Октябрь

11 1997

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

11

1997

НОЯБРЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Анатолий НАЙМАН.
Славный конец бесславных поколений. Главы из книги 3
- Анатолий АНАНЬЕВ.
Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Продолжение 47
- Ольга КУЧКИНА.
Дым дождя. Стихи 114
- Юрий КАРЯКИН.
Дневник русского читателя. Из записных книжек. Переделкино. 1996 117

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- Сергей ПЕТРОВ.
Спиной к былому... Стихи. Вступление Е. Витковского. Публикация Александры Петровой 145

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

- Л. В. СКВОРЦОВ.
Общество и насилие 149

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Панорама

Кирилл КОБРИН. *По ту/эту сторону стекла* (Алексей Пурин. **Созвездие Рыб**); Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ. **Сбой программы** (Чингиз Гусейнов. **Директория игра**); Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ. **Холодные руки Венеры** (о книгах издательства «Энигма») **165**

Россия и Толстой

Из материалов Отдела рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого

Татьяна НИКИФОРОВА. «...что может быть полезно людям». К истории собирания рукописного наследия Л. Н. Толстого. * «**Вы кажетесь мне в сто раз выше Петра I!**». Вступление, публикация и комментарии О. А. Голиненко **171**

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.
Есть русская интеллигенция! **184**

Мелочи жизни

Павел БАСИНСКИЙ.
Простое как самое сложное **188**

В несколько строк

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ **191**

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.
Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.
Рукописи редакция не возвращает.
Рукопись может быть возвращена в течение года при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на пересылку.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

И. Н. БАРМЕТОВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (зав. отделом прозы),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (зав. отделом критики),

И. А. БРЯНСКАЯ (публицистика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 29.09.97. Подписано к печати 21.10.97. Формат 70x108^{1/16}.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.—отт. 17,50. Учетно—изд. л. 21,61.

Тираж 9590 экз. Заказ № 2411. Цена 15 500 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 1792 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместитель гл. редактора — 214-63-64, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-63-64, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

E-mail oktybr@orc.ru

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1997. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Славный конец бесславных поколений

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Наш Запад, наш Восток

Востока всегда было больше, чем Запада. От Ленинграда, где я жил, уже Москва была Восток, Азия. А Запад кончался Таллином, часов шесть, ну восемь на автомобиле. Потому что Латвия, Рига, со всеми их большевистскими костистыми физиономиями и штанами, шитыми на фабрике «Узвара», — та вообще была Россия, только что половина букв на улице — западные и время от времени вместо «здрасьте» — «свейки»: дескать, вот так, суверенный язык, а что вам слышится «свои, советские», то и очень хорошо и в каком-то смысле так оно и есть. Мы — ваше Рижское взморье.

Что касается Литвы, то даже в Вильнюсе, не говоря уже о Каунасе, ты понимал, что это другое, настоящая другая страна — под этой, советской социалистической, — так что, не в пример латышскому низменно-высокомерному «несапруату», тут не против и ответить русским языком на твой русский язык да хоть бы и Белоруссией в твоих глазах выглядеть, потому что есть запасец крепости волочить на себе, не сгибаясь, и Россию (включая тебя), хамовато налегающую, и собственную свою ношу. Но — Литва. Понимаете: литва, мордва, братва. И правда, что чуть не Белоруссия: Вильно, Ковно. Другое, но не Запад.

В Таллине же пили ликер и была улица Виру. На рейде стоял датский фрегат, в заливе плавали медузы. Швейцар в дверях отеля «Палас» походил на полковника подпольного национального штаба, а не КГБ. В гостиницах были свободные номера. По улице могла пройти женщина, про которую могло прийти в голову, что она принадлежит к таллинскому бомонду. К некоему таллинскому обществу явно принадлежали также многочисленные мужчины с усиками, пившие в буфетах ликер. Не редкостью были иностранцы, ими становились даже финны, в Ленинграде пребывавшие в статусе отпущенных с полочки в ближайший кабац батраков. Девушки коротко стриглись, молодые люди носили укороченные галстуки. В ресторанах горели свечи, оркестр играл негромко, джаз в стиле «кул». Куул, по-эстонски. В Таллин приезжало из Москвы и Ленинграда кино снимать Запад.

Летом 61-го года там снимали Таллин. По аксеновской повести «Звездный билет», герои которой, по юности еще беспастушные, едут туда все в той же, пусть полуосознанной, тяге к не ординарной, не вполне советской жизни. Снимали то есть тот же Запад, но опосредованный сперва литературой. Аксенов насмотрелся Таллина, когда попал туда на военные сборы как студент медицинского института. Теперь он сопровождал группу как сценарист, на случай переделок, введения новых эпизодов и проч. Но какие такие переделки могут случиться в утвержденном в министерстве сценарии? Он пригласил меня разделить досуг.

Единственный раз, когда в нем явилась надобность, был связан с его прошлым — предельно кратким — врача. Мы сидели на скамейке недалеко от съе-

мок, разморенные жарой, и тянули из горлышка, запрокидывая бутылки, лимонад «Саяны». Десять лет спустя, в городе Софии, где нас тогдашних сейчас склоняются называть оккупантами, а тогда все «братушки, братушки», висели в забегаловках и в ресторанах плакатики с рекламой, коммунистически строгой, «нового напитка “Саяны”»: «По тонизирующим качествам не уступает знаменитой «Кока-коле», а по вкусовым намного превосходит ее». Тогда мы этого еще не знали и просто тянули сладковатую влагу, бессмысленно глядя на абсолютно плоское, серое под белым солнцем, неподвижное, мелкое море. За нами росли кусты, из них стал надвигаться шум чьего-то приближения, различались слова жарких убеждений: «Да покажи не стесняйся — никакой это не Василий Павлович, а доктор!» — и ассистентка режиссера подволокла упиравшуюся девицу, низшую по иерархии ассистенток, у которой, видите ли, обнаружилась сыпь на животе. Первая старалась задрать ей, а она одернуть подол платья. Аксенов бросил брезгливый сконфуженный взгляд и велел пить травяной сбор. Не сказать, что было это по-восточному, но как-то не по-западному, согласитесь.

Дни бежали легкие, пустые, ничего интересного, никаких событий. Кино есть кино, чего вы хотите! Кино — это напористые суетливые люди, мало знающие, что-то одно, другое, третье, но не больше трех читавшие, плюс кто-то с кем-то кому-то изменяет. Как говорится, возможны варианты: читают больше трех или, наоборот, меньше одного, но во всех случаях — снять выше головы не могут, снимают что-то, что с ними было или они где-то увидели-услышали, в том числе и в кино. Напор отнимает выделенные им душевные силы, уносит тонкие чувства. На экране все должно двигаться, потому что кино, кинематика, ну и двигается, а экран маленький, отсюда суета. И, насмотревшись и наснимавшись кино, спят друг с другом беспорядочно — как в кино. Но видимость — азартная, праздничная, боевая.

Наконец мне уезжать, и как раз в этот день приехал московский «Спартак» играть в футбол с местным «Калевом». Ну-ка, посмотрим, как Хусаинов их потерзает, *пофолует*. Всей компанией на стадион, а стадион республиканский, — как где-нибудь в воинской части. И играют так же, и болеют. Я видел, в Петергофе, по пути на вокзал, сошлись местный стройбат и пожарники. У пожарников центр защиты был представительный мужчина, большой, в усах, стоял, прохаживался, прихорашивался, пошучивал, потом делет к нему мяч, он оглянется победительно направо-налево и по мячу — бабах! со звоном — и стон по рядам полногрудых бухгалтерш и домработниц, которых всех хотелось называть вдовушками.

Два — ноль сыграл «Спартак» на белом балтийском солнцепеке, на пустом тихом стадионе, с крепкими, кровь с молоком, парнями из песчаной страны Ээсти. Были среди них с фамилиями Сеергеев, Нииколаев, но и эти выглядели, как шведы — как шведы под Полтавой, вынужден прибавить. Слышно было, как лажка шлепает в лажку, кость вламывается в кость, помпой чаете воздух дыхалка — просто так, без азарта, без радости, без игры, а потому что, хочешь — не хочешь, два тайма по сорок пять минут — такие условия. Оживляли картину три грузина, судьи, тонкие, звонкие, жестикулирующие, бегущие спиной вперед, назад, с флажком, свистком, асса!

Вечером — отвальная, ужин в мою честь, ресторан «Палас». В последний раз Анатолий ест с нами раковый суп, пьет «Вана Таллинн» — пусть это будет не в последний раз, Анатолий. И так далее. И так это удачно происходило в июле 61-го года, что получалось славно, весело. И вон, глядите, грузины-то, которые матч судили, сидят поднимают бокалы, и с ними Никита Симонян, тренер «Спартака». Вот где, наверное, тосты, вот где культура застолья — Кавказ! И один из судей, из грузин, из кавказцев, как грациозно он поднимается, как виртуозно направляется к нашему столу, как любезно приглашает даму на танец. Алку, Сашкину жену. Блондинку с упругостью членов и голубизной глаз. А она изысканно парирует: «Благодарю вас, я не танцую». Это очень трудно, практически невозможно — не солоно хлебавши развернуться и уйти за свой столик, особенно после такого великолепия начала, особенно грузину — да? — кавказцу. Он говорит: «Почему не танцуете — я же видел». Еще все улыбаются, еще можно разрешить дело шуткой, мол, танцевала и вот устала, и мог бы су-

дья республиканской категории из Тбилиси с достоинством вернуться к товарищам. Но молодость не знает снисхождения, а выпившая молодость вообще ничего не знает, и в лице Анатолия она зачем-то встает со стула и отчеканивает голосом дуэльного тембра: «Кажется, вам ясно сказано?!» Почему это беру на себя я, если Сашка преспокойно сидит напротив и ухмыляется! Рыцарь в тигровой шкуре жестоко веселится и говорит напевно: «Пойдем выйдем». Я отвечаю: «Подождешь!» — и сажусь на место, но настроение у меня испорчено.

Еще раз пьют за меня, натужнее, чем прежде. Никто меня не одобряет, никто не ободряет, ни мой столик, ни, понятное дело, их, откуда, как ни взгляну, перехватываю пулеметные очереди прожигающих взглядов. А-а, одна живем, забудем, там увидим... И я выхожу с чемоданчиком на улицу, потому что пора на поезд. Никто меня не ждет, пустая площадь, тучи, темные улицы. Вокзал освещен неяркими огнями, народу мало, тихо, мирно. Хватит, погуляли, подурили, завтра — новая жизнь. Мрачноватая, подобранная, подсохшая, без анютиных глазок в конических фужерах на крахмальных скатертях. Сейчас — спать, утром дома — под холодный душ, никаких звонков, встреч, сосредоточенность. Поднимаюсь в вагон, вхожу в купе — три грузина, судьи республиканской категории, смотрят на меня с незастенной нижней полки.

Сидят в ряд и смотрят на меня ошеломленно, и я на них — сами догадайтесь как. На столе коньяк, не открытая еще бутылка и стаканы.

Пропускаю первые: «За каждый звук! нанесенного своего языка!» (с устрашающим достванием из заднего кармана перочинного ножа) — и: «Подожди, Георгий, пусть локомотив наберет ход». Пропускаю мое мычание, бормотание, перемежаемое риторикой, прикрывающей капитулянтские нотки. Их вопрос, в каком фильме я снимался: они точно помнят, что видели меня на экране, но вот в каком фильме? Мой гордый ответ, что я пишу стихи. Их вопрос, знаю ли я стихотворение Бараташвили... «Синий цвет»! — почти кричу я. Наше чтение — мое по-русски, их по-грузински — «полюбил я синий цвет». «Согласись, генацвале, по-русски хуже; по-грузински точнее». Мое упрямство со скрытой целью показать, что ресторанный резкость была не минутной, а что я вообще резок, непримирим, когда дело касается чего-то *дорогого*: «Пастернак выше Бараташвили!» — то есть новое хамство. Но на этот раз они добродушно, с демонстрируемой иронией: «Что ты такой горячий, Анатолий, слушай? Ты давай выпей коньяка, чтобы охладить нервы, да?»

Локомотив давно набрал ход, мы пьем вторую, не то третью бутылку, Автандил стоит в проеме дверей, Георгий и Давид с двух сторон облокотились на столик, подперев щеки, и поют, Автандил, Георгий и Давид поют, а Анатолий из угла их слушает. О, трехголосое грузинское пение! Кто не слушал его, тот... тот — что? Нет, я не могу себе представить человека, который ни разу не слушал трехголосого грузинского пения. Это как, ну там, море плещет, или там Моцарт. Трехголосое грузинское пение — это тоже было *за границей, не наше*, но потому что по другой оси координат, по перпендикулярной нашим картам, на ней откладываются не Запад и Восток, а Ханаан и потоп, Вавилон и Уц.

Из соседнего купе, из его филистерски советского пространства, стучат в стенку: сколько можно хулиганить? люди едут в командировку! завтра рабочий день! Давид задвигает дверь, Автандил едва успевает отдернуть руку, палец все-таки задело, больно, амтацхэ хцава варнахе хчэ, ты что, не видел? А ты куда смотришь, тацмахэ вахцэ Святослав Рихтер чхэ нахвар? Заживет, слушай, тоже мне народный артист! За окном уже светло, начало розового рабочего дня, мы обмениваемся адресами, политая из шланга платформа Балтийского вокзала, мы друзья, друзья расстаются. Вечером, когда рабочий день наполовину проспан, наполовину зачитан какой-то прежде читанной книгой, друзья звонят в мою дверь, в их портфелях звякают бутылки, и с ними три подруги. Я вру, что вот-вот должна прийти мама и еще бабушка, — они уверяют меня, что мама с удовольствием примет участие в веселом застолье, в *кутеже князей*, а бабушке все равно. Тут подруги говорят, что нет, они сюда не пойдут, — пышные, коренастые, пышный крашенный перманент, подозрительный взгляд продавщиц. Князя сухо со мной прощаются, навеки.

И проходит какая-то часть этих веков, я сам уже мама и бабушка, и в Риге сажусь в московский поезд: я, жена, двое маленьких детей, и десяток огромных узлов и чемоданов, потому что сейчас конец августа, а приехали мы в мае — с вещами на все лето. Нас провожают, представьте себе, друзья, не просто другие, а другого качества; того качества, одноразовые, с годами встречаются все реже. Проводница берет наши билеты, называет номер купе, внезапное оживление сзади в очереди, кто-то отталкивает, расторопно влезает прежде нас, через минуту выясняется, что *двойники* с билетами на наши места, а теперь выходит, что у нас на ихние, потому что они уже сидят, распахали свои баулы и к столику привязали своего фокстерьера. Наши *бехихи*, таким образом, свалены в коридоре, по всей его длине, затрудняя движение пассажиров, вызывая их возмущение. Поезд трогается, локомотив набирает ход. Из дальнего купе выходят трое кавказцев с жестокими лицами. Абреки.

«Твои вещи?» — «А вам что за дело?» Нормальный ответ, правильно? Темпераментный, но ведь тот же человек из ресторана «Палас» отвечает. «Нехорошо». Непонятно что: что грубо ответил, или что мешаю, или что с детьми без места. Трое берут самый большой тюк, зеленый продолговатый мешок, в котором транспортировали трупы американских солдат во Вьетнаме, заносят к себе и закидывают наверх. Следующий — в следующее купе, следующий в следующее. Появляется проводница с известием, что нашлись места в соседнем вагоне. Трое говорят: «Не переносить же», — и мы налегке отправляемся в соседний вагон.

Возвращаюсь поблагодарить. На столе коньяк и сардельки. Садись, дорогой. Тост: чтобы хорошим людям было так же хорошо ехать в поезде, как вообще жить; всегда. Это они произносят. Второй тоже они: чтобы маленьким детям, когда они вырастут, было так же приятно летать на самолетах, как ездить в поездах. Третий мой: пусть продают по два билета на одно место, чтобы через это торжествовала человеческая отзывчивость. Нормальный тост. Левон, Муслим и Алик смотрят на меня, как старики на мальчишку, снисходительно и поощрительно: для русского барана — неплохо.

Левон, Муслим и Алик — азербайджанцы, едут с рынка: расторгнулись, и теперь в Москву сменить товарищей, торгующих там с весны. После непонятного неуспеха тоста я хочу убедить их, что душа у меня не только благодарная, но и созвучная ихним, я говорю, что у меня есть близкие друзья-азербайджанцы, вместе учились на сценарных курсах, *Высших* сценарных курсах. Братья Ибрагимбековы... Они отвечают не спеша, внушительно — как учитель, объясняющий очередным пятиклассникам теорему Пифагора: Ибрагимбековы не азербайджанцы, они из Махачкалы. Я обескуражен: ну что вы говорите? они из Баку, я их прекрасно знаю, Максуд и Рустем... — Увы, друг, из Махачкалы. — Вы что, с ними знакомы? — Ибрагимбековы, дорогой друг, из Махачкалы... Пауза. Я сбит с толку, в растерянности бормочу: и Анар Рзаев, и с ним мы дружили, очень талантливый, тоже на сценарных курсах. Сын знаменитого поэта Расула Рзы, прибавляю. Анар Рзаев — азербайджанец, соглашаются они, но он сам ничего не пишет, за него все пишет отец.

В Москве, в такси, набитом собранным воедино багажом, рассказываю это, свеженькое, встретившему нас приятелю. У Марьиной рощи таксёр оборачивается: «А сами они? Левон — армян, Алик — молдаван, один Муслим — азербайджан, и то сомневаюсь». Уважаемый, говорю, Кавказ — это Восток или Запад? «Кавказ — это Кавказ, от него вся наша бедовая жизнь...» Я рассказываю ему про Прометея. — Неприязненно: «Слыхали».

Я его логику понимал. Запад — это, конечно, неприятель, но внушающий уважение и неприятельствующий — и заставляющий с ним неприятельствовать — по правилам. Уважение он внушает холодным шармом разных пневматических или атомных фузей и шоколада, первее же того, устрашающей таинственностью порядка, господствующего над остальными проявлениями жизни. Неприятель Восток — наоборот: всё не по правилам, отсталая патриархальность, торжество беспорядка, кривизны, спонтанности, никакого уважения. А это уже прямо про Кавказ, эрго: Кавказ — Восток. И шире: вообще, Юг — это тоже Восток. То есть если смотреть из России, с любовью.

Я этого Востока, он же Юг, сколько-то откусил и пожевал. Не распробовал, потому что проглоченного организм усваивать не захотел и от дальнейшего вхождения во вкус меня отвалил. Пища чужая, тяжелая, опасная. Я попросил журнал «Знамя» отправить меня в командировку в Ташкент: отчасти подталкивала меня на это Ахматова — упоминаниями об эвакуации в войну, некоторыми подробностями цикла «Луна в зените», тогдашними анекдотами, — отчасти самого тянуло на Азию: как-никак наследник «овцеводов, патриархов и царей». Тут как раз вышел «Бег времени» — повод отвезти книгу ее ташкентским друзьям. В общем, «халды-балды, поедем в Азербайджан!».

Я потом про эту свою поездку несколько раз читал. Например, у ташкентской поэтессы, написавшей, по ее словам, «не воспоминания, на которые можно ссылаться как на достоверность, а просто думы поэта о поэте, где правда смыкается с вымыслом». Ее идея — одна из тех, которые открывают нам главную любовь Ахматовой, амур фаталь. Мне известно десять, а собораться с мыслями, то и пятнадцать таких идей. У ташкентской поэтессы это был Алексей Федорович Козловский, которому я как раз и вез «Бег времени», — правильное сказать: жене которого и которому. «Шехерезада идет из сада» — это о ней, о Галине Лонгиновне. По версии поэтессы, я был посланец Дамы, доставлявший любовное признание по адресу Ташкент, Авиационный проезд, 1-а, но своей миссии не признававший. Смычка правды с вымыслом осуществлена через изумление собственными озарениями: «Неужели же двадцать с лишним лет жила память о том сне? Два апреля, два мака — символа любви! Неужели же пятнадцать лет жила в памяти поэта эта ночь?» Моя роль — туповато на происходящее поглядывать, налегать на гранаты и прочее угощение и «не понимать, что присутствует при чуде». Возражаю: а может, я не так прост, может, я понимал, да не выдавал — как та же Ахматова, которая, согласно «думам поэта о поэте», «скрывала эту свою любовь даже в книгах».

Между тем через милых Козловских, тонких, одаренных, принявших когда-то свою окраинную судьбу и сколько-то надломленных ею, не прерывалась моя связь с человечеством. Они были единственной отдушиной в том закупоренном резервуаре, где я барахтался среди азиатских фантомов, ощущая мир неприязненным, искусственным, собравшим в себе слишком много того, чему надо, отталкиваясь, противостоять. Началось с Москвы, когда я сам предложил, что напишу очерк о хлопководках, о колхозе-миллионере, — а о чем другом, если ты хочешь смотреть в Узбекистан за счет журнала? Я приехал с уже сбитым этой галиматьей дыханием, с удостоверением корреспондента, по которому нужно было регистрироваться не больше не меньше, как в ЦК партии и жить не больше не меньше, как в гостинице этого самого ЦК, где на полу в коридорах лежали красные ковры, неработающий телевизор казался набит слитками казенного золота, и уборная в номере была размером пять метров на двенадцать, так что каждый раз надо было повернуть головой, прежде чем заметить наконец вдали унитаза. Правда, номер был на двоих, но вторым был не больше не меньше, как генерал, с золотыми погонами и в лампасах, — а я был врун, самозванец и поэт, сшибавший по издательствам переводы халды-балды на общую сумму сто четыре рубля за год.

Генерал научил меня складывать рубашки: положить грудью вниз, оба края от плечей донизу загнуть к середине, выложить по загнутому рукава и тремя равными порциями сложить по вертикали. С этим умением и одной сменной рубашкой я уехал в Фергану. Поезд был ночной, и всю ночь узбекская парочка, познакомившаяся у меня на глазах, тискалась на верхней полке. В пять утра истошно завопило радио, я вышел в коридор. Через некоторое время появился потрепанный Меджнун, стал смотреть в то же окно, что и я; я скривился на музыку (которая, как сказали бы Пушкин и Лермонтов, была для моего уха дика), спросил, о чем она поет. «О люпфи». Минут пять он смотрел в окно, потом сказал: «Это не она, это всемирно известный певец».

Ферганская гостиница типа общежития сильно уступала ташкентской в роскоши, однако в номерах был душ — кабинка с одним-двумя тарантулами под решеткой на полу. В Москве я рассматривал карту и, зажмуриваясь, бормотал вполголоса, куда поеду: Бухара, Хорезм, Ургенч, Хорасан. Хорасан оказался в Иране, но в гостинице жила команда иранских борцов, и тяжеловес был хора-

санец. Стенобитное орудие девятнадцати лет, мы с ним подружились, и он стал ходить за мной следом, обо всем, что видел, расспрашивая. В любом помещении оставалось только тесное пространство, не занятое его телом, и там я помещался. Вообще создавалось впечатление, что во всей пятиэтажной гостинице живет лишь эта дюжина иранцев: остальные две сотни постояльцев ютились в оставшихся от них ошметках кубатуры.

Я пошел на матч, или, как объявил переводчик с узбекского на русский, «масьщ по классищ барбе». Капитан иранской команды, староста города Мешхед, прекрасный, как визирь на персидской миниатюре, сказал, что рассматривает предстоящие схватки в русле культурного обмена; наш горкомовский начальник в черном костюме согласно закивал головой; и я внутренне согласился. Самым культурным был обмен у мешхедского старосты, он всего лишь раз упал головой в ковер, соперника же задушил чуть не до смерти. Мой хорасанец выстоял, но не выиграл. Он помахал мне рукой, и я стал центром внимания на трибуне. Как-то распространилось, что я корреспондент, хотя и не имею «папок-мапок». «Корреспондент» тут значило что-то, чего я так и не выяснил, — до меня был корреспондент, который проводил подписку на газеты, а кассирша в лагманной сказала при мне подруге: «Корреспондент мой как меня увидел, так и бежать».

Лагман — это такой суп. Самса — это огромный эклер, набитый сладким мясом, сладким луком, горным луком и так далее. Его прилепляют изнутри к стенке глиняного котла совершенной формы, по испечении сбивают черпаком, черпаком же достают и бросают перед тобой за 27 копеек. Вообще бросить стараются все, а ты лови. Шашлычник щепотью бросал на палочки кружжик лука и помидора и бешено кропил их уксусом из шампанской бутылки с дырявой пробкой. Все это без звука. Лагманщики, лепешечники, самсачники, мантчики, люляшники, шашлычники, чайханщики все были молодые, все высокого роста, все высокомерны, как принцы. Только один, у входа на базар, балагурил, зато безостановочно, по-узбекски и по-русски. «Эй, огурчики, — кричал он двум невыразительным девицам, — вот я иду вас ду-ду!» Одна из них поглядела на его манты и сказала: «Дайте парочку». Он в восторге возгласил: «Вот вам парочку, Абрам-и-Сарочку!» Она ответила обиженно: «Как раз вы ошибаетесь». Со мной он говорил исключительно по-узбекски, был уверен, что я притворяюсь, отвечая по-русски.

Время от времени уличная жизнь с бесконечным поглощением снеди и розового вина прерывалась стоп-кадром — ты входил в ошхону и садился на низкий топчан. Там была та же еда и питье плюс чайник зеленого чая, при тебе этим же чаем сполоснутый на пол. По стенам висели портреты Энгельса, Лермонтова в генеральском мундире, Брежнева, Навои, Маркса — Ленина совмещенными профилями, Авиценны, Микояна, «Незнакомки» Крамского и кого-то подозрительно усатого. В отдельном углу располагались «Три медведя», «Девятый вал», «Бурлаки», «Рыболов» с идиотическим лицом и пейзаж Коро. На топчане можно сидеть всю жизнь, некоторые так и делали.

На Маргиланском шелкопрядильном комбинате, который вечером сдавал готовую ткань и брал под нее в банке вексель, чтобы утром купить сырье, висели «Незнакомка», жуткой выразительности плакат, призывающий к донорству, запрещение есть фрукты сырыми и два транспаранта: «Чаще мойте детей кипяченой водой» и «Фергана приветствует дисциплинированных водителей». Шелк до последней стадии обработки измерялся не длиной нити, а весом: катушка № 40 означала, что 100 граммов намотанной нити имеют длину 40 метров. Или наоборот. В магазинах ровный спрос был на ткань «Галя и Султан» — абстрактный рисунок, посвященный дружбе украинского и узбекского народов. Но нарасхват шла пестрая «ткань № 45». Обе — «тяжелого шелка».

С такими сведениями уже можно было возвращаться в Москву и что-то журналу «Знамя» вкручивать. Но еще был хлопок, хлопок мог сделать мою командировку выдающейся, ценной, такой, под которую запросто будет взята следующую, куда-нибудь в Кахетию, на винодельческий завод... Автобусом я поехал в колхоз, подмявший под себя тринадцать соседних. Его председатель был заслуженный хлопкороб республики, Герой Социалистического Труда, бывший партизан и все прочее. Он оказался непомерной толщины, весил 160

килограммов, выглядел лет на 35, его партизанская — на Украине — кличка была Эльбрус. Когда в 80-е годы прошли процессы узбекских коммунистов-рабовладельцев, сделавших из колхозов концлагеря, я о нем почему-то вспомнил.

«Садись, корреспондент,— хохотнул он и показал на топчан сантиметров на десять ниже того, на котором сидел сам, но на столько же выше другого, на котором сидели председатель парткома, русский человек Артур, и начальник геологоразведки Веня, также русский.— Что будешь пить: водку, вино, коньяк?» Блюдо с нарезанными овощами и травой, и другое с телячьей печенкой, и еще какие-то с египетскими мясами стояли перед нами. Я сказал — вино, он налил мне в пиалу, добрых граммов триста. Мы чокнулись, я начал пить — у вина был не винный вкус. Я остановился, он захохотал: «До дна, до дна! Сам сказал: вино коньяк». Оказывается, выбор был — водка или коньяк: такое вино под названием «коньяк».

Мы начали в час, кончили в семь, на октябрьском, но солнцепеке. Солнце убыстряло несусветные химические реакции, алкоголь моментально превращался в ацетон, печенка в железную руду. Эльбрус Балдиевич меня трактовал как событие никчемное, но не унижал, над Веней же и Артуром издевался самым болезненным, свинским и, как видно, раз навсегда принятым образом: ставлял менять ему и мне тарелки, вливал в их водку коньяк, в коньяк воду, велел перевязывать потуже шнурки на своих экзотических чувяках. Когда он отошел помочиться, Артур в том же духе сразу взялся за Веню: «Веньямин,— проносил он, куражась,— нет, не русское это имя. Вот Анатолий — другое дело, бери пример». Под конец он стал сокрушаться, что не знает настоящей русской зимы. Эльбрус захрюкал: «Будет той — запрю тебя в холодильник.— И обернулся ко мне: — Будет той через неделю, приезжай. Три дня будем гулять, всем колхозом, шесть тысяч человек, сто десять коммунистов, из них четырнадцать женщин. Приезжай, если не боишься, что *ятра* тебе отрежут!» — И заржал.

Несколько раз я порывался пойти на автобус, но он не давал: «На машине отвезут». Наконец послал за машиной, оказалось, самосвал. Я встал на подножку, хотел что-то сказать, но не вышло, нырнул в кабину, теменем боднул какой-то штырь в потолок, по лицу потекла кровь. Меня перевязали, и с двойной головной болью я затрясся в Фергану. Ехать надо было сбоку от дороги, потому что за день на проезжую часть свезли сушиться хлопок, огромные бурты. Белые рыхлаые конусы через каждые сто — двести метров издалека сияли и дышали прохладой, которой в действительности не было. «Эльбрусы», — сказал я молоденькому шоферу-узбеку. «Эльбрус на Кавказе,— возразил он.— Здесь Тянь-Шань».

Все, можно было сматываться домой. В последний вечер я пошел в ошкуну. Ко мне подсел товарищ Мерцалов, 1908 года рождения. Он называл меня «молодой ученый», а начал с того, что Есенин, Сережка, а также Маяковский, Евтушенко и Михалков — вот тут у него, внутри, в сердце. Он продекламировал стихи, в которых была рифма «утраты — характер», сказал, что Есенина, что Есенин сам ему читал. «Теперь концовка, это она ему отвечает». Последняя строчка была «Ведь вместе надо жизнь прожить». Он представился: пианист Мерцалов, 1908 года рождения, живет в Самарканде, а в Фергане оказался по неблагоприятному стечению обстоятельств, и «без лишних слов с моей стороны, дай-ка мне немного, молодой ученый». Я дал 50 копеек, он прибавил, что врачи определили у него «хронический алкоголизм и полный распад личности», диагноз абсолютно верный, хотя сам он с ними и не согласен. Он учился в консерватории вместе с Пашей Серебряковым, и Ван Клиберна тоже замечательный пианист, но лучше всех Рихтер Святослав, молодой такой, но лысый уже. Он спел начало Первого концерта Чайковского. Клиберн, конечно, умница, и Соединенным Штатам надо, конечно, что-то на пиджак повесить — но Петр-то Ильич! Вот кто гений! Но, правда ли, говорят, что был он, это самое, педераст? Я сказал, что и до меня этот слух доходил. А Рихтер? Я скорбно склонил голову. Он так и думал. Ну почему все великие люди такие?! Болезнь или разврат? Он, Мерцалов, просто хватает проститутку, и все дела. Он сразался у Рокоссовского. «Видишь вон ту высотку? Взять!» На грудь ему панцирь, чтоб пули соскакивали, за спиной четвертак, и все дела. Он до сих пор играет: как сядет за рояль, как вломит Первый фортепьянный концерт Чайковского — та-та-

та-там-там-та-та. «Я что еще хочу сказать? До завтра-то надо дожить, не так ли?» Я дал сколько оставалось мелочи в кармане. Он прочел стихотворение, кончающееся «знакомый ваш Сергей Есенин». «Это, конечно, избранное, лучшие куски. А в Ташкенте, молодой ученый или, может, даже врач, передайте привет майору Ахтамову. Татарин».

Через двадцать лет я переезжал границу между Латвией и Эстонией, из города Валка в город Валга, через речку по-латышски Валку, по-эстонски Валгу. Сейчас это спорная территория, а тогда это были братские республики СССР. Их братство, при равном безлюдии обоих берегов, покоилось на смертельно пьяном русско-татарском человеке средних лет, который, держась двумя руками за перила, стоял на геометрической середине моста и пел «Валга, Валга, мать родная» — музыкально, нежно, тенором. Мог быть мой знакомый Мерцалов, если бы не возраст.

И постскрипум. За жизнь я перевел на русский язык великое множество стихов, западных и восточных, в соотношении примерно два к одному. Среди советских попадались поэты с индивидуальностью, но чаще без, в соотношении примерно один к десяти. Отличить подстрочник — и соответственно перевод — карела от алтайца было практически невозможно. От индивидуальности по большей части веяло тоской в самой неаппетитной ее форме — многозначительного глубокомыслия. Насекомое «медведка» и камень «янтарь» означали, что действие происходит в Прибалтике и что нам надлежит принять на веру сосредоточенную в них языческую тайну латышского или эстонского характера. Стилистически сходная, декорированная под народную азиатская мифология бессовестно пила кровь из ислама или буддизма. Повторяю: откуда бы что ни шло, в итоге выходила тысяча, тысяча четыреста или две тысячи сто строчек тиражом десять тысяч в обложке с грифом «Советский писатель», что значило «проверено, мин нет».

В конце 70-х сперва потихоньку и по стечению достаточно случайных и существенно благоприятных обстоятельств я подступил к песням трубадуров. Благоприятность заключалась, с одной стороны, в том, что подбил меня на это Михаил Мейлах, наш главный специалист в старопровансальской поэзии, мой тогдашний друг, то есть дело носило домашний характер. И он, и я оказались тогда связаны с чудным издательством — «Главная редакция восточной литературы издательства "Наука"». Оно было маленькое, автономное, к «Науке» большой пристегнуто формально и главным образом обслуживало Институт востоковедения. Редакторами в нем собрались люди умные, профессиональные, некоторые из них сами пишущие, а главное, человеческие. Ты разговаривал с ними в первую очередь как с Ларисой Филипповой или Львом Шулимовичем, а не как с майором и капитаном редакторских войск. И с директором — идеологического издательства! — беседовать по делу и о литературной политике было одно удовольствие. Словом, и с другой стороны, я попал в круг любезной мне домашности.

Скажем, «Наука» большая или тот же маститый журнал из толстых искренне считают, что это не *ты* у них печатаешься, а *они* тебя печатают. Там царит важность, исключительно серьезность, понимание своей и, если ты этого не понимаешь, твоей, пусть и второстепенной по отношению к их, миссии, печаль, подернутая, как молоко пенкой, слабой улыбкой. В сумме, после приведения к общему знаменателю, это дает ощущение сырости и унылости. Среднеодаренному человеку служить в таком месте — катастрофа: преувеличенные представления о себе, перекошенные — о литературе, искусственные требования, партийные оценки. «Концепция этого номера журнала такова, что...» А всех дел — двести страниц, сто пятьдесят тысяч перебивающих друг друга слов.

Восточная редакция бралась напечатать моих трубадуров, но при условии, что у них найдутся восточные корни. Казалось бы, чего западней: основоположники всей европейской поэзии. Нужные корни, однако, нашлись мгновенно: арабские, а со скамейки запасных уже тянулись и персидские. И пошло, поехало. Вслед за антологией трубадуров там же вышли старофранцузские романы в стихах «Флуар и Бланшефлор», «Роман о Лисе», «Роман о семи мудрецах». Мое дело было переводить, а выходить на Индию и Сирию, как говорил один алкоголик, научившийся пить при вшитой «торпед», — «ты профессору скажи,

профессор знает». «Панчатантра», «Зверинец» аль-Джахиза и «Книга Синдбада» — вот, оказалось, кошка чье мясо съела; Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани — вот кому достопочтенный Кретьен де Труа должен в ножки поклониться.

Восток, самодостаточный, изолированный, вещь в себе, выглядел твердой, от которой по кусочку отламывал Запад, чтобы укрепить свою, когда ни посмотри, дряхлую культуру. Восток, получалось, Европу в упор не видит, кроме каких-нибудь декадентствующих японцев, лакомящихся французским символизмом. А та все заглядывает, заигрывает, заимствует — наводит мосты. Я переводил для Восточной редакции древние тамильские гимны по подстрочникам и при постоянных консультациях пленительного своей уравновешенностью, благородством, точностью и широтой ума Александра Дубянского. Там был такой торжественно-агрессивный персонаж по имени Муругу и при нем определяющий личный эпитет — «держачий копьё», «потрясающий копьём». То есть даже в Shakespeare, этой, выходит, поздней реинкарнации чуждого интеллектуальным рефлексиям индуса, они не нуждались! «Мириады лет назад, когда я был козленком», — писал Лев Толстой — само собой, на Востоке, а?

Что-то тут не так, и интуитивно мы даже знаем что. Что-то на уровне физических законов, вроде того, что в замкнутой системе сохранение статики обеспечивается отсутствием динамики. Но жизнь — система не замкнутая. Насто, в России, это особенно не колышет, наше максимальное приближение к Востоку — это «умом Россию не понять», а к Западу — «англичанин-мудрец изобрел паровоз», если передавать близко к тексту. Потому что, как объяснила мне ядовитая итальянка, русская космология — это: в центре Вселенной — Земля, в центре Земли — человек, и человек этот — русский.

Неокончательно закрытое дело

Всякую историю хорошо начинать с детства, еще лучше с младенчества. Даже если это история о слезке. Мне, правда, было уже за тридцать, но дочке был год, а следили — по условиям жанра — за обоими.

Я не понравился советской власти сразу, с того момента, как она обратила на меня внимание, с моего поступления в университет. Может, у них есть правило: не понравился — возьми картонную папку, напиши на ней имя-фамилию и вложи внутрь бумажку: «Не нравится». А дальше, даже если больше не попался на глаза, папки-то перебираются, и регулярно, скажем, раз в квартал, когда очередь до Н, А, И-краткое доходит, запрашивай: как он там? — в домоуправлении, по месту учебы, по местам службы и дружбы. Скажете: паранойя. Западные люди мягко так и намекали: дескать, а не мания ли это преследования? Ну-ну. Как говорится: дай вам Бог удачи, западные люди.

Первая моя встреча с ихней системой лицом к лицу — потому что изредка они любят лицом к лицу, чтобы составить непосредственное впечатление и его опять-таки туда, в папку, — состоялась в том же юном студенческом возрасте. Лицо было секретаря парткома Технологического института, в который я был зачислен после того, как провинился предположением, что с моей невраждейся внешностью и сущностью могу попасть в их красивый университет. Фамилия лица была Лепилин. Чем я на тот раз провинился, не помню, но было чем. Что он говорил, не помню, где голос повышал, где понижал, не помню, но помню, что говорил, повышал и понижал. И лицо его запомнил на всю жизнь: цельнокроеный череп с выводящей тебя на чистую воду марксистской лысиной, нос уточкой, глазки и туда, и сюда, и сквозь тебя, но только не в твои собственные. Если бы не год рождения и не настырное упорство, с каким нынешнее телевидение Зюганова называет Зюгановым, я бы поклялся, что это Лепилин.

(Я, кстати, Зюганова тоже видел лицом к лицу. Я около года провел в Вашингтоне, в Кеннановском институте, книгу вот эту самую начинал, о днях минувших, но не вполне. И туда приехал Зюганов — через мой влиятельный Кеннановский институт увидеть влиятельных американцев, что им надо ставить на него. Я пошел посмотреть, каков он, так сказать, в вольере, не через решетку. Оказалось — Лепилин. Как и полагалось, реинкарнация наложила свой потусторонний штамп, в данном случае на голос. Моя дочка, когда ей было три года,

научилась в деревне песне «На заборе, свесив ноги, труп сидел, и стеклянными глазами он глядел» — ударение на «труп» и «он», соответственно и устрашающее выражение глаз. Труп чернокнижно внушает прохожему: «Приходи ко мне в могилу, будем вместе жить, приходи ко мне в могилу, будем вместе гнить!» — ударение и концентрированный пучок ужаса на «жить» и «гнить». Зюганов издавал этот самый звук, чревовещательно-замогильный. Звук дал окраску содержанию речи, американцы, насколько я понял, туда не захотели. И не забоялись. Я, повторяю, узнал Лепилина и разочаровался сразу. Когда его спросили, чем он объясняет, что коммунистов — членов партии — было 18 миллионов и вдруг такой афронт, а он ответил, что в коммунистической партии сейчас шестьсот тысяч и она сильна, как никогда, я ушел: Лепилин тоже так отвечал — быстро, и точно мимо вопроса.)

Сам смысл таких встреч лицом к лицу был именно в их исключительности — по замыслу ошеломляющей: в утке — щука, в щуке — яйцо, в яйце — игла, в игле — Кощей Бессмертный, и уже от утки вздрагиваешь, и от щуки шарахаешься, и игла в яйце кровь леденит, и вдругходишь в кабинет, а там сам Кощей с тремя телефонными трубками. Повседневной же была практика контакта лицом к затылку, их лицом к твоему затылку — чтобы твой затылок гадал, утка, щука или яйцо в него сейчас врежется, и одновременно сам он — не утка ли на прицеле, не щука ли на блесне, не яйцо ли всмятку.

Когда в 70-х началась эмиграция, сосед с восьмого этажа, огромный еврей, спросил, пока мы ждали лифта, не страшно ли мне *в этой стране* оставаться. Я выложил полагающиеся тривиальности, в частности, что тревожно, конечно, но не все КГБ знает, больше хвалится, и прочее. Он выпучил на меня глаза и прошептал: «При чем здесь КГБ? ОБХСС!» Он подлежал наказанию внутренней службы, я внешней. Говоря «не все знает», я не имел в виду, что — а мог бы знать, что я продаю за границу не только цезий, но и плутоний; я имел в виду, что письмо, самое обыкновенное, уже эмигрировавшему Славинскому благополучно провез Бутафава, а пьесу, уже взятую в постановку «Современником», Аманда Хейт. Моя заслуживающая наказания порочность вся заключалась в узкой сфере редких встреч и разговоров с западными людьми, из которых несколько были моими близкими друзьями. Друзьями или чужими, несколько или много, *органам* было абсолютно наплевать — все западные люди, включая и тех, которые намекали на мою паранойю, были шпионами.

Встречи и разговоры назывались *контактами*, контакты назывались *несанкционированными*. Это с моей стороны. Со стороны иностранца — *провокационными*. Сулов искренне сказал дочке Сталина, которая хотела поехать в Индию: «Светланочка, но там же провокации!» Возможно, у меня были первые в Ленинграде белые джинсы — американские, хотя и привезенные польским приятелем. Синие уже можно было встретить, белые — исключено. С самого начала привозимые из-за границы подарки состояли из книг, пластинок и шмоток. Напитки и радиоприемники появились позднее. Человек в белых джинсах автоматически считался в КГБ читавшим Бердяева и танцевавшим рок-н-ролл. Мы, туземцы, отдаривались серебряными подстаканниками и редкими изданиями «Камня» и «Садка судей». Мой друг поэт несколько раз пытался перехватить инициативу и первый дарил вырванные из книги «Русский лубок» иллюстрации, выдавая их за подлинные лубки, а взамен просил дубленку. Джинсы были фаустовым вызовом судьбе и одновременно каиновой печатью. Прокурор обращался на суде к «валютчикам» Рокотову и Файбишенко: «И вот за эти *джинсы* или *джимсы* вы решили продать родину?» Несанкционированная дубленка была униформой гвардии самого врага рода человеческого.

Я носил белые *джимсы* или *джиксы*, я дружил с тремя-четырьмя и был знаком еще с десятком иностранцев. За мной следили, как за планетой Марс в пору противостояния Земле или, если угодно, за разведывательным самолетом У-2 фирмы «Локхид». Давайте условимся, что это не паранойя, а кто сомневается, бросай читать. Разве что еще один абзац.

Как-то раз вечером мы с женой вспомнили нашего друга-итальянца, и с такой любовью, и столько про него наговорили друг другу нежностей, и так умилились, что захотели немедленно позвонить ему в его Милан. Телефонистка ответила, что заказ принимается только на завтра. Ну, на завтра так на завтра,

хотя восторгу это несколько поубавило. Назавтра телефон отключился. Ближе к ночи неожиданно приходят друзья: они звонили весь день и, обеспокоенные, решили узнать, не случилось ли чего. В назначенный телефонисткой час телефон, однако, зазвонил. «Милан заказывали?» *Черто, синьорина*. «Номер не отвечает». — И трубка опять глухонемеет. Наутро звонок, это вчерашние гости: они сообщили на телефонную станцию о поломке, и вот линия восстановлена. Мы разговариваем, как вдруг вмешивается голос барышни со станции: «Номер такой-то?» — «Именно». — «Телефон выключался?» — «Именно. Спасибо, что включили». В голосе барышни полная растерянность: «В том-то и дело, что еще не включили; я и звоню, чтобы сказать, что включаем». — «Ну, тогда включайте». — «Так... а как же вы по невключенному разговариваете?» — «Вот вы и скажите».

Не хочу греха на душу брать: за мной следили меньше, чем за многими близкими, меньше, чем за Славинским перед тем, как посадить его на четыре года за «сбыт наркотиков», про который прокурор сказал, что «сбыта как такового не было, но было хуже»; меньше, чем за Гариком Суперфином и Наташей Горбаневской, отсидевшими один — пять и два, а вторая — в казанской психушке за «хронику текущих событий»; меньше, чем за Таней Литвиновой или Димой Борисовым, которые так и не сели, но которых *тягали* как следует.

Однажды в октябре я опять-таки гулял с дочкой — ей было лет пять, — мы делали «большой круг»: с Кировской через площадь Дзержинского до Горького, вверх до Пушкинской и по бульварам до Кировской. Пасмурный холодный день, суббота, не то воскресенье, малоллюдно, мы проходили мимо дома Чуковских, я показал ей на него: дескать, здесь живет *тот самый*. Внезапно арка подворотни наполнилась клубком бегущих из двора на улицу людей в пыжиковых шапках, через несколько секунд появился человек, стремительно вышел на улицу, свернул направо, за ним второй клубок таких же. Первые сели в несколько «Жигулей», поехали медленно вдоль тротуара, вторые, глухо перекиваясь, полубегом понеслись в нескольких метрах от него. Что это Солженицын, я узнал, когда он еще показался в воротах, мы были поверхностно знакомы, через тех же Чуковских. Я автоматически открыл рот поздороваться, но он буквально промелькнул: обугленное изнутри лицо, невидящий взгляд. Дочка сказала: «Это Корней Чуковский?» Все вместе продолжалось меньше полминуты, в конце которой я вспомнил, что ему только что дали Нобелевскую премию.

Это была другая *слежка*, так ведь и объект был другой — не звездочка ничтожная, не самолетик. Среди упомянутых мной трех-четырёх друзей была Аманда Хейт. Мало того, что она защитила диссертацию о клейменной Ахматовой, она еще повадилась приезжать в Союз переводчиком — то с одной, то с другой британской выставкой. К тому же: родилась в Америке, а живет в Англии. То есть *шпионаж* просто какой-то вызывающий! За ней следили... Почему я все говорю «следили»? Следят, если объект ускользает, а тут просто болтались у нее за спиной, ездили за ней на автомобилях, фотографировали.

Так что, когда позвонила ее университетская учительница Жоржетт Дончин, с которой мы были знакомы заочно, и предложила пойти погулять, я уже знал, что за нами потащатся, и заранее ссутулился. А, собственно, это и была их цель: чтобы ты ссутулился. Четыре дядька плюс автомобиль «Волга» с радиотелефоном, и все это ради одной невидной училки и тебя, мерзавца. Бессознательно подверстываешь себя под грандиозность их операции — раз; нервничаешь — два: потому что территория, занимаемая ими и машиной, — их территория, и ты — на ней; и неизвестно, только на время операции или навсегда. Ну и сутулишься инстинктивно, съезживаешь, так сказать, их мишень — как подлый Дантес на дуэли.

Между прочим, не так это все безобидно: съезживание, нервничание. На третьем курсе, во время практики, прыгнул студент по фамилии Бродский в створ Волховской плотины, а в комнате общежития оставил записку, что запутался в сетях западных разведок, в которые вовлек его одноклассник Борис Фишман. А все участие Боба Фишмана в западных разведках было, что он бес-

конечно бубнил себе под нос «О тискет, о таскет, о гив май йеллоу баскет», — перевирая слова.

С Жоржетт мы условились встретиться в Пушкинском Доме: она была приглашена туда как филолог. Имя Пушкинского Дома в Академии Наук — все слова с большой буквы, в общем, чин чинарём. Филолог уже ждет в вестибюле, ужасно милая. Под лестницей топчется некто, прячет лицо. Толстого читали? — мужичок из «Анны Карениной»; Эдгара По читали? — *Красная Смерть*. Маска, я тебя знаю, пошли. Выходим на Неву: мы впереди, он сзади, больше на всей набережной никого. В таком избранном составе доходим до Дворцовой, плетемся через пустую площадь — как напоказ. У «Европейской» прощаемся: я и она, но не мужичок. В рядах эскорта, должно быть, идет перестроение, однако он остается при мне: мятая шапка «под кролик» — по погоде можно и в кепке, но, как и тех, солженицынских, берегут чекисты своих; фабричной вязки синий шарфик, и чего-то он в него бормочет — это когда скосишь глаза в витрину. Звоню домой, что иду, но вот, такой конфуз, в сопровождении. На той стороне провода необыкновенное оживление: зашел Бродский, дочка уже в коляске, они втроем с моей женой уже собрались на прогулку, очень интересно будет посмотреть. «А тебе не мерещится?»

Встречаемся на Рубинштейна. «Ну, где?!» Эффектно разворачиваюсь... — и никого. Клянусь, что был, даже обижаюсь. Но ведь никого же! Насмешечки: кому ты там нужен? Подумаешь, персона! По Фонтанке до Летнего сада, час там болтаемся, идем обратно — так верчу головой, этак — снято, стало быть, *оперативное наблюдение*. Сворачиваем на Рубинштейна — оп! Кто там на другой стороне за ремонтный фургон присел? Иосиф, как гончий пес, — шасть к фургону, тот в подворотню, этот за ним. Через минуту появляется: ухмылка во весь рот — загнал в угол, где корыто с известкой, и хоть и не заколол, как Полония, но все-таки сказал: «Ах ты, крыса!» Являемся домой, он говорит: мол, это что! Вот за ним ходили перед арестом, так ходили! Понимаю: хорошая соревновательная зависть — что ж, ниже меня его, что ли, считают? Минут через десять выходим вдвоем, друг друга убеждаем, что за хлебом, а сами озираемся, как помешанные, как после «кто не спрятался, я не виноват!». А за углом — вот она, «Волга» цвета белой ночи. А в ней — полный комплект, и на заднем сиденье, между двумя тачками же, — наш, только шарфик не синий, а красный. То есть с выдумкой к делу подошли, не халтурно.

И, конечно, обоим нам приходит в голову Ирина Кирк... Ирина Кирк была внучкой знаменитого русского адмирала времен японской войны. К моменту рассказа — американка с превосходным русским языком и время от времени привозит из Штатов в Россию студентов на стажировку. И однажды утром раздается телефонный звонок, и молодой мужской голос с тяжелым американским акцентом говорит по-русски: «С вами пожелает встречаться ваш старый одноклассник Ирина». Мама милая! Всё что угодно, только не конспирация! Я же в мужской школе учился. Когда встречаемся, я ее спрашиваю, зачем этот камуфляж. Не верю своим ушам: «Чтобы запутать следы». Это она придумала, чтобы позвонил один из ее студентов; лучший в группе по грамматике. За ней круглосуточный *хвост*. Но пусть я не волнуюсь, она их всех провела: вышла из номера в куртке, а в лифте переделась в плащ, а куртку спрятала в сумку из-под плаща. И показывает мне сумку. То есть полное ку-ку, но тетка при этом такая симпатичная, и острая, и привлекательная, и элегантная.

Сидим в сквере на площади Искусств, «хвост» расположился по соседним скамейкам. Она достает из сумки книжку, «Born with the Dead», «Рожденные с умершими», — это из Элиота, из «Четырех квартетов», а я их переводил. Оказывается, ее книжка, она еще и писательница. В общем, кругом шестнадцать. Вечер золотой, надо погулять. От Филармонии звоню Иосифу: так и так, не хотите присоединиться? И через четверть часа шлендаем по каналу к Спасу-на-Крови. Нас трое, и еще один, на вид кандидат наук, — с той же скоростью метра в двадцати сзади. Шалая тучка выползает из-за купола, и около чугунной ограды Михайловского сада обрызгивает нас дождик. Оборачиваемся и видим сквозь изгиб ограды, как подбегает к кандидату «Москвич» и передают ему плащ. Во-первых, как уже говорилось, берегут; во-вторых, в плаще мы же его не узнаем.

Кончились те дни скандальчиком, и за это я Ирину уважаю. Мы встретились у Гестиного на пять минут, чтобы проститься и мне забрать пластинку Гарри Беллафонте: народные баллады, плюс «Когда святые», плюс «Хава Нагила». Солнце, полно народу, обнялись-поцеловались, и вдруг она поворачивается к господинчику лет пятидесяти, в костюмчике, при галстучке, такой старший бухгалтер, и орет ему на весь Невский: «Что вы прилипли ко мне? Что вам от меня нужно? Что вы шпионите за мной с утра?» «Шпионите» — чересчур литературно, неточное слово, но тот краснеет, однако сквозь землю не проваливается и даже в метро, возле которого мы топчемся, не уходит, а стоит, как будто это не к нему. «Ходит за мной с утра», — объясняет Ирина мне и публике, но публика к такому не привыкла, а мне объяснять не надо. Еще один прощальный поцелуй, и он во тьме ногой ступени ищет — как писал Элиот в «Бесплодной земле».

С ней же был связан эпизод в Москве, самый неприятный. Она мне на Красную площадь, а именно к Лобному месту, принесла сумку с книгами. Двухтомник Ахматовой, четырехтомник Гумилева, трехтомник Мандельштама, Заболоцкий, что-то Шестова, что-то Федорова — на добрый пуд. Я тогда жил у приятеля, в доме на Котельнической. Еду в лифте, а двое по лестнице вровень бегут. Назавтра пошел к Петровых — спереди, сзади, и все здоровенные. Позвонил Марии Сергеевне с улицы, описал — «все равно приходите». Вечером она вышла собаку прогулять — та давай облаивать мужика в кустах. Назавтра заехал к Ардовым проститься — они на машине за мной во двор. У Ардовых некто опытный посоветовал: поезжайте в их приемную на Кузнецкой и *всё* расскажите. Приехал, говорю: «Ваши люди меня преследуют. Вот такие-то номера машин». «Мы никого не преследуем, думайте, что говорите. У вас фантазия разыгралась, дайте-ка сюда бумажку с номерами». Дневным поездом уехал в Ленинград, оттуда позвонил отчитаться. Тот же опытный взял трубку: «Вы не то им говорили; я бы на вашем месте обязательно осудил провокацию американки, а заодно заявил, что и с Бродским не имеете ничего общего».

Осуждение иностранцев, должен заметить, тогда, в середине 60-х, начало потихоньку входить в практику, и как-то не противореча морали, провозглашавшей либеральные ценности. Дескать, для них это приехал-уехал, а нам здесь сидеть, а им ничего не будет. Силу это набрало в 70-е, когда какая-нибудь молоденькая девушка во Франции, какие-то книги в Россию с риском привозившая, какие-то рукописи с еще большим вывозившая, а то и влюблявшаяся в русского героя-антисоветчика и, когда его *вызывали*, не говоря уж — арестовывали, поднимавшая на его защиту все газеты и всех сенаторов, вдруг узнавала, что он обличил ее как агентку спецслужб, толкнувшую его на преступление против Р-родины, да еще с подробностями, о которых знали только он и она. *Невидимые миру слезы.*

А Б. Б., сделавший помощь одним за счет других своей профессией, хотя и не главной, попросту вложил папку с бумагами эмигрировавшего Гарика Воскова в руки деликатнейшего, не позволявшего себе из чувства собственного достоинства отказывать в таком деле Фаусто Малковати. Бумаги были дороги Гарику исключительно как сентиментальная память, например, пропуск на кладбище, где он рыл могилы: оригиналы были к вывозу запрещены, просто из вредности, только легализованные копии, каковые он благополучно и вывез. Назавтра папку у Фаусто в номере нашли, *изъяли*, сказали, что валялась на полу и уборщица принесла, и выслали. И лет десять не пускали, так что занимаясь он своим Вячеславом Ивановым и Мейерхольдом в итальянских и немецких библиотеках. Но ведь в итальянских, немецких, не во вьетнамских же — чего его жалеть!

Угрюмо констатирую, что чем дальше, тем больше тружеников слежки стали исполнять свои обязанности шалей-валяй и формально. У Аманды была близкая подруга, Фэйз Вигзелл, вскоре познакомившаяся и близко подружившаяся также с Бродским. Уже после его эмиграции мы с ней встретились в Ленинграде и зашли в кафе «Север», про которое ленинградцы любили прибавлять «бывшая Квисисана». За нами шла тройца с чемоданцем столь тяжелым, что они часто передавали его один другому. В бывшую «Квисисану» была небольшая очередь, они встали за нами. Но очередь в кафе означает, что едва ли

в нем освободятся сразу два столика рядом. Поэтому, когда мы с ней сели, существо в строгом женском костюме и с непроницаемым лицом (директриса? партсекретарь?) поставило дополнительный столик в метре от нас, прямо в проходе, и трое сели. При этом один не больше не меньше как сунул чемодан нам под ноги. Я сперва даже не нашелся, что сказать, промекал только: «Эй-эй»,— и пнул их замечательное приспособление: забирай давай. На что они стали мне умиротворяюще подмигивать, как бы мы заодно, чего ж я не понимаю, а поставивший прибормотал: «Кончай ты, дай постоять».

Майор, приставленный к Бродскому в последние годы перед отъездом, проводил с ним *профилактическую работу*, то есть встречал на улице, увлекал в ближайший сквер и в соответствии с инструкцией пилил: «Вот вы встречаетесь с английскими аспирантками, а они завербованы спецслужбами». Имена Аманда и Фэйз называть категорически отказывался, вынуждая на это подопечного,— так сказать, «колол» его, действуя по регламенту. И однажды Бродский ответил: «А вы гоняетесь за девчонками, зато Пеньковского упускаете». Пеньковский был у нас генерал, а у американцев и англичан по тому же ведомству оказался полковник. Тот прямо подпрыгнул: «Подождите, подождите. Как вы сказали? Подождите. Значит, в какой, вы говорите, связи эти иностранные гражданки с ним состоят?»

Случались — редко — и моменты мести. Однажды мы проговорили с Аmandой до трех утра, я пошел ее проводить. Было лето, уже рассвело, улица пустая, у ларька стоит фигура с чемоданом у ног. Стали ждать такси, от магазина тронулась «Волга», вышла на боевую позицию. Показалось такси, Аманда села, обе машины поехали, я повернулся идти домой, и так сошлось, что малый с чемоданом зашел к «Волге» по той дорожке, на которой уже был я. «Волга» подкатила его забрать туда, где эта дорожка впадала в проезжую часть. Я остановился посмотреть, как они это проделают в двух шагах от меня. «Волга» тормознула, но он был еще метрах в двадцати, а такси уходило. И тогда они рванули вслед, оставив его с чемоданом, набитым железками радиоаппаратуры, и в полной растерянности, выражением которой он щедро со мной поделился, когда мы прошли друг мимо друга. Я поднялся к себе и вышел на балкон: розово-голубое небо, широкая улица и на ней одинокая фигурка, волочащаяся к центру и каждые полминуты перекладывающая груз из руки в руку. Сизифов труд: ну втащит он часам к шести, если раньше не подхватят, свой, как говорили в школе, *чёмод*, на Лубянский холм, а часам к шести вечера опять Аманда придет, и опять скатится он в мой двор. Можно, правда, меня *обезвредить*, но не так уж много граждан имело несанкционированные встречи, и таких тоже надо беречь.

Это мои, как таракана за печкой, выкладки,— понимаю, что наивные; что был бы Сизиф, а куда камню скатываться, место найдется. Но все-таки, отдавая очередного такого гиганта сопротивления в руки правосудия, ёкало у них хоть на миг их *горячее сердце* и мелькало в *холодной голове*, что вот, многомесячный, а то и многогодовой верный кусок хлеба уходит, а с новым как оно еще сложится? Летом 66-го года взял Аксенов в журнале «Юность» командировку на Сааремаа и меня подбил поехать. Это эстонский режимный остров, надо получить по месту жительства пропуск — в погранотделе *КаГЭБэ*. Погран, романтика, но ведь — КГБ! Своими ножками взойти на ступени и закрыть за собой дверь. Аксенов в Москве получил, да ему еще главный редактор «Юности» дал на всякий случай письмецо к своему другу, министру КГБ Эстонии. А я, трепеща и возбуждаясь, вошел внутрь нашего ленинградского Большого Дома — и от голоса в окошке узнал, что разрешение придет — если придет — через две недели, ибо будут *проверять*. Позвонил Аксенову, и мы решили, что попробуем прорваться по письму.

Говоря эпически: и мы там были, и это видели, и ноздри наши это обоняли. Я сидел в кожаном кресле в кабинете министра КГБ напротив него самого — я, который мог рассчитывать на это лицезрение в лучшем случае в кабинете следователя — если бы меня доставили к следователю, над которым почему-либо висел именно его, главного эстонского кагебешника, портрет. Говорил он, понятно, больше с Аксеновым, но и мне перепадало ласки: «Сначит, мощно ошитать стихи оп эстонских рыпаках — топрое тело, топрое тело». И когда

прошел первый холуйский восторг, я поймал себя на том, что почти неудержимо хочу спросить этого полного теплого человека: «А вот вы когда арестовываете...» Когда они арестовывают, ну, кого-нибудь вроде меня, связывается это как-то у них — через КПЗ, следователя, прокурора, судью, этап и вохру — с минус пятьдесят по Цельсию, пургой в лоб, с шаг-влево-шаг-вправо — побег, с пайкой и нарами? Но прежде чем открыть рот — а я его открыл, — в моем мозгу прозвучал напрашивающийся ответ — чухонца не чухонца, министра не министра, а какого-нибудь кафкианствующего Порфирия Петровича: «Большето всего, согласитесь, там от своих достается, от кого-нибудь вот вроде вас. А что ледяная пустыня, так ее ваш Бог и создал. Не для того же, чтобы она была пустыней, Он ее создал, должен же там кто-то оказаться, на земле на вашей на Господней». И тогда — а он уже встал и, улыбаясь, пожимал нам руки: «Поезжайте, не беспокойтесь, вас там встретит майор Томсон, тушевный человек», — мой открытый рот произнес: «Спасибо вам за содействие».

Читатель, ты, который уже презираешь меня, на короткий абзац приостанови справедливое чувство! Примчался через две недели — когда, стало быть, кончилась по месту жительства *проверка* — полковник Волков на военном «газике», орущий, красноречивый, с утра пьяный, и в двадцать четыре часа меня с острова — шварк! И мгновенное чувство облегчения и «своей тарелки»: легкий пинок — и ты, жулик, опять на воле.

«Не надо думать, что в 37-м году только хватали и пытали, — в 37-м году мои родители танцевали под патефон, а они были такие, как мы с вами, а вовсе не энкаведешники», — говорила на съезде американских друзей Советского Союза уже в 90-х вдова известного в 70-е писателя-либерала. Ой, да мы и не думаем! Только не надо думать, что если танцуют под патефон, то уже не хватают и не пытаются. Человек создан скорее для танца под патефон, но так у человечества вышло, что, чтобы это предназначение исполнить, надо, чтобы хватали, — иногда и самих танцующих, иногда прямо на синкопе «Танго соловья». А раз надо хватать, то этим надо заниматься, а раз заниматься, то вот и ходят за тобой занятые люди, бензин жгут, и тяжеленный *ché mod* на себе таскают. И, походив и потаскав, однажды звонят тебе и *приглашают*. «А с кем я говорю?» — «А это не важно. Ну, с Борисовым Николаем Семеновичем». — «А по какому делу?» — «А придете — узнаете». — «А если не приду?» — «Ну, Анато-олий Генрихович, ну что-о за детский разговор!» — по-отечески снисходительно, и трубка повешена.

Нет, нет, совсем не безобидно было это наше ссутуливание и нервничание под слезкой. И слезка их опереточная, и вызовы мелодраматические — выше, выше бери! — сотрясали самые основания мироустройства. Это ведь разговор о после-пятидесятых, когда машина работала уже, в общем, на саму себя, — чтобы масло в двигателе не сохло, части оставались друг к другу притерты. Ну, послеживали, но ведь не тотально, ну, подбрасывали внутрь по сколько-то там сотен граждан в год — что это для страны в двести миллионов. Но в этом еще жил гул 20-х, 30-х, 40-х, и, может быть, такой же стоял в ушах у Ноя с семейством, когда кончился потоп. При Сталине даже не столько важно было, доходил ты, толкая тачку, или танцевал с барышней под патефон, сколько то, что ты родился на свет, что ты живой человек — и по этой причине подлежишь уничтожению. Вот в чем была божественная функция вождя и его машины! Все-все! — подлежали уничтожению, и каждый это про себя знал: танцевавший — так же несомненно, как толкавший тачку. Танцую, он мог следовать ритму, заслоняться барышней, ему удавалось *забываться*, но и самый забывшийся всякую минуту читал процарапанный на самом дне его души ухмыляющийся закон: подлежишь, подлежишь — поскольку человек. И барышня читала. И там, на дне души, никто не «не знал, что происходит», никто не «заблуждался». Ни твои дед с бабкой, ни отец с матерью. В твоё время их время перенеслось гулом, и нельзя было определить, извне он раздаётся или изнутри тебя. Поэтому и сутулишься так естественно.

И приходишь, и спрашиваешь Семенова Бориса Николаевича — и оказывается, он самый и есть. Он пропускает тебя в кабинет, и дверь защелкивается на английский замок — это должно произвести впечатление, это намек, что попался. Все должно производить впечатление, и только такое. Он заводит речь

о том о сем, вокруг да около, так должен пройти первый час. Потому что по инструкции он должен с тобой разговаривать не меньше трех часов. У него землестый цвет лица — человека, который всю жизнь провел в помещении, а если выходил на улицу, то прятался в тени, *в сени смертной*. Вечером скажет жене, или бабе, или коллеге, или корешу, которому можно: «Сегодня четыре часа бился с одним, хи-итрый соломон попался».

А соломон весь первый час прикидывает, куда он гнет, на какой сюжет выйдет. За последний месяц вроде только всего и было, что письмо от Фаусто, но там чистая лирика под ироническим соусом. «Благодарю за открытку, полную ледяной нежности, для которой не преграда...» Минуту! «...ни ЦРУ, ни гестапо». Чушь! Да не может быть! Упоминание, конечно, ненужное, сопоставление какое-то непринятое, но ведь намеренно и упомянуто, и сопоставлено, чтобы видели: уж извините, но так мы шутим, зато открыто... И как только мелькнуло в мозгу: «Чушь!» — так сразу ясно и окончательно сложилось: «Именно это!» — а то, что чушь, и есть иррациональное подтверждение. Да вот и он уже вырывается: письма из-за границы; дружите с иностранцами, а там спецслужбы; ракеты НАТО на территории Италии — теплее, теплее. Ну, еще минуты три помятлим, потопчемся, и... Вот, ваш корреспондент Фаусто Малковати. «А что Фаусто Малковати?» — «Завербован спецслужбами». — «А вы откуда знаете?» — «Мы вам что, источники открывать обязаны?» — «А что мой друг — шпион, обязаны? — наигрыш чувства. — Для меня это удар личный, посильнее всех ваших спецслужб!» — «С чего вы взяли, что он ваш друг? Вот он тут про вас третьему лицу пишет... — шебаршение бумаги под столом. — Вот. Анатолий...» — «А откуда у вас его письмо третьему лицу?» — «Это не ваше дело». — «Грубо. Почему вы в грубом тоне со мной разговариваете?» — «Там, — кивок головой на окно, выходящее во двор, — с вами не так будут разговаривать». — «Вы мне угрожаете, да?» Пауза минут на десять: кто первый вынырнет. Мне есть что про себя наизусть повторять. «Не получился у нас с вами разговор, Анатолий Генрихович». Посочувствовать разве? У вас, мол, работа такая. Такой сизифов труд высокооплачиваемый.

Вот Николаев Семен Борисович, тот — нет, тот был порадушней. Это полковник милиции, который в ОВИРе объяснял, почему мне отказ на приглашение все того же Малковати. Крупный, крепкий, в ладном мундире, улыбается, ладонь широкая, мягкая. «В прошлый раз компетентные органы сочли, что ехать вам к приглашающему лицу нецелесообразно, а теперь — что противоречит интересам государства». — «Ну, я не Черчилль, чтобы мое что-нибудь противоречило интересам государства». — «Как, простите? Какое вы к Уинстону Черчиллю имеете отношение?.. Вы лучше, знаете что, задавайте мне вопросы. А я буду давать вам ответы. Я раньше служил в следствии и привык: вопрос — ответ, вопрос — ответ». — «Вопрос такой: почему моя поездка противоречит интересам нашего государства?» — «Вот! Вот так я люблю. Значит, вопрос: почему ваша поездка противоречит? — Заглядывает в мое дело и — весело: — На этот вопрос я вам не могу дать ответа. Давайте-давайте, еще спрашивайте». — «Вопрос: в ком причина, во мне или в нем?» — «Отлично. Вопрос: в ком причина? — В папку и — еще веселей: — И на этот вопрос я вам не могу дать ответа. Да вы не унывайте. Спросите, например: когда я могу опять просить о выезде?» — «Ну?» — «А на этот вопрос я вам могу дать ответ: через полгода от сегодняшнего дня». — «А такова ли причина отказа, что она может за полгода исчезнуть?» — «А на этот вопрос я вам не могу дать ответа». И мне через стол широкою теплую ладонь для рукопожатия.

Полгода назад был у меня поэтический вечер, подошла женщина, сказала, что «Мемориал» издает какую-то толику архивных материалов КГБ, в частности, о Технологическом институте, о газете «Культура» и конкретно о моей милости. Не прокомментирую ли я что-нибудь? И показала мне несколько страниц. Я увидел: «студент Технологического института Найман посетил...», «студент Бобышев читал стихи...», «студент Рейн говорил...» — и на миг мне *физически* нехорошо стало. Ты девятнадцатилетний мотался с дурачки снявшими глазами, посещал, говорил, читал стихи, все это безоглядно и полнокровно, сколько бы кто за тобой ни подсматривал и ни записывал. Что подсматривают, сидело где-то в сознании, как множество других бесполезных сведений вроде

того, что ты стареешь и умираешь, — но ты этого не знал. Ты думал, что жизнь перетекает из сердца в сердце и надо только следить, чтобы струя была как можно более подлинной, чистой, а ее, оказывается, отводили, пропускали через картонную папку с твоим именем. Ты шептал в розовое ушко, гладил голову, взволнованно дышал, и единственный смысл у этого был тот, что оно, делясь на двоих, удваивается и удвоенное удваивается и так далее — потому что вас только двое, никого больше, кроме двоих. А в папку ложился листок: «шептал», «гладил», «дышал», число и месяц. Ты думал, ты Гамлет, а ты был баран, которого каждая случка технически регистрируется.

Высунув кончик языка, ты подделывал билет на закрытый просмотр в Дом кино, потом, испугавшись, решил получить контрамарку через администратора, и теперь, когда, как говорит Анненский, уже видно окошечко кассы, тебе публично предъявляют и подделанный билет, и неполученную контрамарку, и тебя уже тошнит от одной мысли о просмотре. Твою жизнь с младенчества хотели лишить интимности и теперь предлагают это прокомментировать: студента Наймана, студента Бобышева, студента Рейна, рыжего Иосифа, ребенка в коляске, розовое ушко, Гамлета, барана. Но без интимности — как без открытости — как без дыхания и речи — нет жизни. Тебя лишают жизни — и просят это прокомментировать.

Театр

В первый раз я попал в театр лет семи-восьми. Дело было в Свердловске, шла война, пьеса называлась «В тылу врага» или «За линией фронта», как-то так. На сцене стоял настоящий самолет. Пикирующий истребитель, на одного пилота, но настоящий. Это и был спектакль — актеры, интрига, декорации не произвели ни малейшего впечатления.

Через много, много лет я увидел танк на сцене Центрального театра Советской Армии. Что я там делал, не помню, но точно, что не на спектакль пришел, — вернее всего, от нечего делать сопровождал приятеля, который там служил. Танк показался мне очень маленьким, бутафорским. Кто-то, вернее всего, приятель, сказал, что не мне одному, а, например, и комиссии, которая спектакль принимала, генералам и полковникам из политуправления армии. Танк тем не менее тоже был настоящий, боевая модель Т-34, — эффект уменьшения происходил от огромности сцены. Она для того и была спроектирована столь огромной и прочной, чтобы на нее могли въезжать танки. Сам театр, как известно, построен в форме звезды, хотя увидеть это можно только с аэроплана или вертолета. Рассказывают, будто сцена такая большая, что старые актеры, пока идут из-за кулис к тому месту, где разыгрывается действие, вынуждены присаживаться на табуретки, которые специально для этого стоят по дороге. Еще рассказывают, что в день получки, чтобы сократить путь от гримборных до кассы, который тянется, если по коридорам, вписанным в лучи звезды, метров на пятьсот, артисты театра пробегают через сцену. Хотя они стараются проскользнуть в ее глубине, но зрители их ясно видят и считают, что это какие-то загадочные персонажи или что таков загадочный режиссерский замысел.

Зритель вообще так воспитан, что заведомо согласен со всем непонятным и верит, что если он чего-то не понимает, то это его дефект. Не верить нельзя, потому что театр — место, где по условию задачи обязательно верить. Об этом очаровательно рассказано в «Весели Джексоне» Сарояна. Там два друга накануне того, как их повезут из Нью-Йорка в Европу воевать с немцами, покупают билет в первый попавшийся бродвейский театр. Пьеса оказывается тошнотворной сентиментальной мелодрамой, но после первого акта они выпивают в баре через улицу виски, и второй акт внезапно оживляется тем, что они замечают, что актер, играющий отца, не перебаривает актрису, играющую его дочь. Новая порция виски в следующем антракте еще больше обостряет их внутреннее зрение: отец сострадает дочери, но при этом еле сдерживается, чтобы не пристукнуть ее. Еще антракт, еще виски, Весли с другом следят за интригой со всевозрастающим участием. Наконец дочь спрашивает с надрывом: «Что же мне делать, отец? Куда идти?» И тот отвечает: «В задницу!» — то есть еще грубее,

и как ни в чем не бывало продолжает роль, то есть: «Дочка, не падай духом» и так далее. Приятели выпучивают друг на друга глаза: оба ясно слышали! Но, как ни невероятно, — только они: зал не слышал, ибо следил за развитием мелодрамы, и даже если физический звук ругательства достиг ушей каждого, ни один не поверил, не допустил ни на единый миг, что не услышался.

Я был свидетелем такого эффекта. Я сидел на торжественном собрании по случаю открытия Высших сценарных курсов, дело было осенью 62-го года. Президиум состоял из замминистра, председателя союза, режиссеров, сценаристов, с речами выступали согласно иерархии. Позиции Пырьева тогда уже не были такими бесспорными, как в годы «Сказания о земле Сибирской» и «Кубанских казаков», но он продолжал оставаться императором кино. Он говорил темпераментно, скороговорочкой, резал правду-матку — как «умный русский мужичок, испорченный ликером», по замечанию, произнесенному себе под нос, моего соседа по парте. «Ведь что такое было кино до революции?! — ораторствовал Пырьев. — Киношка. А стало?! Его величество ки-не-ма-то-граф! Было забавой, а стало искусством. Было — аттракцион, а стало, как сказал Ильич, искусством важнейшим! — Он заходил все больше. — Было *трам-туру-мать!*..» Он выругался по-настоящему, и мы с соседом тоже устались друг на друга с изумлением — но никто, кроме нас, не пошевелился. Пырьев просто не мог произнести это — по условию спектакля. А если произнес, то, значит, это значило что-то другое, чем то, что все расслышали: не уличный мат, потому что дело происходит не на улице, а какой-нибудь, например, *ист.мат-диамат* — опять-таки по условию спектакля.

Феномен пьесы, накладывающейся на пьесу, исчерпывающе объяснил автор «Театрального романа». Герой романа, драматург, пишет вещь, и ему начинает казаться, что из белой страницы выступает цветная картинка, трехмерная коробочка, и в ней движутся фигурки, о которых он пишет. Эта маленькая камера начинает звучать, слышны звуки рояля, а когда они затихают, сквозь вьюгу за окном прорывается гармошка. Затем на страницах «наступает зимняя ночь над Днепром, выступают лошадиные морды, а над ними лица людей в папах». «Вон, — замечает пишущий, — бежит, задыхаясь, человек. Сквозь табачный дым я слежу за ним, я напрягаю зрение и вижу: сверкнуло сзади человека, выстрел, он, охнув, падает наземь...» Драматург приносит пьесу в театр. Проходя мимо зябущей в дневном сумраке сцены, он видит погруженные в темноту ее углы и стоящего в середине, поблескивающего, золотого, поднявшегося на дыбы коня — и тут же понимает, что ничего на свете не важно, «а важен только этот золотой конь», что, другими словами, этот конь и есть театр.

Затем он читает свою пьесу режиссеру: про двор, засыпанный снегом, и флигель, в котором играют на рояле «Фауста», и про выстрел, который в конце концов оказывается самоубийством того человека, и так далее, а режиссер строго смотрит на него в лорнет и не улыбается даже в самых смешных местах. У режиссера пьеса проваливается. «Потому что, — как объясняют потом автору, — самому старшему вашему герою сколько лет? Двадцать восемь? А самому младшему из старейшин театра пятьдесят семь. И лишь только вы сели и открыли тетрадь, режиссер уже перестал слушать вас. Он соображал, как распределить роли, как сделать так, чтобы старейшины могли разыграть вашу пьесу без ущерба для себя...» Режиссер и совет старейшин, на котором пьеса тоже провалилась, разыгрывали свою, совершенно другую пьесу, ее интрига заключалась в том, что старики должны изображать молодых людей, а фальшивая актриса, давно скрывающая свой возраст, девятнадцатилетнюю девушку.

Теперь поместите эту вторую пьесу в сценическое пространство личных пристрастий и предрассудков режиссера, человеческих отношений внутри труппы, сиюминутных обстоятельств жизни, то есть в еще одну пьесу. Наконец, что есть вся жизнь? Вот именно, что игра, — если правда то, что поется в известной опере. Пьеса в пьесе в пьесе в пьесе...

В начале 60-х у меня — не вспыхнул, конечно, но — затлел роман с театром «Современник». Я написал пьесу, завлитша прочла, Ефремов, не знаю, прочел, просмотрел или с ее слов, в общем, захотел ставить. Точней, попробовать. Мы с ним были лично знакомы. Тогда все были лично знакомы друг с дру-

гом, а так как «Современник» ставил пьесу «Всегда в продаже» Аксенова, а он, будучи моим другом, пару раз пригласил меня на репетиции и познакомил со своими друзьями Ефремовым, Табаковым, Квашой, а там еще был Козаков, с которым мы учились в одной школе, правда, он классом старше, и, например, Мягков, который учился в том же институте, что я, но позже, или, например, Никулин, который, когда я был в Таллине, один раз играл на гитаре, то вот и получалось, что все были знакомы.

По случаю возможной постановки Ефремов вызвал меня для делового разговора. Дескать, выпивон и анекдоты — это одно, а встреча драматурга с главным режиссером — другое, не будем путать. Встреча была назначена на четверть седьмого в его гримуборной. В семь начинался спектакль «Декабристы», в котором он играл Николая I. Пока мы разговаривали, он, не торопясь, гримировался. Такую-то сцену он предлагал мне сократить, такую-то расширить. Тогда углубится характер главного героя. И вообще давай сосредоточимся на главной линии, на стволе, второстепенные разовьются от нее, как ветви... Он натянул парик, гребенкой легко взбил на нем кок, ладонью придавил его. Приклеил височки, под ними бачки. Надел серый мундир, стал застегивать пуговицы, снизу наверх. Чем больше появлялось сходства с царем, тем более веско и мерно он произносил фразы. Он поправил краску на лице, резче провел линии от носа к уголкам рта, придвинулся к зеркалу, взгляделся. Глаза стали оловянные... Этот студент у тебя неплох, даже, может быть, излишне хорош, — ведь солдат-пограничник, которого он сбивает с панталыку, не хуже его, так ведь? Должен быть не хуже, ведь так? Не глупее, а что книг меньше прочел, так не из книг набираются опыта, а из жизни. И нечего тому над ним насмехаться. Он в конце концов защищает землю, да, да, ту самую землю, на которой этот ферт, валяясь на диване, читает, может быть, даже от безделья, бездумно, эти свои книги... Речь стала строгой, отрывистой, властной... Что ж ты молчишь, голубчик? — сказал он, пустыми, наполненными деланной тяжестью глазами поглядев на меня из зеркала. Разве я не прав? Отвечай!.. Я наслаждался. Ваше величество, сказал я, ваша императорская прелесть! Не извольте беспокоиться, сократим и расширим, углубим и разовьем... Ужасно хотелось мне ему подыграть, но выходило бездарно. Он уперся в меня, по-прежнему через зеркало, неподвижными, не подающими ни малейшей помощи зрачками, молчал, молчал, потом выдал из себя «м-да», непонятно к чему относящаяся: к его роли, к моей пьесе, к моей неодаренности актерской, к общей? «М-да», — и сжалился: подмигнул.

Есть великие актеры, которые выходят на сцену и играют, и ты видишь, что на сцену вышел актер и гениально играет — эту роль, другую. И есть, которые выходят на сцену и чего-то такое делают и говорят, и ты думаешь: а, это его естественный тип, это он и есть, ему и играть не надо, просто показывай себя — и все. Их никто не называет великими, ни их игру гениальной. Вот Ефремов такой. Когда он ставил «Всегда в продаже», Табаков, который играл главную роль, тертого советского мерзавца, на одной репетиции сказал: а что если я в этот момент лягу плашмя на живот, ногу подниму и ею покручу в разные стороны, как антенной, — дескать, лоя, кто что вокруг говорит и думает. И тут же показал, очень забавно. Ефремову понравилось, он сказал: «А может, так?» — вышел на сцену, лег плашмя на живот, поднял худую ногу, с которой сразу сползла штанина, и подвигал горизонтально ступней в разные стороны. И это была антенна. Локатор, которым сто раз в кино немцы засекали наших заброшенных в их тыл радистов. Кто был в зале и на сцене рассмеялись. Включая Табакова, который, посмеявшись и еще какое-то время поулыбавшись, вдруг посерьезнел и сказал: «А пожалуй, не надо. Не буду. Только зрителя отвлекать».

Ефремов больше умел сделать, чем играл. Иногда не получалось — потому что ошибался: делал не то — но это «не то» делать все равно умел. А когда получалось, он сомнений в подлинности делаемого не оставлял. В цирке есть такой клоунский номер, древнейший, «еще с Египта», как говорят цирковые. Выходит клоун, в одной руке тарелка, в другой молоток, становится на середину арены, прицеливается, бьет молотком по тарелке, она разбивается, он раскланивается и уходит. Смешно. Был клоун Карандаш — Румянцев настоящая фамилия: все клоуны разбивали тарелку — публика смеялась, а он — от хох-

та падали со стульев на пол. То же самое в истории про некоего артиста Сомова, легендарного в компании симпатичных мне одно время молодых людей. Ему, когда он еще учился в актерской школе, задали сыграть эту на пару с его другом. Дескать, вдвоем пошли на охоту, и Сомов случайным выстрелом убивает собаку друга. Все честь честью: хлопок в ладоши, ах, что такое? моя собака, собачка моя, что с тобой? ты ранена... В ужасе смотрит на Сомова, и с возрастающим надрывом: это ты? ты попал в нее, ты убил ее, почему ты убил ее?! На что Сомов абсолютно спокойно, бесчувственно: «А какая-то она была куца»... И Ефремов так: зачем играть, когда можно «сделать»? Зачем в обход, когда можно напрямик — молотком по тарелке; застрелить, потому что куца?

В конце концов пьесу мою не поставили, но приятельство сохранилось. Вскоре «Современник» гастролировал в Ленинграде, и траектории их беззаботной актерской праздничности и моей озабоченной невесть чем праздности стали пересекаться. После дневного купания где-нибудь в Солнечном они могли сказать: «Слушай, у нас сегодня спектакль короткий, да мы еще подгоним, так что не уходи, посадим тебя на приставное, а вечером вместе куда-нибудь закатимся». И я сядил на приставное и сквозь мягкую дрему следил кое-как за действием на сцене, которое они на скорости гнали, как вдруг Табаков с вызовом явственно говорил Козакову: «А Фурманова вы читали?! А Серафимовича?! А Анатолия Наймана?!!» — И я почти вскакивал с места и вертел головой, но зал был уверен, что так и надо, что Козакову следовало этих троих прочесть.

Как-то раз под вечер позвонил Ефремов: «Ты машину уже поставил в гараж? Выводи и приезжай». Это было все равно что спросить, поставил ли я уже в стойло моего рысака: из близких знакомых автомобиль был у одного М. П., но он был физик-атомщик, да и он отчасти делал вид, что это не автомобиль, а, например, такого фасона плащ-палатка. Иметь автомобиль тогда означало «принадлежать к», а мы «не принадлежали» — не хотели, а и хотели бы, никто нас «туда» не принимал. Так что я честно ответил, что нет, в гараж еще не ставил. «Тогда приезжай, поедem к Томашевской». Он собирался взяться за «Горе от ума», а Ирина Николаевна была специалистом по Грибоедову. Она Ефремова нежно любила, еще, кажется, по Гурзуфу, где у нее был собственный дом, а он приезжал в Дом актера. И ко мне относилась благосклонно, однажды даже пригласила пожить там у нее пару недель.

Я понял, почему он сказал мне про машину, только когда прибыл к нему в «Асторию» (трамваем, 26-м трамваем). Накануне его, как говорит в «На дне» Актер, «органон был отравлен алко́голем», и он рассчитывал, что ему не надо будет садиться за руль. Общественным транспортом, включая такси, по причине невероятной его популярности — только что вышел фильм «Три тополя на Плющихе» — пользоваться было невозможно. Впрочем, узнав, что я без, он с воодушевлением сказал, что великолепно, поедem на его, небось недалеко (я подтвердил), только пусть я показываю дорогу. Выяснилось, что показывать надо почти в буквальном смысле: стояли белые ночи, но уже несколько серые, сумеречные, фонарей, однако, не зажигали, а у него, сообщил он, едва мы тронулись, сильнейший недостаток зрения, надо лечиться, все руки не доходят. Легко коснувшись троллейбуса и один раз попав на встречную полосу, мы с Исаакиевской благополучно прикатили на Софью Перовскую.

Ирина Николаевна внесла серебряный поднос с маринованными огурчиками, селедкой, ветчинкой и черным хлебом, облегавшими строгий хрустальный графин с водкой. Ефремов церемонно встал на колени, поцеловал ей ручку и почтительно сказал: «Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря, верст больше седьмисот пронесся, ветер, буря». Разговор о Чацком, о том, что он ведь в самом деле «завистлив, горд и зол», о его вредоносности для, по сути, симпатичного круга Фамусова, для вообще жизни, исполненной здравого смысла, и тем самым для устойчивости жизни русской, опускаю. В час мы попрощались с хозяйкой и вышли на улицу. Наша белая «Волга» стояла у ворот, но вести ее было некому. Ефремов дал мне ключи, чтобы я попал в замочную щель; я отказался. После однообразно бессодержательных пререканий и даже возни мы оба все-таки оказались внутри, он все-таки включил зажигание, и машина все-таки поехала, но не сворачивая. Иначе говоря, поехала прямо в канал, хотя и медлен-

но, так что я успел выдернуть ключи из гнезда метров за пять до парапета. Мы ткнулись в поребрик, остановились, я с ключами в руках решительно вышел, осмотрелся, решительно зашел в залитую мочой телефонную будку и позвонил М. П. Он был страшно разозлен, сказал, что я разбудил маму, что ему самому вставать на работу уже через пять часов, что к тому же его машина на ремонте, а и была бы на ходу, ехать выручать нас не подумал бы. Мысль моя пометалась и наткнулась на Баталова. Мы с ним были достаточно коротко знакомы, чтобы я мог ему сейчас позвонить, и у него была машина. Мы даже дважды вдвоем ездили на ней из Москвы в Ленинград.

Наверное, я его тоже разбудил, но он не подал виду. Первое, о чем спросил, — насколько мы пьяны. Вернее, Ефремов. Не пахнет ли дракой. Через минут двадцать приехал с женой, Гитаной. Ефремов покорно пересел в своей машине на пассажирское место, уступив ему водительское. Но, прежде чем хлопнуть дверцу, сказал: «А все равно я известнее тебя». Баталов был куда известнее Ефремова: после «Дела Румянцева» он десять лет был самый знаменитый киноартист страны. Я сел к Гитане. Оказалось, она вчера получила водительские права, и это ее первая самостоятельная поездка. Как-то мы до «Астории» доехали. Швейцары и горничные при виде Б. и Е. вдвоем пришли в сильное возмущение. Ефремов, сданный им на руки, опять — с покрытой ковром лестницы — сказал, что надо еще посмотреть, кого больше любит народ — даже как шофера. В «Трех тополях» он играл шофера — как и Баталов в «Румянцеве». Когда мы вышли на улицу, расстроенный Баталов сказал мне: «Ты понимаешь, что завтра все будут рассказывать, как пьяный Баталов в два часа ночи приволок пьяного Ефремова?» Впрочем, небо уже сильно посветлело, день обещал быть солнечным, настроение от минуты к минуте поднималось.

Те гастроли имели продолжение, оно же окончание моих личных отношений с «Современником». На вторую половину лета театр, как оказалось, перебирался из Ленинграда именно туда, куда по собственным делам и мне необходимо было ехать, — в Вильнюс. Ефремов предложил отправиться вместе, чем, так сказать, закрепить союз с его «Волгой», разделившей наши умеренные приключения той ночи. Было еще три автомобиля: табакровский, квашовский и козаковский — каждый укомплектованный полным экипажем. В нашем ехала еще молодая актерская пара и администратор театра. Маршрут: Таллин (ночевка) — Рига (ночевка) — Вильнюс.

Наш командир еще не отошел от периода позволенных себе в последние дни излишеств и, ведя машину, время от времени прихлебывал из бутылки югославский виньяк. В Нарве я решительно сменил его за рулем: прав у меня не было, но необходимые навыки имелись, а на пустых тогда шоссе большего не требовалось. Когда до Таллина оставалось тридцать километров, внутреннее чутье сказала мне остановиться. Ефремов, разбуженный, снова сел за руль, мы проехали метров триста, и нас остановил вышедший из кустов молодой гаишник-эстонец. Тормозя, Ефремов отрывисто приказал: «Сигарету!» — сидевшие сзади ее мгновенно раскурили, сунули ему в рот, он быстро несколько раз затянулся и, окутавшись дымом, открыл дверь. Парень поднес руку к каске, «фаши токкументы» — все по инструкции, но Ефремов почувствовал, что он узнал его. Он улыбнулся точно, как в «Тополях», полез во внутренний карман за правами, одновременно продолжая часто затягиваться, и, видимо, оттого что этих действий было несколько и они были разнонаправлены, он на миг потерял — скорей даже не равновесие, а — ориентацию: привалился на капот. Гаишник смотрел на него, мы — на него и на гаишника. Не выпрямляясь, а только опершись рукой, он другой рукой слегка протер фару. Выпрямился, натянул рукав рубахи на ладонь и протер уже основательнее. Ну, запылилась в пути. Потому и пришлось *наклониться* — может, немного ниже, чем надо, не рассчитал, так ведь и устал за дорогу. «Доедете?» — спросил парень. Ефремов протянул ему руку, тот — права, но он их отодвинул, дождался, пока переложит в другую ладонь, пожал, задержав в своей, его руку, пока тот не стал улыбаться, и только тогда взял обратное права.

В том же путешествии я увидел сценки из закулисной жизни театра, той, о которой ходят сплетни и которая в этих сплетнях именуется «муравейник», если не «змеюшник». К ночи остальные машины, по дороге потерявшие друг дру-

га из вида, съехались к условленной гостинице. Все вместе поужинали, утром все вместе позавтракали. Все время все вместе шутили. Шутя, потянулись к автомобилям, стали рассаживаться. Дошучивали возле дверцы Ефремова: он уже сел за руль, спустил свое стекло. «Юрик,— вдруг сказал он человеку, которого звали вовсе не Юрик, а, например, Гарик,— проверь, как у меня там с маслом»,— и, не выходя, освободил от запора капот. Тот оглянулся по сторонам, спросил: «Ты это кому?» — «Тебе, Юрик». — «Так я же...— сказал тот, пытаясь улыбнуться, как другу.— Олег, ну чего ты так? Олег Николаич, ну чего это вы?» Олег Николаич, тоже улыбаясь, но не как другу, смотрел на него неподвижно. Тот, изображая «ну и ну» и, может быть, даже приговаривая так, полез под капот, вынул щуп, протер, проверил, сказал уже деловито: «В норме»,— и все, наконец, разошлись по машинам.

Позже я встречался в ленинградском БДТ с Товстоноговым, там царил благоговение. Неясно было, исходило ли оно от искусства, на дневное время погруженное, как сам театр, в сумрак — чтобы не сказать: в сон,— и распространялось на главного режиссера; или струилось от главного режиссера, величественного и уравновешенного, как античная трагедия и мировая культура, от его торжественного, полного шепотков дам, обесчечивавших его уют, кабинета, похожего на огромную спальню Саломеи Андрониковой в описании Мандельштама,— и пропитывало собой искусство. Благоговение и серьезность. Все было очень серьезно, разговор о таких, в общем, легкомысленных вещах, как зрелище, пиеса, лицедейство, был угнетающе серьезен. В двадцать с чем-то лет от этой неадекватности приходишь во все более веселое расположение духа, сосредоточиваешься уже только на важности тона, пропускаешь содержание и в самом неподходящем месте прыскаешь, долго и безнадежно потом извиняясь.

Плучек из Театра сатиры, до которого тоже дошла моя пьеса, разговаривал, наоборот, простецки, как директор средней фабрики. Что Питер Брук его кузен, он сказал в первых словах. Питер Брук был из тех самых *великих*, и у него играл *великий* актер, Пол Скофилд. Я видел его в «Макбете» — играл замечательно, и спектакль был замечательный, но все равно пьеса превосходила и его, и спектакль. Плучек родством ничуть не хвастался, просто говорил, что «Питеру хорошо, у него есть идеи». «Дайте мне идеи! — немножко наигрывая, восклицал он.— У меня есть театр, вешалка, буфет, прекрасная труппа, две труппы, две сцены, три сцены! Нет подходящих идей. Давайте,— он взглядывал на рукопись моей пьесы, чтобы не ошибиться в имени,— Найман, ну же, Анатолий, идеи, идеи, идеи! Хотя бы одну, Анатолий!»

Театр, который пришелся на мое время, был посредственный и скучный. Вернее, мне в нем было скучно и все казалось посредственно и рассчитано на посредственность. Исключение составил один спектакль — за всю жизнь! — «Идиот» в театре Товстоногова, где Мышкина играл Смоктуновский. Об этом написаны книги и тысячи статей, об этом пожилые люди, видевшие спектакль, до сих пор говорят, меняясь в лице, лепеча, пытаясь сами изобразить, что это было, и кончают восклицанием «Нет, это надо было видеть!» — с тем большим пафосом, чем большую беспомощность испытывают. Я тоже могу только лепетать и показывать, как Смоктуновский поднимал руку и мягким движением фокусника открывал дверь, отталкивая от себя ее верхний угол, у самого косяка, и произносить свою вариацию восклицания — «Как жаль, что вы этого не видели сами».

Заснятые на пленку сцены из «Идиота» ничего не передают, потому что Смоктуновский играл только то, что тут же исчезает, каждое следующее его движение и звук стирали предыдущие, но так, что от них в воздухе оставались слабо светящиеся следы — наподобие тех, которые оставляет в небе самолет, только бесконечно более сложной конфигурации,— постепенно растворяющиеся, размывающиеся, но не до конца, поэтому в конце куб сцены был густо изрисован ими, нежными, плавными, вибрирующими. Голос и жест были одинаково нежными, плавными, вибрирующими — единственно точными. Он играл на площадке сцены, но с расчетом на пространство зрительного зала, нависающего над ней и тем самым составляющего с узорным кубом одно. Зал смотрел на куб, как на картину, выставленную перед ним на невиданном вернисаже, про который зрители знать не знали, что такой вообще бывает,— с первого эпизо-

да законченную, в каждом новом эпизоде заканчиваемую, весь спектакль идущую к концу. Остальные актеры играли, как могли, хорошо играли, не мешали ему обвивать их этими струящимися лентами и передвигались окутанные ими, как куклы... Князь Мышкин — всечеловек: как Гамлет, как Обломов — поэтому Смоктуновский и Гамлета потом сыграл, в какой-то степени как *идиота*, и — на пару с Ефремовым — какого-то выдуманного угонщика автомобилей, и еще более выдуманного Ленина. Как я мечтал, чтобы он сыграл Обломова!

Но «Идиот» был только раз, а в остальном тоскливым мне казался театр — что в средних, что в громких постановках. В зал всегда отдавало пыльными декорациями. Всегда казалось, что сию минуту на сцене случится что-то стыдное, непоправимое, и если *проносило*, если проходило просто пристойно, это уже считалось успехом. Когда читаешь по-английски «Макбета», видишь чистое замкнутое пространство сценической площадки, идеально соразмерное, ясное, чистый умеренный свет, чистый прозрачный воздух, и в нем звучат слова той уникальной выразительности, для которой требуются просто произнесение вслух, просто голос, не «гениальный», а только чтобы не испортить слова, и актер, два, три, пять, не «гениальных», а только располагающих этим голосом. То есть гениальных. Потому что любая страница «Макбета» всегда лучше того, как ее сыграют, кто бы ни играл. Потому что любая страница лучше того, что ты на ней читаешь, кто бы ни читал. Это тайна, секрет, это принцип — я уж не знаю какой: технический, технологический — этой пьесы. Безответственно припишу: и подобных ей. А когда приходишь на Таганку, на премьеру «Десяти дней, которые потрясли мир», куда билетов нет в природе, так что, еще не войдя, осознаешь, что находишься вне природы, вне земного мира причинно-следственных связей, то есть вне всего, то есть в восторге, и контролер на входе, наряженный в красногвардейскую шинель, насаживает твой билет на штык своей трехлинейной винтовки, а тебе на грудь накалывает красный революционный бант «как тогда», и булавка вонзается в твою грудь в аккурат возле соска, а потом со сцены палят дымным порохом ковровского производства, — то провалились этот театр со всеми его сверхъестественными Любимовыми, цензурами, блатами и даже Высоцким с гитарой.

«Знаем! Играли!» — как говорит у Зоценко актер-любитель Вася, обкраденный другими актерами. Ну, не сами играли, но один из нас. Это было еще в школе, играл Миша Козаков. На школьных вечерах он читал «Русь-тройка» или разыгрывал сценку из Островского, из Мольера, из «Сирано» с какой-нибудь девочкой из женской школы. Произнося слова про ямщика, который «борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем, а привстал, да замахнулся, да затянул песню, — кони вихрем...», он изображал бороду и рукавицы, присаживался, привставал, замахивался, и мы все отдавали должное его умению, но никто не допускал такого предположения, что это актер или будущий актер, — хотя бы потому, что знать этот текст наизусть полагалось по школьной программе и каждый мог прочесть его вместо Миши Козакова. Отдавали должное легкости, с какой он это делал, и дерзости, ибо он делал это, не стесняясь. Прочество мы могли, но менее разборчиво, не так выразительно и, главное, не так охотно. Он был один из нас — как Коля Берендеев, игравший в баскетбол за районную команду, как Адик Зальцман, имевший первую категорию по шахматам, или как Паша Калягин, участвовавший в ленинградской конференции ВЛКСМ. У Коли был высокий рост, у Адика мозги, у Паши зычный голос и некоторая чичиковская гладкость, а у Миши — легкость и дерзость. Но никто никогда не трактовал Колю как баскетболиста, а только как мямлю и троечника, или Адика как шахматиста, а только как угрюмого поедателя собственных ногтей, или Пашу как молодого ленинца, а только как умевшего громче всех пукать, и Мишу не как артиста, а лишь как изысканного красавца и из писательской семьи.

Когда школа готовилась к встрече со знаменитым французским поэтом-коммунистом Луи Арагоном, естественно, что приветствие на французском языке ему должен был прочесть Миша. Все классы выстроились в рекреационном зале, все триста или сколько там человек, ровными каре. Но где Козаков?! Директор в отчаянии и ярости смотрел во двор, проговорил сдавленно: «Едут»,

сдавленно крикнул: «Вот он!» — мы бросились к окнам: Арагон открывал дверцу ЗИСа, из него вылезал Миша. Так что я не испытал удивления, когда, окончив школу, он сыграл у Ромма в «Убийстве на улице Данте»: Ромм был где-то там же, где и Арагон, там, где и делалось искусство ради признания. Миша стал ходить по улице Горького с длинным красным шарфом вокруг шеи. Выглядел потрясающе, на убой, мне было лестно, что мы учились в одной школе. И тут он сыграл Гамлета. В театре. И продолжал закидывать за спину красный шарф. И почему-то было ясно, что это ужасно. Этим ртом произносить «прощай, прощай и помни обо мне» — и на него же наматывать красный шарф перед прошвыром по *Броду* с физиономией знаменитости! Померкни свет, погибни урожай! О низость, низость с низкою улыбкой! Труха, труха!

Судя по всему, это задачка из нерешаемых — артист в жизни. Когда из участника детской художественной самодеятельности Миши он становится артистом Козаковым? В какой момент *театральное животное* перестает играть и, выйдя на улицу, пополняет собой компанию пешеходов? Говоря «привет», здоровается он с тобой или цитирует реплику из игранной пьесы? Гениальная актриса Раневская, которая одно лето дружила со мной — а я ее обожал, — была личностью значительная, натура богатая. Она сказала Ахматовой, когда та ее, а заодно и меня и *для* меня, поддразнивала, — со щемящей тоской в голосе она сказала: «Стокгольм, Париж... Как провинциально. Все, все провинциально... Все провинциально — кроме Библии». Прозвучало это так прекрасно, что я и сейчас вздрагиваю от внутреннего восторга, когда вспоминаю этот летний пасмурный полдень в Комарове, усмешку Ахматовой и горькое лицо Раневской. Но сколько чего в этом восторге от произнесенных ею пронзительно-великих слов — и сколько от голоса и лица, которыми она одна могла сделать тоску и скорбь такими щемящими? И «сделать» — значит ли это «передать», что Ахматова своими, противоположными и противоположенными актерским средствами умела еще лучше, чем она, — или «сыграть», чего, как Раневская, не умел никто?

В моем детстве артист Качалов, при одном имени которого у взрослых от возвышенных чувств закатывались глаза, своим нечеловечески благородным баритоном, таковыми же лицом и общей фактурой, своими какими-то древнеримскими в их важности, чуть подвывающими интонациями наводил на подзрительную мысль, что театр не столько искусство, сколько то, что искусственно.

Так что я был поражен, когда узнал, что он был кумиром Раневской всю ее жизнь. Только не заставляйте меня беспомощно и чем беспомощней, тем высренней констатировать: «Таков театр!»

Вера и отчужденность

В двадцать лет и еще шесть лет после того К. С. был поэтом, и пора наконец признаться, что для меня его стихи всю жизнь были поэзией, лучшей, чем у кого бы то ни было из самых любимых и почитаемых мной современников, с которыми я был близок, включая Ахматову и Бродского. Любить я часто любил больше их поэзию, но знал, что его *лучше*. Бродский говорил, что за полтора часа разговора с К. С., следовавшего после чтения доброй сотни его стихотворений, которые тогда ходили по рукам, он «все понял», усвоил и превзошел. Думаю, что не все. Бродский, безусловно, повысил уровень поэзии для читателей званых, но никак не для избранных. У него есть стихи первоклассные, и он поэт первоклассный, лучше хороших и не хуже лучших, и, как он постоянно настаивал, он, в самом деле, поэт *языка* — но К. С. поэт *поэзии*. Стихи Ахматовой, погибни мировая поэзия, могли бы одни за нее представлять, но в них еще так важны судьба и история, у Бродского — еще язык как идея и вообще идея, у Бобышева — еще представление о поэзии, у Михаила Еремина — еще знания, а у К. С. — кроме поэзии, ничего.

В его стихах хлебниковское пожирание словаря, направленное на быстрое достижение нужного слова, сошлось с пленительной неозабоченностью ничем Кузмина и оккультно-эзотерическим холодком обэриутов — это если

очень приблизительно и неуклюже то, как он писал, характеризовать. Ахматова помимо поэзии — это история литературы, одна из главных ее линий, тогда как Анненский — вне. Бродский — целый букет линий, почему о нем так легко и азартно пишут; К. С. — вне. Потому что у поэзии нет истории. В принципе и К. С. можно вставить *внутри*, но отделив скорлупки от ядрышек и написав диссертацию о скорлупках.

В 26 лет он отказался от всех написанных им стихов, решительно попросил друзей, имевших списки, их уничтожить и исчез из поля зрения. Женился, переехал жить из Москвы в область. Родилось шестеро детей, он один зарабатывал на семью: с дипломом института иностранных языков — техническими переводами с английского. Но прежде всего того — крестился. Тут к нашим услугам автоматически подается клише о крестившейся молодежи тех лет: «Знаем: опрощение, многочадие, домострой, запой, разбитое корыто». Даже если так, то это корыто где-то под забором у Бога, а не Центрального Дома литераторов. А тут к тому же и совсем *не так*, потому что если из дому уходит, чтобы не возвратиться, старичок и пропадает, то это скучное для других событие его личной жизни наполняется необыкновенным содержанием, когда старичка зовут Александр I или Лев Толстой. К. С. и умнее нас, и талантливее, но сам о том, что с ним случилось и как развивалось, молчит, так с какой стати нам, которые свели свою жизнь к корытам лакированным, сводить его к удобной себе схеме?

Друзья были в шоке, но он пользовался у них не только огромной любовью, а и огромным авторитетом, и они, кто в самом деле, кто на словах, сожгли его стихи и никогда на эту тему с ним не заговаривали. За глаза — постоянно. Леня Чертков, сам замечательный поэт, почему и его понимавший, как мало кто, еще лет через десять после аутодафе, с жаром и негодованием повествовал, как в одной компании он пересказывал фразу К. С. о Хемингуэе, острую и ироническую, на что один из присутствующих отозвался: «А кто такой этот К. С., чтобы судить о Хемингуэе?» «И абсолютно правильно! — восклицал Чертков. — Как пишут в энциклопедии, ”свою последнюю вещь такой-то сочинил в таком-то году, после чего прожил еще тридцать лет, не представляющих специального интереса“». Когда ему исполнилось сорок и друзья юности устроили день рождения, *пригласив* его, и то, как они на него смотрели и что говорили, и как он на них смотрел и что отвечал, седеющий, с бородкой, в морщинках, бесконечно далекий от того читающего без нажима «отражаясь в собственном ботинке, я стою на крае троттуара, и блестит нога моя в суглинке, как царица черная Тамара» — пленительным гибким гобойным голосом молодого человека, которого они когда-то обожали, но для них тот же и своей жестокостью и их, седеющих, лысеющих, потерявших половину зубов, делающий *теми же*, — это было так щемяще, что даже после тоста самой несентиментальной гостью: «Меняю одного сорокалетнего К. С. на двух двадцатилетних», — чара не исчезла.

* * *

Верить — приятно. Приятно, легко. Почти как воображать, как мечтать. Папа всегда будет молодой, мама — красивая. Я буду сильный, а можно и — большой и умный, как желают на день рождения. Верить — хочется. Чем больше папа и мама стареют, чем больше оказывается вокруг тех, кого ты слабей, меньше, глупей, тем более отвлеченной становится вера. Верю, что зато со мной что-то случится хорошее и, наоборот, не случится плохого. И вообще что-то случится не *случайное*, а потому что я *такой*. Какой? Ну, другой, не такой, и родители у меня другие, и рост, и сила, и мысли, и дальше будет все особенное, исключительно мое. Я так родился, так задуман, отдельно от всех и хоть немного, но ни на кого не похоже, и на этом основании верю, что так, сколько-то непохоже и отдельно, буду жить всю жизнь. Потому, стало быть, что обо мне есть пусть крохотный, но специальный замысел, план: чтобы я был именно я — я в это верю.

Верить и тут все еще просто. Даже когда вдруг видишь, что и кто-то еще так же по-своему живет и, стало быть, задуман, даже когда вдруг понимаешь, что на каждого есть свой план, иначе говоря — на всех. Чей это замысел, эта

грандиозная программа — природы, космоса, звезд, больших чисел, генов, магов, инопланетян? Чем разбираться и сомневаться, удобнее сказать: «бог». Так устроил и управляет. Немудренное низко гудящее трехзвучие, а все им сразу объясняется. Не только удовлетворяет совершенно, едва ты так решил, понял, произнес, — но едва на тебя этак накатило, как в то же мгновение знаешь, что так и есть, что никакого другого объяснения не требуется, что его и нет, что и прежде это каким-то образом знал.

По-другому, но верить в такого бога опять-таки приятно и легко. Он, собственно, для того и бог, чтобы устроить и управлять так, чтобы все было хорошо и не было плохо. Неудобства с этой верой начинаются потом. Во-первых, не все хорошо и многое плохо. Во-вторых, что хорошо и что плохо? Что, скажем, нельзя отдаваться нежно-жгучей страсти — хорошо это или плохо? А, например, с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь, — плохо это или хорошо? Ну ладно, «бог простит» — и то, что завел новый роман, не вполне закончив старый, и то, что, занятый им, в больницу к дяде так и не выбрался. Но ведь и роман от одного промелька мысли «бог...» уже чуть-чуть отравлен, и время, сэкономленное на дяде, как-то горчит. И вообще ты ему «хорошее» делаешь — *веришь*, а он через твое же согласие его признать тебе же мешает. Да бог с ним, с этим богом, это же я по доброй воле в него верю, а захочу — и не стану. Однако не получается, и хочешь, а не перестаешь. Как наваждение: «Ни с тобой, ни без тебя жить невозможно».

Есть, конечно, выход — плюнуть на все это дело. А только в радости от освобождения обязательно начинаешь, как на больной зуб, наткаться почему-то на мрачный ущерб, и никак от него не избавиться. Да и вся радость, любая, вся *жизнерадостность* теперь обязательно с примесью, не *беззаветно* веселая, — а что за веселье, если до черты! А не плюнуть и пусть без желания, немного из-под палки, но согласиться верить, тогда постепенно вера забирает себе все больше места, и в минуту, когда ее чувствуешь, то чувствуешь, что на вкус она послаще, чем в предыдущий раз, — и чем она слаще, тем больше не всласть. Вот именно: «Иго Мое благо и бремя Мое легко», но ведь — *иго* и — *бремя*.

Нам, падшим-перепадшим, падшим семь с половиной тысяч немереной продолжительности лет назад и перепадшим в каждый их день на всем их протяжении, и сейчас — в каждую свободную минуту, нам, таким, не хотеть верить в Бога — нормально. Ну, есть там что-то, Нечто, Сила, Энергия, Абсолют, Трансцендентность, ну, Бог — и отстаньте от меня с вашим Богом. Я — грешник, грешник, грешник, а Он — милостив, милостив, милостив, и мой грех, который, и правда, меня гнетет, как грех, и правда, терзает, — всего лишь пылинка, пятнышко перед всезатопляющим теплым светом Его Божьей милости. А если не пылинка, а шматок грязи, и какой-нибудь особенно омерзительный; или даже пылинка, но Ему известно, что и ее мог бы я отдуть от себя подальше; или, что вернее, и не в пылинке дело, а такая Его обо мне воля — если, словом, нет на меня Его милости, то, значит, нет, и опять деваться некуда. Не все неключимый я грешник и, как могу, стараюсь, и стараться буду до конца дней — как могу — что с Богом, что без Бога. Жизнь такая краткая, и столько в ней надо успеть — из того как раз и исходя, что Он есть, — что оставьте меня в покое хотя бы на краткое время этой жизни, дайте успеть сделать то, что могу. Довольно того, что я верю, что *Он* есть, не понуждайте тратить немногие мои силы на веру в *Него*.

* * *

Миллионы раз проходила мысль миллионов людей этот путь. И не успокаивала. И, само собой, не утешала. Потому что вера, как сказал Павел-апостол, который говорил о вещах невыговариваемых так, что яснее не скажешь, хотя и в его словах оставалось «нечто неудобовразумительное» именно от принципиальной невыговариваемости, вера есть «уверенность в невидимом». В то, что видно, нечего *верить* — и те, кто, будучи честными, отсекают от себя или по крайней мере от своего ума все, чего не видят, верующими быть никак не могут. А мы, по привычке называть *все*, даем Богу название «Бог» и начинаем им

оперировать, а то и манипулировать как словом, обозначающим какое-то существо, большее и могущественнейшее всех, какие мы знаем, и явление, превосходящее внушительностью все, какие можем себе представить. Но «Бог» — не «имя существительное мужского рода, единственного числа, второго склонения», а Бог. Даже в виде сверхсущества и сверхъявления, до которых мы хотим Его адаптировать, Он сверхъестествен, то есть имеет тайну — которая и передается самой простой, *естественной* вере в то, что Он есть.

А мы с безразличной легкостью говорим: «Что с Богом, что без Бога, буду стараться...» — как «что со спонсором, что без». Как будто, существуя без Бога, знаем, что такое жить с Богом, и наоборот, живя с Богом, пусть и в почти не заметном дыхании Его присутствия, — что такое оказаться без Бога. Да стану ли я стараться даже так, как стараюсь, — если без Бога? И захочу ли я так разбрасываться словами: «оставьте меня в покое», «дайте сделать, что могу» — если с Ним?

Тайна томит, лишает эту веру определенности, тем самым делает неудовлетворительной. И хочешь, не хочешь, переходишь от веры в то, что *Бог есть*, к вере — в *Бога*. *Надо* переходить, *нельзя не* перейти — как на самолете, оторвавшись от земли, нельзя продолжать полет на высоте одного метра, а надо забираться все выше, за облака, и лететь, куда он летит, пока где-то не приземлится. Разница между первой верой и новой та же, что между верой в вечную молодость папы и красоту мамы — и в то, что, постаревшие и даже умершие, они, и никто другой, твои папа и мама. Теперь вера не отпустит тебя, будет стараться овладеть всей твоей душой, ты будешь сопротивляться, потому что столько надо всего успеть — не обязательно исходящего из веры, и так, обнявшись как то ли любовники, то ли борцы, вы и окончите твою краткую жизнь. Если ты не святой.

* * *

Лет в двадцать сколько-то, почти тридцать, я написал стихотворение «Зимний лес», элегию о конце влюбленности как частном случае конца всего и о том, что за ним маячит. Последней строчкой оказалась «И в то, что я еще поверю, верю я». Это были такие дальние подступы к вере, что я и не подумал, что это она, — что я сформулировал *credo*. А самолет — раз, и оторвался от взлетной полосы. Мотор выл, леденя кровь, а мчавшийся назад бетон был — рукой достать, и в панике непонятно было, что страшнее: вновь его коснуться и тормозить, тормозить, или набирать высоту. Тут полоса кончилась, вопрос отпал. Страх только усиливался: за мгновениями восторга, потому что «поднимались», накатывали минуты парализующего ужаса, потому что ясно было, что спастись невозможно, и чем дальше, то есть выше, тем невозможнее. Без Божьей, как говорится, помощи — или чьей там еще — невозможно.

Но Бог не страхового агент, не *deus ex machina*, чтобы появляться по вызову устраивать твои дела. Вернее, когда-то Он может появиться и так, но именно что *когда-то*, однажды, и в этом случае ты немедленно чувствуешь и признаешь не норму, а экстраординарность Его отклика на твой вызов. И еще: что это скорее по виду Он исполняет твою необходимость, а по сути — Свою. Что случай — крайний не столько в твоём применительно к себе понимании крайности, сколько в Его применительно к тебе. А так — не вовсе уж ты и *на краю*, не больно-то ты и ужаснулся, и в твоём «невозможно» хватает еще возможностей. Если твой мрак такой, что достаточно нажатия кнопки, чтобы вспыхнул свет, и достаточно этого электрического света, чтобы мрак прогнать, то, может, лучше пригласить психоаналитика, а не Бога. А если все-таки не достаточно, то поверь на слово тем, кто через это проходил, — и хоть в ничтожную меру все-таки, в самом деле, остающихся возможностей сделай несколько предварительных усилий навстречу спасению. Самое элементарное — крестись. Это потом расчушаешь, какая такая эта элементарность.

Совет, конечно, не универсальный. Где-нибудь в Персии или Палестине почему креститься, если кругом мечети и синагоги? Ну, сделай обрезание, сделай что-нибудь. Опять-таки: потом разберешься, почему то и почему это, но в России, и когда тебе действительно *невозможно*, и невозможно так, что не до

взвешивания истины, тем более не до конфессиональных рассуждений, проще всего креститься, так ведь? Люди крестятся, и ты крестись. Даже если потом и не разберешься — ну, *Бог с тобой*. Месяц назад случайный попутчик по имени Владимир, моего возраста, с ходу рассказал мне на перегоне Ильичино — Калязин всю свою жизнь: пьяный друг-тракторист переехал груженым прицепом, уехал, все-таки вернулся, кинул в прицеп, скинул у дома, кто-то заметил наутро, отвезли в больницу, через год вышел инвалидом. Русская история, миллионно растиражированная. Выглядел он покрепче меня, только прихрамывал. Зла ни на кого не имел, но имел претензию — к Мустафе, агроному, который отказал в нужной справке и тем лишил пенсии по инвалидности. Потом и Мустафу жареный петух клюнул, пришлось ему срочно уезжать, дом продавать за бесценок. «У тебя какой бог — Магомет?» — спросил, встретив его, Владимир. Тот подтвердил. «А мой — Иисус Христос. И он так говорит: ты по правому уху уже получил — подставь левое, я добавлю»... Свободная трактовка христианства — но ведь христианства! Ну вот и крестись, *поверь на слово*.

Звучит не особенно внушительно, это правда. Мне дочка близкого друга, когда перешла в 10-й класс, объявила: «Если ты скажешь, зачем нужно получать аттестат зрелости, не практически, а вообще, — буду дальше учиться, а нет — нет». Я ответил: «Сказать не могу, но ровно в меру твоего ко мне интереса общаю, что аттестат тебе получить бы неплохо». Так что «поверь на слово», когда в произносящем его нет совсем никакой личной заинтересованности, — не трогает, а «люди крестятся» — тем более не убеждает. Но вот, что сам Бог крестился, — уже поубедительней. И не где-то на 2-й Хуторской, а прямо в Иордане, как говорится, в столбик-то стадиях от Главной Синагоги. И если ты не с печки спрыгнул, то небось догадаешься, что не в купании и пении и кисточка дело, а в том, что и сам понимаешь, что чего-то надо в своем хозяйстве помянуть. Это смутное чутье — для начала в самый раз.

И тут — еще один капкан, которого, по совокупности всех твоих исключительных, изматывающих обстоятельств, никак не ждал. Уже согласившись, что креститься почему-то надо, интуитивно чувствуешь, что это не «почему-то»; что крещение — переворот, даже если не выходить за рамки купания-пения, что это то, что называется «на всю жизнь», и поэтому требует от тебя сил, и, в общем, в перспективе того, что за ним последует, сил бесконечных, но и само согласие на него, само мероприятие, шаг — всех, какие есть в наличии. А в наличии нет никаких, потому что ведь ужас сковывает, и ведь именно из-за того, что сил не стало, и пришел к этому и «пошел на это». То есть: креститься *нечем* — для крещения нет сил, а без крещения им неоткуда взяться. Круг замкнулся.

Эта подножка и это мытарничество выглядят настолько уже ни к чему и сверх сил, что фигура тоски, объем которой все точнее заполнялся твоим собственным, не выдерживает, дает трещинку, и ты, усмехнувшись, хмыкаешь: «Это уж слишком»... Как вам нравится: «слишком» по отношению к «невозможно», «невыносимо»! Правильно, стало быть, подозревали, что ресурсы еще есть. И то ли в ответ на усмешку, на, наконец-то, простодушие реакции, то ли по причинам неопознаваемым помощь подспевает. Если одноразово Бог на человечье «не могу больше» и согласен отозваться *просто так* — чтобы дать знать, что слышит, и теперь человеческий черед услышать Его, — то в остальных случаях Он обращается с людьми, исходя из уровня их способностей, способностей воспринимать, объяснять и обобщать происходящее. Устраивая чью-то с кем-то встречу, Он переводит Себя на язык этих двух. К. С., мой ровесник, с которым мы мельком познакомились в возрасте двадцати лет, объявился спустя полтора десятилетия в самую эту минуту.

* * *

Он возник «из небытия» года за три до того. Забавно, что в таких случаях «ты куда пропал?» говорят люди, пропадающие в клубах, компаниях, симпозиумах, секциях «по интересам». Мы встретились как знавшие друг друга «тогда» — мы с ним поверхностно, а с моей женой он в те годы дружил. Он пришел, как потом выяснилось, в середине Великого поста — обед был исключительно мяс-

ной. В какую-то минуту жена спохватилась: «А ты мясо ешь?» — «Ем, ем». Недавно некто, вспоминая такой же эпизод с отцом Александром Менем, объяснял эту вольность священника не снисходительностью к его, хозяина, серости или невнимательности, а исключительной свободой, по мнению хозяина, отвязывавшей того от мелочности общепринятых правил. К. С. постился очень строго, и тогда, и всегда, но все съел, сказал, что очень вкусно, только от добавки отказался. О христианстве не говорили, разве что попутно с другими темами, но когда я спросил не без вызова в интонации, нужна ли Богу такая формальность, как наше хождение в церковь, он ответил как-то раздумчиво, словно бы между прочим, словно бы незаинтересованно во мне: «В церковь ходить... надо», — и так же, с какой-то даже улыбочкой, ничего не доказывая и не объясняя; в ответ на мое не скрывавшее протеста вопрошание о сомнительной необходимости крещения: «Креститься... надо». Мол, вот, размышляя — может, и не надо, а ничего не попишешь: надо.

Но до того мы уже побывали у него дома. Поселок вытянулся по улице, параллельной железной дороге: стандартные деревянные двухэтажные дома, построенные с расчетом на одну семью, но заселенные двумя-тремя. По ту сторону дороги лес, а сам поселок на плечи, участки тесные. Детей тогда было еще пятеро: белоголовые, живые, артистичные, воспитанные. Младший сидел на руках у мамы, остальные держались ближе к двери, стеснялись, выкатывались за дверь, где, судя по хохоту, не стеснялись. На столе лежала книжка о русском флоте, с картинками. К. С. сказал: «Вчера читали про Гангутское сражение», — как бы рекомендуя. Старший мальчик вдруг выпалил: «Абордирование было столь жестоко чинено...» — и все в восторге и ужасе выскочили из комнаты. Через минуту появилась девочка и, не доходя до середины комнаты, тоже оттараторила про абордирование, и опять все, чуть слышно повизгивая, скрылись. И следующая, и еще одна, и опять старший, и еще, все ускоряя представление. И ни на миллиметр не укорачивая дистанции, отмеренной уважением к гостям.

Нищета была классическая, почти оперная. Дети ходили аккуратно одетые, в застиранном и заштопанном, куча таких же платьишек, рубашечек, чулочек громоздилась в углу, стоптанных сапожков — в коридоре. Мы сидели на ломаных стульях, их не хватало, между ними клали доски. Но это — на глаз нового человека: из семьи никто этого не замечал, поглощенный собственной и общей жизнерадостностью, неподдельной и соревновательной. Во всем, что делалось и говорилось, был растворен свет столь же вещественный, как тот, который превращает бумагу в фотографию. Ты ощущал физическое его воздействие, менявшее твой химический состав.

Мы близко подружались. Мысль о крещении, сохраняя прежние свои враждебность и притягательность, приобретала конкретность, становилась более обычной. В самом акте вырисовывались какие-то черты, за которыми вставало содержание и понимаемое, и таинственное. Теперь предприятие стало выглядеть не только практически осуществимым, а и чуть ли не само собой разумеющимся. К. С. переговорил со священником церкви, в которую ходил, вернее, ездил несколько остановок на поезде, в деревне Братовщина. Назначили день в конце марта. Я нервничал, решение креститься все еще соседствовало с глубинным нежеланием, с вытесняемым страхом. Все, что я видел, захаживая в храмы, было, нельзя сказать, что чужое, а когда-то, давным-давно, не то при князе Владимире, не то при Христе Иисусе, не то при Аврааме раз навсегда пропитанное чужим, онтологически чужим. Плюс я не знал, как ступить, куда повернуться: в 37 лет это неудобство угнетающее.

Когда мы шли от станции к деревне через незащитное перед пронизывающим ветром снежное поле, К. С. проговорил: «Ты знать и не должен, тебе скажут, это не твоё дело». Когда вошли в деревню, он показал на одну избу и сказал: «Единственная без телевизиорной антенны. Почему я и понял, что священника». Храм был закрыт на всякий замок — старушка, высунувшаяся из дощатого домишки, сказала, что батюшку вызвали на требу и он велел приезжать через неделю. Кладбище вокруг церкви в покосившихся крестах могилок с остатками нищих похоронных декораций и низкое, серое небо настроения не поднимали.

Священника звали отец Андрей, он был строг, немногословен, и когда, проделав через неделю тот же путь, мы стояли в пустой церкви в ожидании начала, мы и еще несколько бабок с младенцем, а та самая старушка из домика готовила купель, добавляя к холодной воде горячую из чайника, и сказала раз, два и три, что вот, батюшка, вы говорили, что двое будут, а второго-то младенчика, видать, не принесли, он отрезал: «Делай, как сказано», — не объясняя. И я вспомнил, как в поэме Бродского Исаак спрашивает отца, а где же агнец, которого принести в жертву, и Авраам отвечает: «Господь, он сам усмотрит». Сперва вспомнил, как у Бродского, а потом — «вот огонь и дрова, где же агнец для всеожжения?». «Бог усмотрит Себе агнца для всеожжения, сын мой». Младенца окрестили во имя святого князя Олега, меня — во имя Анатолия, который осудил на смерть Георгия Победоносца, но, увидев, как он себя ведет, исповедал христианство и был замучен. День оказался Алексия, «человека Божия», который нищим прожил двадцать лет в шалаше у ворот своего отца, римского сенатора, неузнанный.

* * *

Месяцы, а то и годы следующего за крещением неофитства, если наблюдать со стороны, даже со стороны христианской, содержат в себе довольно поводов и для смеха, и для досады. Пионерское рвение, непомерная серьезность, отношение к знаниям первичным как к окончательным, ясность, порой смахивающая на идиотическую, в представлениях о жизни, о том, как жить самому и как другим, а отсюда, естественно, представление, порой вызывающе тупое, о себе как об избранном, о принадлежащем к «лучшим», о, выходит, умном на фоне, выходит, дураков: были бы умные, крестились бы. Потому что центральное-то что? — крещение *во оставление грехов!* Никакой больше «змеи сердечных угрызений», никаких «с отвращением читая жизнь мою!»! С отвращением прочел, отрезался — начинай с белого листа. А что старые приятели что-то могут напомнить, то от *всего*, что они помнят, отказался и *всё* в купели смыл.

Наивно; высокомерно; глуповато. Но ведь если действительно случилось что-то в те минуты, когда окунали в воду и помазывали тело, и отплевывался от нечистого, и отстригали клочок волос — даже если не как следует верилось, но хотелось, чтобы случилось, — то почему случилось не может сопровождаться передачей внутреннего жара? Потом придут сомнения, и грехи стружкой и грешки водопадом, и разрешение сомнений, и прощение грехов, и снова то и другое, и новые знания, и в этом хрупком равновесии, сбивающемся и в жуткую тоску, и в анестезию безразличия, потечет жизнь. Но сразу после такого потрясения, после того, как отброшены все налаженные механизмы ориентировки в жизни, а педали новых нажимаются наугад, с испуганной присказкой «господи-сусе», как человеку не перегазовать! А с другой стороны, чтобы не замерз человек до смерти после выхода из теплых стен привычного миропорядка под свежий, но ведь и ледящий ветер веры, просто необходимо и более чем естественно на первое время раздуть внутри его огонь. А что языки пламени выкидываются куда ни попадя и лижут вещи, не про них, хотя и в пределах их достижения, тут оказавшиеся, так ведь и терпимо, и не так уж долго.

Около года, наверно, не мог никуда я деваться от ничем не опровергаемого, ослепляюще ясного сознания того, что не может быть так, что я, хоть десять раз прочитавший Последование и все, что полагается, вусмерть раскававшийся, всех простивший, у всех попросивший прощения, правой рукой не знающий, кому подавала милостыню левая, и так далее, но все-таки такой, какой я есть, а уж я себя знаю, — могу реально принять в себя *Бога*, что *моей* частью станет *Бог*, Своим Телом и Кровью. Каждый раз, приближаясь в очереди к чаше, я знал, что мое причастие невозможно, и, значит, должно произойти что-то катастрофическое или по меньшей мере скандальное — обморок, истерика, публичное разоблачение. Как-то я сказал об этом жене К. С. Одаренностью она была вровень ему, только проявлялось это в речи, поступках, манерах — всегда ярких, неожиданных, энергичных. «Какая-то ересь! — мгновенно вспыхнула она. — Ересь, глупости и бред. Впрочем, кто вас знает, израильтян, в которых нет лукавства?»

Вскоре из крестившихся половина пошла в священники. Здесь было и мистическое призвание — но тайна, она и есть тайна; и инерция — потому что, набрав энергию для крещения да прибавив к ней энергию от крещения, трудно остановиться. В компаниях самых разношерстных стали появляться сверстники — *служители культа* — нечто невообразимое не то что в молодости, а в недавнем прошлом. Мой институтский приятель Витя Б., резкий такой парень, с которым мы дюжину лет не виделись и встретились на многолюдных проводах нашего общего друга, увидел там незнакомого дядьку с бородой и спросил меня: «А это кто?» Я ответил: «Тонькин жених». «А почему с бородой?» «Потому что дьякон». Он помолчал, поиграл желваками, скрипнул зубами и сказал: «А я не удивляюсь! Я ничему не удивляюсь!»

У верующих же теперь сплошь и рядом в застолье оказывалось батюшек больше, чем мирян. Сами застолья тяготели к *трапезам*, но все-таки не дотягивали. За закусками обличив и осмеяв безбожников, постоянно садящихся в галошу с их невежеством и непониманием того, что в церкви-то и даже в каждом конкретном госте, ежели на нем сан, и есть спасение для оказавшейся и остающейся под их властью страны, — за горячим неизбежно съезжали к новостям профессиональным, перемещениям по службе и объясняющим их интригам. Походило на вечеринку сотрудников специального НИИ, где заводского называется благочинный, а директор — епархиальный епископ, и это смущало.

* * *

Но этак за столом собирались не часто, по большим праздникам, а будням хватало их будничной злости. В официальном государственном придушивании церкви и тех, кто в ее дверь входит, сначала священников, а потом всех, всегда было личное желание, внутренний интерес исполнителей. Вроде бы: вызвал, застрашал, прикрыл, навредил, но сверх инструкции еще унизил, «поучил», только что за бороду не потаскал. Без паспорта не крестить, не венчать, не отпевать. Через паспорт — сообщить по месту службы, дернуть в партком, устроить собрание, лишить того-то, сего-то, а то и работы самой. Почему дети не пионеры? Не даете нормально развиваться, держите во мраке церковного *обскурантизма*? У нас свобода вероисповедания, но свободы *калечить детей* у нас нет. Дети под защитой государства, и оно вправе лишить вас родительских прав!.. И любят, как ты извиваешься. А что им стоит: возьмут и лишат, и отправят твоего ребенка в интернат. С сердечком, разрывающимся от ужаса, твоего сына или доченьку.

Объясняться ходили обычно женщины, им по их темноте, житью инстинктом и вообще второразрядности допускалось больше поблажек, и даже на крестик на шею могли рукой махнуть: чего с бабы взять? «Вот это вот, по-вашему, кто?» — показывая на портрет Ленина на стене, грозно спрашивали у жены К. С. Она отвечала: «Но ведь не Бог», — и рукой, все еще указующей на вождя, на нее махали. «Что вы этому такое значение придаете? — спрашивали у моей жены доброжелательно и доверительно. — Пусть дети ходят в церковь, а галстук носят». Она говорила: «А вам все равно, что пионерский галстук они повесят на шею, на которой уже висит крестик? И салют отдадут той же рукой, которой крестят лоб?» И ей отвечали, уже сухо: «Ну, смотрите сами». И она, и они понимали, какая у чего степень важности: что невозможно ни салют отдать той же рукой, которой креститься, ни перекреститься той, которой отдал салют.

Что еще делало из этой полуборьбы-полуvozни больше борьбу, чем возню, это то, что все такие женщины, как сказал поэт, числа камен не превышали. Кроме семьи К. С., из близких была еще одна многодетная, скажем высокопарно, исповедавшая перед школьным начальством свою веру этим самым антипионерством. Остальные или честно признавались, что боятся — за детей в первую очередь; или рассказывали, как ничтожна в своей мерзости эта нашейная «красная тряпка» для их детей, как исчезает она из их видимости в сиянии их изумительной веры. Вторых попадалось почаше, некоторые доходили до таких пируэтов, как то, что пионерами быть лучше, потому что из них можно выйти, и это дает детям больше свободы; или что кто отдал детей в пионеры, кто не отдал — главное, ни тем, ни этим друг перед другом не гордиться. Чем

было гордиться тому, кто отдал, оставим, как говорится, на сладкое, но что у неотдавших одиночество было настоящее и бросающееся в глаза, это надо было глотать каждый день по несколько раз, как хинин перед едой. Священники тут не помогали, потому что сами, чтобы «не дразнить собак», то есть избежать еще одной неприятности, меньшей, на их взгляд, чем многие прочие, их ожидающие, шли на пионерство, а некоторые и на комсомол. Мы их понимали и сочувствовали. Мы не могли сочувствовать митрополиту, который в центральной газете писал, что дети должны жить, как все советские дети, а когда вырастут, тогда сознательно и выберут, каким путем идти. Одиночество было настоящее, и оно замечательно, как по каким-то древним образцам, закаляло.

Так что в сопротивлении пионерству, самом на тот период вещественном, наглядном и существенном из сопротивлений, которые навязывало христианство члену противохристианского общества и это общество христианству, жизнь получала долгожданное оформление. Простое посещение церкви тоже было противостоянием, особенно в субботний вечер, когда общество расслабляется после рабочей недели, и в воскресное утро, когда отсыпается. Но, угрожающе на это урча, тяпнуть решались все-таки в особых случаях, слишком мозолящих глаза. А пионерство была неприятность живая, болезненная и серьезная: твой ребенок стоял на школьной линейке без пионерского галстука *один* в двухсотголовой стае, которой не только разрешалось, а и поощрялось его так-этак по травить. А в это время в издательстве тебе вдруг прекращали давать переводы — твой не сладкий, но все-таки хлеб, — и, когда ты шел в другое, спрашивали: «А с тем вы почему перестали сотрудничать?» И вот это склublение туч над головой собирало разрозненные куски твоей жизни в какое-то подобие единого организма.

Тело, душа, интересы, противоречивая деятельность, творческие импульсы и знаменитая твоя духовность, твоя семья, тревоги конкретные и апокалиптические, утешения, веселье, природа и, наконец, сам Бог сходились в одну систему не в качестве ее взаимосвязанных элементов, а неразделимо — как земля, из которой выходит ствол, и он сам, и корни, ветки, листья, прилетающие ветер, дождь, птицы, пчелы, и небо, в которое упирается крона, суть дерево и ничто другое. Но в отличие от дерева то единство, в которое приходила жизнь, содержало в себе Бога: Бог появлялся в жизни. Ты ради Него не отдавал детей в пионеры, а Он в ответ на этот, в общем, пустяк, особенно в бесконечности его масштабов, входил в подробности и компоненты твоего житья-бытья: Тот, в Которого ты крестился, и не Тот, а Которого ты тогда не знал. Когда за литургией произносят: «Оглашенные, главы ваши Господеви преклоните», — наклоняешь голову, хотя уже четверть века как крещен, но Он все открывается и открывается, все оглашает и оглашает.

* * *

Доказательств того, что Иисус — Бог, великое множество — и ни одного. Евреи первые в это не поверили, а за ними не верят, не верят и не верят миллиарды людей не худших, чем поверившие. Внушить им, что он Бог, мне не представляется возможным, даже если в подтверждение проткнуть их копьем, как крестоносец, сжечь, как святая инквизиция, или обозвать жиновской мордой, как патриот-ариец. Но верой достаточно еще условной согласившись, что это так, я получил живой опыт того, что это именно так. Не крестись я в такого Христа Иисуса и повяжи детям «красную тряпку» на шею — или не повяжи, но, скажем, из ненависти к власти, — и гулял бы Он где-то, а я где-то. Это было так очевидно, что через *это* я пережил неизбежность Христа — не то чтобы сильнее, но — особеннее, чем через все остальное.

Это же окончательно сформулировало мое объяснение всем знакомым и друзьям, недоумевающим или раздраженным, зачем господи-исусе-то и лоб крестить, как все. То есть, главное, зачем *как все*. Раз двадцать я его повторил, так что и свежесть давно пропала, и запал потух, что, мол, если бы достались мне наипронзительнейшие в человечестве гении, ум и сердце и я ими достиг и описал своего личного бога, то в идеале это был бы в аккурат Отец, Сын и Дух Святой, а что именно в этого Бога верят *все*, не делает Его для меня менее лич-

ным. Было, однако, в моем объяснении одно небольшое лукавство, потому что я так, когда крестился, не думал, а к этому пришел. «Сочетавался со Христом» я не личный, а, так сказать, *на веру*, то есть скорее *как все*, — черты же лично-го Бога Он получил потом, в тот же самый период.

Так или иначе все те годы, и история с пионерами в особенности, стали «крестиком», не потому что «Господь терпел и нам велел», не потому что неприятности и невзгоды *случаются*, а ты их *терпишь, переносишь*, а как результат сознательного выбора, как неприятности и невзгоды, тобою по твоему предпочтению организованные. У тех, кто шел в священники, этот «крестик» весил побольше, побольше. Кости расстрелянных в Бутове еще не рассыпались, а Бутово — сразу за кольцевой дорогой. Но побольше, должно быть, приходило и утешений.

* * *

Была даже и утеха. Новеньких назначали на места в Москве и в деревне, примерно поровну. Люди институтски образованные и не лишённые амбиций, они автоматически получали аудиторию, благоговейно внимающую не то что каждому их слову, а и выражению лица. За теми, кто из городских квартир ездил на приход в село, тянулись пасомые из Москвы, так что ядро церковной общины у сельских и у московских было одно и то же. Пасомые тоже были, как говорил Зоценко, не без высшего образования и уровня духовного общения не роняли. Метафизически вечные бабки со свечками воплощали собой «простую, инстинктивную» веру, интеллигенция — «разумную». Батюшка воплощал абсолютное знание и последнее слово. «Как сказал владыка Игнатий», «как писал владыка Феофан» — начинали они свои безукоризненные речи и в них объясняли, как жить тебе, России, государству. Их желание напитать и встречное желание аудитории насытиться взаимно утолялись. Большинство — и, пожалуй, подавляющее — аудитории барахталось под сыплющимися со всех сторон бедами и неприятностями и хотело слушаться священника, обещающего справиться с ними. Вслед за Игнатием, Феофаном и другими владыками они называли это отсечением собственной воли, хотя в девяносто девяти случаях из ста это было отсечение собственной ответственности.

Словом, ни звука несогласия не слышали священники в ответ, потому что кто, несогласный, ты есть против церковного авторитета? Священник учил, стоя полметром выше учащихся, в безмолвии на него глядящих, а потом спускаясь, и хотя уже физически вровень, но психологически высоты амвона не теряя. И несогласие, аще убо таковое дерзновенно прозябё, попахивало ересью и смердело гордыней, и источник его необходимо было *посмирять*, посмирять... И тут надо признаться, что посмирание это самое, при полной часто некомпетентности поучающего, шло поучаемому на пользу. Мне, во всяком случае. Меньше думаешь: «Я...» — больше: ты, он, они.

С самого начала занятие искусством, конкретно — неотвязной моей поэзией, вошло для меня в конфликт с верой и — шире — с христианством. Искусство взаимодействует с чувственной стороной природы, забирая те же душевные силы, в которых нуждается вера. Демонская компонента искусства, одержимость им в момент вдохновения, сила его притяжения и во время пауз — не подлежат обсуждению, сколько бы мы ни кокетничали незнанием того, ангел или демон диктует нам слова и мелодию, сколько бы ни внушали себе и окружающим, что *муза* ни то и ни другое. К. С. сжег свои стихи, как и Гоголь свою «поэму», не из «религиозного фанатизма», которым умеренно и уравновешенно верующие объясняют неумеренность и неуравновешенность подлинной веры, а из самого трезвого понимания природы искусства. «Твои стихи не лучше моих, а от своих я отказался», — К. С. писал Бобышеву в ответ на настойчивое желание того обсуждать поэзию. Во мне не было такой последовательности и решимости, я от своих не отказался, но в продолжении лет десяти встречал приход каждого нового стихотворения, как, скажем, приход известия, на которое нельзя не отозваться письмом, требующим крайнего душевного напряжения. Я писал ему в тетрадь, тем дело и кончалось.

Новые батюшки, мои знакомые, говорили об искусстве все, как один, свысока и почему-то в тоне мрачного заклеймления, смешанного с намеренно придурковатой насмешкой. Один из них сам «когда-то» писал стихи, другой переводил, третий занимался кино, четвертый ставил в театре спектакли, у пятого был замечательный музыкальный слух и память, он мог пропеть оперу Верстовского «Аскольдова могила» от начала до конца. Двое окончили философский факультет МГУ и, еще не выйдя на дорогу веры, знали, что искусство — легкомысленное тьфу. Единственный, кто мог бы сказать существенно и от кого меня тянуло это существенное услышать, был К. С., но он или повторял общие места, а больше усмехался и помалкивал.

* * *

Я спросил у *отца* Тавриона. Каждый год мы семьей выезжали на все лето в рыбацкую деревню в Латвию — оказалось, в полутора часах езды на автобусе есть русский монастырь и в нем архимандритом Таврион. Ему было за семьдесят, окончил, как шутили тогда церковные люди, две академии, духовную и каторжную, много-много лет его по лагерям гноили и выпустили совсем больным, хотя посмотреть, как в церковь входит, как после службы выходит, крепкий, спокойный, веселый — здоровей тебя. В России монастыри были разорены еще в первое десятилетие новой власти, а в Прибалтике и на Западной Украине сохранились одинокие: между захватом в 40-м году и войной в 41-м закрыть не успели, а после войны уже и пригодились для политики. Этот стоял в стороне от дороги, минутах в пятнадцати, в лесу, и до последней секунды был не замечен, так что не всегда на него сразу и выйдешь. Монастырь женский, деревянные дома с кельями монахинь и несколько бараков с койками для посетителей. Маленькое кладбище с участком ровных каменных протестантских крестов над братской могилой немцев, погибших в конце Первой войны. Сад был увешан неправдоподобным множеством яблок, в огороде произрастала капуста втрое крупнее соседней колхозной, коровы давали декалитры молока в сутки.

Посетителей, или гостей, или, как они сами себя называли, паломников, набиралось каждый день по несколько десятков, на Преображение — храмовый праздник — несколько сотен: всех кормили-поили. Понятно, были они набожные, в монастырь шедшие за святостью и отмолить грехи, в надежде, что через это хотя бы главная беда или главная болезнь отойдет от кого-то, им дорогого, или от них самих, а если нет, то станет выносимей, а тогда и в более мелких они утешатся. Особняком держалась прослойка профессионалов, собиравшихся в дорогу ранней весной, начинавших с юга, с Почаева, двигавшихся на север, во Псков, в Пюхтицы и сюда вот, в Елгаву, а кто в Белозерск, а кто и до Соловков дотягивал, и в сентябре поворачивавших обратно и при благоприятном стечении обстоятельств заканчивавших год аж в Новом Афоне. Они знали, с какой стороны в спальне меньше дует, когда — не поздно, но и не рано — войти в столовую, какое место занимать в церкви. Они знали весь страннический фольклор, брались лечить заговором, довольно легкомысленным, трудные болезни: «Кишки-печень выжать нечем, приди, Федот, облегчи живот».

В подавляющем большинстве это были мужчины, и у женщин они пользовались уважением много большим, чем какой-нибудь обыкновенный поп. У каждого в мешке лежал черный подрысник и огромный наперсный, иногда «с наворотами», крест, которые надевались за оградой монастыря, и где-нибудь на полянке, на коленях, заводилась некрасовская песня о Кудеяре-атамане, перевранная и выдающая себя одновременно за житие и за молитву, скрываемые от простых людей. Из кружка женщин, вытирающих слезы, источающих крайнее преклонение и любовь, протягивались руки с рубликами, а то и с трешечками, вывернутыми из носового платочка: певец брал их отрешенно, не глядя на давательниц, неуловимым фокусом пальцев прятал в невидимую щель на поясе, весь в перипетиях судьбы героя. Кто-то предлагал вещицы, ботинки, например: он поднимал их с земли, осматривал со всех сторон, мял кожу, убеждался, что обыкновенные тюремные колоды, и отставлял от себя — все это не замедляя пения.

«Лукавый» и служащие ему реальные разбойники, воры, мошенники были центральной темой общего разговора. Собственно говоря, вся жизнь определялась именно ими, спасение от них было только под крышей храма, а вне его лишь в меру ухваченного в храме благословения. Пара профессионалов, молодой и постарше, которые сетку со своими преображенскими яблоками, конечно, самыми крупными, конечно, подставили под самые обильные струи окропления и, конечно, первыми пришли в спальню хрустнуть освященными плодами, занималась, когда я вошел в комнату, развязыванием на сетке узла. Он был ими затянут, чтобы в толчее не рассыпать яблок, и так умело, что, намкнув от святой воды, разбух, от их усилий запутался, и ясно было, что навеки. «Вот лукавый,— кряхтели они, окруженные больельщиками, и отнимали друг у друга сетку,— вот бес, сатана, вот уж искушение. Как же это ты ему поддался-то, когда завязывал? Крестным знаменем не осенил, а?» Один другого пихал и чем дальше, тем сильнее, и видно было, что и саданул бы с удовольствием, молодой — зная свою силу, старый — зная, где побольнее.

Таврион вел этот корабль с точностью и, я бы сказал, элегантностью скипера, обладающего запасом опыта на целый флот. Его центральное — чтобы не сказать единственное — поучение было: «Учить никого не надо — все учение нас. Показывать надо». Он повторял это почти на каждой службе. «Сейчас время — счастливей не бывало: все грамотные,— говорил он.— Открывай Евангелие и читай». И отдельно, через несколько дней, как будто сам с собой разговаривая, себе под нос: «Евангелие ему читать стыдно, а под забором ему валяться не стыдно». Он вдруг останавливал общее пение, не очень ладное и не очень радостное, и рассказывал, как пели на катавасии, сходясь слева и справа в церкви Глинской пустыни, куда он попал восьми лет, и во время рассказа глаза его были прищурены так, чтобы яснее видеть ту, давнюю-давнюю, службу, пусть даже немного в ущерб этой. «Ну-ка, с начала!» Все начинали стараться, как восьмилетние дети, и когда допевали, он снова прерывал службу, чтобы сказать: «Другое дело»,— и, как восьмилетние дети, все тянули от похвалы.

После литургии к его домику выстраивалась очередь за советами «и что-бы благословил»: благословение как бы вошло в состав церковного обряда — как послеслужебная его часть. Уезжая и видя, что опаздываю на обратный автобус, я решил, что обойдусь тем, что есть, и направился к воротам. Несколько женщин остановили меня в некотором даже ужасе: как же не подойдя к батюшке? Я объяснил про автобус. «А он благословением вам все и устроит». Я встал в очередь. Он сидел за столиком, с повернутой косицей, излучая энергию бесконечной усталости, каждому разок улыбался, кому-то давал денег на дорогу, детям — коробку «карамель в шоколаде» фабрики «Узвара». Женщина передо мной сказала, сразу заплакав: «Сын пьет». «А не бьет тебя?» — «Упаси Господи». «А ее вот бьет.— Он показал на только что от него отошедшую.— Так что давай благодаря Бога, а хочешь, и я с тобой»,— и перекрестился.

Следующим был я, но в дверь неожиданно вошел человек в сером костюме и с ним двое. Даже если бы сопровождавшая их монахиня и не шепнула кому-то, так что побежало по очереди: «Из КГБ, из КГБ»,— ошибиться, взглянув на их опечатанные лица, было нельзя. Они стали чего-то требовать, кажется, немедленного, как при облаве, предъявления всеми паспортов — он им отвечал. Его лицо переменялось, сделалось *безличным*, можно было бы сказать: таким же безличным, как у них,— но разница была в том, что его — стало лицом эка, на разводе стоящего в строю, чтобы выкликнуть свой номер и статью, а их — тех, кто перед строем. Бросив несколько отрывистых угроз, они так же стремительно вышли. Таврион улыбнулся мне и поманил рукой.

Я спросил про искусство, про его вредность для христианина и вообще, можно ли христианину им заниматься. «Почему же не заниматься искусством, если красиво? — Он посмотрел на меня, то ли дожидаясь, чтобы я понял, то ли чтобы спрашивал дальше.— Я вот живопись люблю»,— и показал на стену с несколькими пейзажами. Мне уже говорили, что он ходит с мольбертом на пленэр. Я молчал, он положил руку мне на голову и перекрестил, но как будто и потрепав заодно, и сказал: «Ну, идите». Следующий автобус был через восемь часов, но первая же машина шла как раз до моей деревни. У водителя было изу-

родованное укусами пчел лицо: этим утром на него напал обезумевший рой — сейчас он ехал из больницы. «А вы откуда?» — «А я тут по делу заезжал».

* * *

Что ни возьми, хоть любой животный организм, его постройка: отдельные органы, мышцы, скелет, все системы, химия — все-все исполнено по совершенному замыслу и включено в него, лучшим из всех мыслимых способов взаимодействует между собой и с остальной природой и, как следствие, может приводить к преклонению, благодарности, восхищению перед замыслившим так сделать и сделавшим. Но в то же время этот организм, пусть только нарисованный в учебнике биологии, то есть схема, карта, впечатляет не столько целесообразностью устройства, сколько красотой — как некое изумительно сложное древо. В жизни его красота еще неотразимей.

Здесь нет сколько-нибудь убедительных критериев: почему лес или луг, то есть нечто безо всякого расчета изрезанное на отдельные, неодинаковые, дырявые листочки, иголки, травинки и палки, искривленное, перепутанное, — красив? Для веры видимое — подтверждение невидимого. «И увидел Бог, что это хорошо». Хорошо, потому что целесообразно. Тому, что это хорошо, потому что красиво, веру учит искусство. То, что оно дразнит или тешит чувственность, — побочный результат его усилий. Искусство — ищет: не целенаправленно, как вера, а по вдохновению. В видимом сумбуре проявить невидимую стройность — это его дело, его хлеб. Сделать видимой невидимую, но уже заключенную во всем красоту, все равно каким образом: кистью, голосом, резцом — или просто глазом, ухом, подушечкой пальца, *выбирающими* красоту из некроты, — это монополия искусства. Лишь благодаря ему вера может подтвердить невидимый Замысел не только видимой целесообразностью результата, но и видимой красотой.

В том, что сказал Таврион, первое место, конечно, было отдано Христу, искусство располагалось относительно Его и признавалось постольку, поскольку принимало, и тогда в своих лучших проявлениях прославляло Его, пусть опосредованно через образы мира. В этом случае для артиста оно играло в основном терапевтическую роль. Искусство как утоление творческого желания, присутствующего таланту биологически, рассматривалось как всякое угождение страсти, любой, такой же, как чревоугодие и блуд. Хотя талант рассматривался как дар исключительно Божий, ничей другой. Для людей такого уровня и качества *одухотворенности*, как Таврион, тут не было противоречия: кто жил Христом, Христу, в Христе, как он, для того вся жизнь, включая искусство, выстраивалась, как железные опилки магнитом, в ту совершенную композицию, которую создавал сам Бог, а Леонардо и Моцарт улавливали отсветы и отзвуки ее.

Но до того, как стать Таврионом, надо прожить собственную жизнь, со своими отцом, матерью, женой, детьми, со своим характером, внешностью, умом, талантом. И даже если желаешь того же, что и он, то есть любить Бога всем сердцем, душой и разумением, и знаешь, что, пока любишь отца, мать, жену, детей больше, чем Его, этого не добьешься, то не значит же это, что ты должен их разлюбить или начать любить меньше. Когда Евангелие говорит: «кто не возненавидит» их, «тот не может быть Моим учеником», — то всякому, кто не сумасшедший и не злодей, ясно, что возненавидеть предлагается обоготворение их, подстановку их на место Бога, а не их: папу, маму, женушку, деток — которых то же учашее любить даже врагов Евангелие учит любить, любить, любить. И если любишь жену еще не *во Христе*, когда содержание любви само собой разумеется, то почему не любить ее жарко, самозабвенно, безоглядно? Если же *как бы* во Христе, то есть как ты себе это представляешь по прочитанному или воображенному, то не будет ли твоя унылая сдержанность и мрачная серьезность извращением самого Замысла о жене и о любви, осуществленного еще в эдемском саду?

Больше того: есть не поддающаяся простому объяснению строчка Павла: «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу». Она помещена в контекст призывов жить по духу, но «нет осуждения» звучит по нашим церковным временам странно: выходит, что мог-

ло быть. Выходит даже, что жившим по плоти тоже могло в определенных обстоятельствах *не быть* осуждения. Знаю возражения, обвал возражений, но за мой талант словесного искусства, какой он ни есть, с меня спросится так же, как за мои таланты мужа, отца и так далее, как за талант, какой ни есть, искусства жить, и если я отвечу, как Таврион: «Почему же не заниматься искусством, если красиво?» — в этом будет фальшь, потому что: «Кто ты такой, лукавый раб и ленивый, чтобы говорить, как Таврион!» — говорю я себе уже сейчас. Я знаю, что у искусства демонская природа, это, однако, не значит, что художник обязательно должен вступать с демоном в союз. Их начальник сказал, как известно, Начальнику ангелов: «Прыгни, они тебя поддержат». И Тот не погнушался вступить с ним в разговор и ответить. Я демонов не задираю, но что делать, если есть опыт, которого, кроме как через искушение, кроме как «быв испытан», не получишь? Демона приходится выслушивать, но не обязательно слушаться.

* * *

Я упомянул об искусстве жить, только упомянул, хотя, конечно, оно было главным. Оно, а не искусство, не поэзия, как бы она мной всю жизнь ни владела. Поэзия, хотя она и служила только самой себе, определяла стиль искусства жить — вера все больше стала определять его содержание. Священник Николай С., зная или не зная того, почти двадцать лет придавал моей вере направление. В отличие от «знакомых» священников, «ставших» священниками у меня на глазах, он был «настоящий». Я пришел в церковь, в ней были иконы, свечи, старушки — и настоятель, «отец Николай». Он был умница, каких редко встретишь, и знал, помимо многого, что он знал, цену людям: не только кто како верует, а кто чего стоит. Десятилетиями он перешагивал через подножки, подныривал под ограждения, обходил капканы. Районный уполномоченный по делам религии, церковный староста, новый священник, *спускаемый сверху* без его ведома, шабашники, подновляющие настенную роспись, — все были ему врагами. А из верных союзников — реально — одна жена.

Я спрашивал его совета два или три раза — чтобы совет привел в движение чашки весов, без этого не желавшие двигаться. Когда Лидию Чуковскую за то, что она называла честность честностью, а подлость подлостью, исключили из Союза писателей, она приехала ко мне с трогательной миссией. К тому времени мы дружили уже лет пятнадцать, и она сказала, что если я захотел бы вступить в Союз, ее исключение не должно стать для меня помехой. И больше того: именно теперь ее желание, чтобы я вступил, должно приобрести для меня особую убедительность. А желание это жило в ней всегда, потому что хотя Союз — место гнусное, но он дает необходимую в наших условиях поддержку. Я во время войны был мальчиком, а она взрослым человеком и видела, как в эвакуации члены Союза имели право на комнату, и лучшие продуктовые карточки, и дрова, а не-члены, как Цветаева, не имели. И мне с двумя детьми это необходимо. Плюс литфондовская поликлиника, плюс дома творчества...

Я хотел вступить в Союз только однажды, в молодости — в общем, убеждая себя теми же доводами. Меня провалили, и тотчас доводы раз и навсегда потеряли всякий смысл. Я был абсолютно доволен своим положением *не-члена*, но, с другой стороны, не мог вовсе не реагировать на такой специальный визит Чуковской. Я спросил у отца Николая: вступать — не вступать? Он сказал: «А что, тянут?» Это было так очаровательно, что я почти прыснул. Ответил, что нет. Он сделал ладонями жест «тогда в чем жё дело?». Я сказал про войну, про эвакуацию... «Э-э! Война если будет, то такая, что ни комнаты, ни дров, ни карточек не понадобится. Ни поликлиник». И прибавил, намеренно спутав: «Ни домов отдыха»:

Помещение церкви, по видимости отличающееся от любого другого лишь внешне, наполнено особым воздухом. Хочешь не хочешь, подпадаешь под действие его таинственности. Наглядно это демонстрирует пьяный или человек *независимых убеждений*, заходящие с улицы в некотором кураже. Две-три минуты — и пьяный, чего-то под нос бормоча, делает неизвестно кому покаянно-извинительные знаки, ставит свечечку и выкатывается на волю, а *независимый*

расцепляет руки, которые с вызовом держал за спиной, пока рассматривал «архитектуру и живопись», вслушивался в «музыкальность» пения и оценивал искренность молящихся, покупает опять-таки свечу, выбирает незаметное место и «не мешает». Воздух церкви насыщен веществом веры не только в Бога, но и в разнообразные сглазы, порчи, чары. Как правило, есть один, чаще несколько сумасшедших. Их психический сдвиг — религиозного характера. Они возбуждаются от порчи и черноты, которую видят в другом, в частности во мне. Года три во время службы ко мне подходила большая женщина, агрессивно набрасывалась на меня с обличениями, из нечленораздельности которых вдруг высккивало одно-два убийственных слова — «бес», «все врешь», — и замахивалась на меня кулачком. Регулярно ее забирали в сумасшедший дом, но в день, когда она снова являлась в церковь, я спиной безошибочно чувствовал, что вот, пришла. Порча-то и чернота во мне были, я это и без нее знал, и она их не столько обличала, сколько возбуждала. Отец Николай, проходя мимо, однажды сказал: «Ты за нее помолись». Я попробовал, стал меньше трепетать, потом она пропала.

Об этом невозможно говорить адекватно: само говорение меняет и состав, и сущность и творившегося, и чувствуемого. Одно слово, прибавленное к тому, что было, — прибавленное тогда ли, потом ли, прибавленное для определения ли происшедшего, для описания ли, — мгновенно нарушает равновесие, в котором находилась система, потребовавшая чему-то найти ровно столько именно таких слов, что-то, наоборот, оставить бессловесным — потребовавшая и удовлетворившаяся тем, как это получилось. То, как мной рассказано о сумасшедшей, сделало ее приставания ко мне простым неудобством, а мой страх перед ней невротическим. Мое тогдашнее самочувствие гоголевской панночки, внутренняя деготная чернота которой прилюдно открывается, стерлось невозвратно фактом рассказа. Вся область религиозности — принципиально нерассказываемая. Даже в обиходе произнесение фразы «я вам верю» человеку, которому веришь, искажает величину и качество веры. «Я вас люблю» — непорочно уменьшает любовь: за редчайшими исключениями это, вообще говоря, начало конца любви. Поэтому и говорится в подавляющем большинстве сюжетов, связанных с верой и любовью, о вещах внешних, объясняемых словами достаточно определенными.

* * *

И все-таки без попыток описать внутреннее состояние обойтись немислимо, иначе крещение, церковь, вера превращаются в клуб, прием в клуб, устав клуба. По мере привыкания к обряду и правилу привыкаешь и к тому, что ты верующий, и меньше ценишь само явление веры. Сомнения, отступления, припадания к вере сменяют друг друга, но внутри живет ощущение, что, в общем, вера устоялась: увы, немножко закоснела, огонь подугас, но если не случится что-то невообразимое, то куда ей, *такой*, деваться? В день, когда веры нехватка, прочтем молитву на дисциплине и воспоминании о том, какая эта молитва была при большей полноте веры; и если завтра нехватка, то и завтра, и так, пока не возвратится, — в ожидании, что возвратится, в надежде и с верой, что возвратится. Потому что молиться не только привык и не только не представляешь себе, как это не молиться, — но уже и *нравится*.

Не торопитесь изобличать меня в замене живой, разрывающей сердце веры религиозной гигиеной и поддержанием религиозного, доставляющего удовольствие тонуса, достигаемых соответствующей гимнастикой. Само то, что это *нравится* и что нравится именно *это*, не обязательно означает склонности к душевным, освежаемым духовной чистотой комфорту и безопасности. Вера, разрывающая сердце, — удел немногих, и находит она не часто. Налетевший ветер, сорвав листок с сидящей на нем гусеницей, может перенести гусеницу на десяток метров, но это исключительный зигзаг в обычном порядке ее передвижения: с травинки на сучок, с камушка на песчинку. Что такое, миллиметр за миллиметром, без расчета на порыв ветра, путешествие стало *нравиться*, означает перерождение души, рожденной, как известно, для полета, орлиной и так

далее, готовой разорваться в миллион раз охотнее, чем собраться и терпеть. Чем глубже она переродилась, тем выше ее шанс стать бабочкой.

«Верую, Господи! помоги моему неверию» — не только честная фиксация душевного состояния и даже не только исповедальный вопль, а формула веры. Да, верую, но и не верую в то же время. Больше того: преодоление *не-верую* есть необходимое условие для *да-верую*. Конечно, блажен, кто верует: кто верует, верует и верует и никогда не не верует — тепло ему на свете. Но даже самых святых людей бросает из жары в холод и обратно. И вот, эта колеблющаяся, но все-таки побуждающая нас на усилия привлечь ее и более или менее благосклонно их принимающая вера начинает неуловимо и неизменно где, не то на своих окраинах, не то, наоборот, в центре, крошечными порциями перерождаться в то, что иначе, как любовью, не назовешь. Хотя качество этой любви иное, нежели той, которую знаешь от рождения и которая продолжает сосуществовать с этой новой.

Любить устрашающего, всемогущего, бесконечного Бога не то что трудно, а невозможно. Любить Бога, который дал Себя за тебя, за то, чтобы ты жить остался, распять, не то что нетрудно, а невозможно не любить. Но любят не за что-то и не вопреки чему-то, а потому что любят. И пребывание внутри веры — и, может быть, даже именно привычка к ней — постепенно-постепенно *приучает* к Богу, ты начинаешь к Нему тоже *привыкать*. Он остается устрашающим и всемогущим, и давшим Себя за тебя распять, но ведь и кто-то, кого ты любишь: жена, сын, друг, мать, будь они твоим горем или наградой, — горем и наградой и остаются, но любишь ты их как просто жену, сына, друга, мать. И так же ты вдруг ощущаешь в себе флюид любви просто к Богу. И проявляется он раньше всего в том, что ты уже не можешь любить жену, и сына, и друга, и мать с прежней силой, если не чувствуешь в своей любви к ним присутствия любви к Богу.

Это проявление не прямое, более же непосредственное возникает из любви к тебе: из любви к тебе кого-то, про кого у тебя нет сомнений, что этот человек любит Бога всем сердцем, душой и разумением, — и, любя тебя, он оделяет и заражает тебя своей любовью к Нему. Такие люди считанные, но есть. Такой человек тоже любит тебя *просто так*: не зная, кто ты, не интересуясь знать — и зная, что ты злой, глупый, мелкий, скучный. Что он любит тебя, ты тоже *просто* знаешь — потому что он *так* как тебя смотрит и *так* с тобой говорит. Он любит и других, и, может быть, всех без разбора, однако эта любовь, как и к тебе, того сорта, что не только не вызывает ревности и неприязни к этим другим, но, напротив, расположение и чувство близости. Священник Николай С. так смотрел на меня и говорил, и маленькая, старенькая, быстрая Мария у него в храме, и Таврион, и Софроний, настоятель монастыря в Эссексе, и еще один или два священника.

* * *

Я вышел из дома, в который накануне меня определили на ночлег, а Софроний шел по дорожке, опираясь на руку молодого келейника. Я поклонился ему, он остановился и спросил: «А вы из Москвы? И чем там занимаетесь?» — таким тоном, как будто шутил и шуткой поддразнивал меня. Я сказал: «Пищу». «О чем же вы пишете?» — «О разнице между кажимостью и действительностью». Я не придумывал так отвечать, само сошло с языка. Он сделал губами, как если бы попробовал мой ответ на вкус, и сказал: «"Кажимость" — хорошее слово. Пойдемте погуляем вместе».

Потом мы гуляли вместе еще несколько раз. Он говорил весело и действительно любил шутить. Ему было, наверно, 92 года тогда. Я к тому времени уже читал его знаменитую книгу «Старец Силуан», о недавнем святом из русских, чьим келейником он был на Афоне. Софроний начинал как художник, в десять годы выставлялся в Париже, потом, в продолжении жизни, сделал несколько церковных росписей и написал несколько икон. Рокового вопроса об искусстве я ему уже не задавал: несколько последних лет ко мне приходило новое понимание смысла творчества, новая свобода — он же цитировал Пушкина, Тютчева, Баратынского, уходил в Достоевского и вообще русскую литературу с та-

кой естественностью, которая, собственно говоря, и отвечала недвусмысленно на вопрос.

Его собственная свобода в понимании Бога была, как мне кажется, неограниченной и в то же время не соблазняла. Он говорил о Нем, как всецело Его любящий, которому возлюбленный непосредственно дает о себе знать. Даже я, хотя моего сердца любовь к Богу касалась лишь мгновенным дуновением, узнавал о Нем за этот миг то, что не давалось мне годами чтений и размышлений. Это узнавание, в свою очередь, делало раствор веры на сколько-то градусов крепче, вводя в нее дополнительное знание о ней, о моей вере. Софроний был не только совершенно уверен в том, чему учит христианское вероучение, он *знал* это, как знает свое дело врач, проверивший усвоенное в университете долголетней практикой. Одно время я обдумывал возможность стать монастырским библиотекарем, наконец написал туда письмо. Меня пригласили для разговора. Мы собрались в канцелярии: Софроний, Кирилл игумен, и архимандрит Симеон, который немного знал меня по прежним встречам. Отец Софроний стал читать «Царю небесный». Он говорил молитву медленно, делая долгую паузу между словами, словно давал им время наполниться содержанием до краев, не помню, сокращал ли двадцативековой недотрагиваемый текст, но помню, что прибавлял чуть-чуть то в одном месте, то в другом, что делало каждый звук ощутимо живым, каждый буквально, и молитва стала физически, как облако, хотя и прозрачное, отрываться от земли, от пола, на котором мы стояли, и двигаться куда-то, где и был Тот, кого она звала Царем небесным: слова «Царю небесный» равнялись Ему самому. Потом сели, и Софроний сказал, что не надо мне идти в библиотекарю.

Монахи были выходцами из дюжины разных стран, служба шла на пяти-шести языках, и Софроний говорил: «Я основывал монастырь не английский, не греческий, не русский, не румынский, а православный». Они служили по новому календарю, и, когда я спросил его, как быть с разницей в тринадцать дней, он ответил: «Пирамиды в Египте построены с таким расчетом, что Полярная звезда всегда смотрит внутрь через вершину пирамиды. Такие масштабы и такая точность. А вы “тринадцать дней”!» В одну из последних встреч мы шли по дорожке, он поднял голову на ночное небо, набитое звездами, показал палкой на одну, спросил, не знаю ли, что за созвездие. Знать я не знал, но заметил, что звездочка маленькая, а он, жалующийся на зрение, ее разглядел. «Да, да, — сразу, как бы заранее готовый на вопрос и ответ, сказал он, — симулянт. Я не такой дряхлый и больной, как моя видимость. Я симулянт, но из тех, которые умирают».

* * *

Когда Бога не любишь — преклоняешься, боишься, умоляешь, но любви в себе не ощущаешь, — то и Его любовь к тебе прежде всего умозаключение из веры, а не факт. Из «согрешений, прегрешений и грехопадений», которые перечисляются на исповеди, должно следовать, что исповедующийся — первый на свете мерзавец и нет ему прощения. Что этого мерзавца Бог тем не менее не забыл и не бросил, уловить, постичь, сознать, в общем, невозможно: *такого* бросил, иначе хоть проблеск в черноте мерзости был бы, а проблеск уже не покаяние, вернее, покаяние сомнительное, потому что не «всецелое». Считанные разы, исповедуясь в православных, но не русских храмах за границей, я вдруг слышал — после своих слов, из которых получалось, что выхода нет, потому что одно и то же, одно и то же, и десять лет назад, и двадцать, и вчера — только вчера еще хуже, чем двадцать лет назад, — слышал, а думал, что ослышался, как священник говорит: «Но Бог вас любит», — и когда я объяснял ему что-то, так, чтобы у него не оставалось сомнений, что за дрянь перед ним, опять слышал: «Но не забывайте, что Он вас любит». Ни разу я не слышал этого на родине — не потому ли, что *практический* принцип православия в России: чем тебе хуже, тем тебе лучше; вот и пусть будет похуже!

Одна из нерусских православных церквей, в которую я ходил, — Покрова Богородицы на 2-й улице рядом со 2-й авеню в Манхэттене, в десяти минутах ходьбы от Нью-Йоркского университета, где я преподавал курс русской по-

эзии. Она в юрисдикции самостоятельной Православной Церкви Америки, служба по-английски с периодическими возгласами по-гречески, по-русски, по-сербски. Район небогатополучный, хотя и в двух шагах от благополучного, — могут взломать автомобиль, могут попросить бумажник. Священника зовут Кристофер, Христофор — и он через эту черно-смугло-белую реку несет Христа, как другой несет зонтик, а получается, что как парус, и получается, что как флаг. Когда на престольный праздник он читал Евангелие перед храмом, на улице, а мимо одна за одной проезжали машины и шагали пешеходы и все бросали взгляд на кучку людей, собравшихся вокруг одного с книгой и другого с кадилом, специально и празднично одетых, то вид у прохожих и проезжих был ко всему — хоть и к такой непонятной экзотической компании — привыкших горожан живущего абсолютно другими интересами великого города. Так великие язычники римляне, должно быть, смотрели на какую-нибудь церковку первых христиан, нелепых, никчемных.

«И какой там приход?» — спрашивали меня в Москве. «Сотни полторы-две». «А у нас три тысячи», — говорили мне вежливо или со смехом. Это напоминало вежливо или со смехом подаваемую статистику советских дней, что на территории Хабаровского края поместится столько-то Италий и Нидерландов. Фазэ Кристофер сосредоточен на делах, а не на веру своих прихожан, потому что у нескольких десятков людей, съезжающих к нему с разных концов десятиллионного Нью-Йорка, вера подразумевается само собой. Эти встречи за дверьми под надписью «Protection of the Holy Virgin» вызывают в памяти *агапы*, первохристианские «вечери любви» — не особой любовью всех ко всем и не умилением, которых там нет, как, вполне вероятно допустить, не было и две тысячи лет назад, а общим согласием при произнесении «сами себ(я) и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим». Эти слова в первые годы как-то шокировали меня, и не меня одного: с какой стати я буду распоряжаться *другим*, который, возможно, и не хочет быть преданным Христу-Богу? Общее согласие отдать Ему всех вокруг, как себя самого, появляется, не когда каждый готов объяснить каждому, как всемогущий Бог «долготерпелив и многомилостив», а когда Он, такой, каждым любим.

Мой приятель работал в каком-то московском благотворительном обществе, его контора помещалась в одном коридоре с *Союзом* неких христианских *братств*. Когда он проходил в уборную мимо регулярно стоявшей в коридоре и что-то вполголоса обсуждавшей кучки представителей Союза, единственное отчетливо звучащее слово, регулярно доносившееся до него, было «жиды». Нормального человека трудно убедить, что эти люди *любят* — что-нибудь, кого-нибудь, Христа-Бога, друг друга — и что их собрания — братства. Не очень веришь и в преподаваемые ими *истины* — если, как писал Павел Флоренский, «явленная истина есть любовь». А если, как добавлял он же, «осуществленная любовь есть красота», то и их обличения нынешней эстетики и искусства в целом тоже вызывают недоверие, просто потому что исходят от них.

* * *

Когда вера и церковь искоренялись властью, а в церквях все-таки было тесно; когда по директиве из Патриархии отпевали Брежнева и при этом не произносили «раб Божий», потому что генсек партии не может быть ничьим рабом и в первую очередь Божьим; когда молодые священники имели достаточно мужества, чтобы, служа, не поминать безбожную власть, и они же авторитарностью поучений соревновались с лекторами общества «Знание», — в этом была гармония противоестественного положения вещей. Воры спускались в храм через разобранную крышу, уносили большую икону — и зияние на ее месте пустой стены оскорбляло глаз, но отвечало общей картине оскорбленного официальным унижением христианства. Нынешний священник в рясе, на экране телевизора сидящий за «круглым столом» промеж других мудрецов, в костюмах, и вместе с ними «решающий проблему», выглядит более или менее ряженым.

Христа *выводят* к людям, как известно, на поругание, и крест с Ним на груди телевизионного батюшки, уравнивающий роскошную брошь поп-

звезды, представляет собой не распятие, а украшение. Думаю, или, как принято говорить по-церковному, дерзая думать, что «жид» на устах православных «братьев», даже если они произносят это слово не как оскорбительную ругань, а как славянское соответствие «иудея», — показатель того, что Бог по какой-то причине не желает им открываться. Во мне, как человеке, принявшем крещение, и как еврее по крови, священник на экране и братья-крестоносцы вызывают примерно один и тот же комплекс чувств, включающий боль.

Найти оправдание участию церкви в общественно-государственной жизни и одновременно избежать обвинения в, как учили нас в школе, папизме и цезарепапизме — фигура высшего пилотажа. Тезисы «Россия — христианское государство, и поэтому...» или «сделаем Россию христианским государством, и тогда...» со ссылками на 1-й, 2-й и 3-й Римы — это фикции того же рода, что и «коммунизм неизбежен». Когда шла очередная война на Ближнем Востоке, старушка из нашего храма спросила более молодого и образованного прихожанина: «Ну, как там дела у Израиля? — и, услышав, что вроде побеждает Израиль, отозвалась удовлетворенно: — И то. Ведь каждый день за него в церкви молимся». Или мы молимся за *новый Израиль* и *небесный Иерусалим*, или делаем Россию «христианской». У христианства нет *идей*, есть только вера и любовь, и государство, строимое на «христианских идеях», по неизбежной логике может быть только антихристовым. Похоже, что даже из тактических соображений батюшкам лучше держаться от любых отборных кампаний и проблемных кампаний подальше, тогда хоть нельзя будет сказать про церковь «да все они заодно».

Что касается евреев, то московским православным учить их Христу не нужно. Они были христианами раньше греков, раньше римлян, на тысячу лет раньше русских. Евреи, распявшие Христа, затем тайно и явно разрушающие христианство и Россию как его главный оплот и потому заслуживающие погромов и Освенцима, — это наилучший фон, более того, необходимая опора строительства «христианского государства», в частности, а теперь, может быть, и единственно России. Христос через Павла заверяет нас, что «весь Израиль спасется», — это таинственные, вдохновляющие на разнообразные догадки, но прямые и неотменимые слова, которым отвратительна казуистика вроде той, что, мол, не тот Израиль и спасется только при таких-то условиях. Тот, тот, и обязательно спасется, и весь! И хорошо бы как-то в него попасть — не так, как сейчас через брак с еврейкой становятся израильским гражданином, но путь искать стоит, стоит.

Еврею трудно креститься, невероятно трудно. Еврей может верить в Бога, как никто другой, он создан для веры, он ее каталогизировал, расписал каждый ее атом. И, как часть своего народа, от начала он жил и хочет жить *ожиданием* Мессии, это условие его веры. Христианство отнимает у него это ожидание. Тот, кого ждут, понятно, больше того, кто приходит, даже если он приходит с фейерверком и в горностаевой мантии, а уж в дырявой хламиде — подавно. Еврею нужно отказаться от Мессии, который — ожидаемый — для него едва ли не более реален, чем *любой* реальный; от принадлежности, пусть уже только архаической, к собственному народу; от двухтысячелетнего противостояния христианству, воспринимаемому исключительно как враждебное. И вместе с тем, если он не решается, он не становится тем «Евреем от Евреев», каким стал Павел.

И практически тоже еврею креститься трудно. Родители, погромы, государство Израиль... Моих отца и мать никак нельзя назвать верующими — они с чувством и почтительно помнили веру своих отцов, матерей, дедов, бабок и дальше, это другое дело. Они любили меня, но до конца их дней мой поступок стоял между нами. За границей я должен говорить, что я Russian Orthodox, Orthodox Russo, русский православный, потому что еврей — пожалуйста, христианин — пожалуйста, но еврей-христианин — это для них жареный лед. Американская журналистка, которая познакомилась со мной в 70-е годы, описала в своей газете мой случай как «попытку еврея компенсировать дискриминацию», хотя я битый час объяснял ей, что крещение еврея в России — это дискриминация на дискриминацию.

Думаю, что это наилучшее определение человеческого существования вообще. Изгойство — судьба человека. Как ни объединяйся в группы, как ни держись «своих», рано или поздно ты будешь изгнан из *общества*, потому что на миллиметр отклонился, потому что заболел, не приносишь прежней пользы, постарел, потому что умер. Не объединяясь и не держась — тем более. Поэт — изгой; это по определению, это общее место. К. С. стал священником, стал писать статьи о христианстве — биологическом, корпоративном, патриотическом, о подобию контуров острова Валаама и Великобритании, против порнографии, против демократии, благословлял одних, анафемствовал других. Для меня иные его вещи так же головокружительны, как стихи, иные читать или слушать невыносимо: косные, агрессивные, скучные. Но слагаемые судьбы, как сорок, и тридцать, и двадцать лет тому назад, полны неизменного очарования. Единственный, он ни от чего никогда не получил никакой прибыли, ни прихода, ни дохода, ни имени, ни авторитета, которым бы не обладал раньше, ни «паствы». Пенсия, тот же дом, та же комната, отдельно живущие дети. Та же безукоризненность вкуса в искусстве, та же легкая походка. Содержание его жизни после отказа от поэзии — христианство. Но метод жизни — она, поэзия.

Изгой — это поэт среди литературы, это не-член секции поэзии в компании ее председателей и секретарей. Это не еврей среди евреев, не русский среди русских — презренный «выкрест» для тех и других. Для него нет утешения, кроме единственного — что был уже до него *один такой*, и это был Бог, Он Самый.



Послесловие

Между замыслом дела и осуществлением разница, как между вдохновением и нервностью. Замысел легко объять, в нем есть доля безответственности, необходимая для того, чтобы он выглядел максимально увлекательным. Когда десять лет назад, закончив «Рассказы об Анне Ахматовой», я приписал: «Из книги “Конец первой половины XX века”» — это было скорее обозначением идеи, нежели реальным проектом. Но «Рассказы» потребовали поместить их в контекст более крупного исторического плана, и через пять лет появилась «Поэзия и неправда». Этой книге, претендовавшей на объективность несколько больше, чем у нее на то было оснований, в свою очередь, потребовалась для равновесия книга в жанре «баек»: ею оказался «Славный конец бесславных поколений». Втроем — а две последние печатались на страницах одного и того же журнала «Октябрь» (№№ 1 и 2 в 1994 году и каждый 11-й номер в три последующих года, плюс № 8 в 1997-м) — они и составили несколько легкомысленно объявленный «Конец первой половины».

Этот конец сильно опоздал против назначенной ему середины века — во всяком случае, по моему ощущению. Смерть Сталина в 1953 году только разомкнула на запястьях страны наручники и разжала, но так и не сняла сдавливавшие горло пальцы. И еще тридцать лет жизнь не меняла форм по существу: мы все жили и жили «после войны», разве что пересели с трамваев-«американок» на «цельнометаллические» Пражского вагоностроительного завода. Потом скачок последних десяти лет, и Россия подстроилась к миру, чтобы вровень с остальными кончить столетие. Возможно, это и есть ее метод развития: долго не двигаться и несусветным рывком догонять, а то и опережать.

Последнюю книгу правильнее было бы назвать «Бесславное начало славных поколений» — правильное, но, как все правильное, скучнее. Все поколения рождаются бесславными, и если некоторые из них славно кончают, то интересно и весело высматривать размытые очертания приближающегося в промежуточном сущем, которое во всякую минуту выдает себя за устоявшееся. Славно не обязательно значит признанно, впечатляюще, исполнено подвигов и великих достижений: славный малый бывает привлекательнее славного полководца.

Мне мое поколение, в общем, нравится — не шестидесятничеством, не успехами и рекордами, а соразмерностью пришедшихся на него горечи и неприятностей, которые его не искаличили, и отрад, которые не испортили. В нем, как во всех, хватает ничтожеств и мерзавцев, но и симпатичных субъектов не раз, два и обчелся, и с последними по счастливому стечению обстоятельств почти со всеми я в одной компании. В нашем поколении есть стиль и есть калибр — не большой и не маленький, а свой.

Это книга документальная, как и две предыдущие, и вообще не документальных чем дальше, тем сильнее неохота ни читать, ни писать. «Москва — Петушки» тоже документальная книга, и «Анна Каренина», если присмотреться, тоже. Конечно, в документальности в отличие от жизни не может не быть вымысла. Любой комментарий к документу — вымысел, потому что ограничен, неточен, крив. Он отбрасывает тень на самый документ, и на эту тень следует делать поправку. В моем детстве-юности был художник Лактионов — «Письмо с фронта», «Въезд в новую квартиру» и проч. У него было редкостное зрение — как прецизионная оптика прибора. На выставке картин из Дрезденской галереи он копировал «Шоколадницу» Лиотара, изумительно точно, но как бы с одинаково недодержанным по всей картине голубым цветом. Мой приятель работал в музее, ежедневно по несколько раз проходил мимо, наконец решился спросить. Тот сказал: «Вы что, правда не понимаете? Когда уйдет под стекло, цвет совпадет идеально».

Главное же, что делает документальность подлинной, — это обязательное наличие нескольких ориентиров общепринятых, например, железнодорожных станций или таких фигур, как Ахматова. Это как единственный дуб в осиновом лесу или заброшенный колодец при дороге — тогда остальное может быть хоть облаками. Князь Андрей Волконский отнюдь не из реально живущих Волконских, но Кутузов, с которым он встречается, — тот самый. В моей книге Безбородок много больше, чем Безуховых, хотя и эти попадают. Не Пьер, не Пьер, не ловите меня на слове, а так, из славного моего поколения, Петя, Вася, Маруся.

Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России

XXIX

Мы привыкли полагать, что мир ученых и мир церковников являются антиподами по восприятию и толкованию человеческого бытия, ибо первые служат науке, что равнозначно в нашем понимании прогрессу и процветанию, вторые — Господу, то есть стагнирующим и оскопляющим человеческие достоинство и волю канонам и догмам, и мало кто представляет, что оба эти явления более чем что-либо другое связаны между собой единым исходным корнем (не в смысле познания жизни, нет, это само собой, а в смысле изначальной троннохолопской заданности) и что на протяжении веков при всем видимом разногласии, переходившем иногда чуть ли не в силовое противоборство, в стержневой своей основе сохраняли и продолжают сохранять троннозаданное еще со времен пирамид единство действий и целей. В этом может убедиться каждый, сличив жития святых, то есть трагизм добровольного мученичества церковников (а по их житиям — и житие самой церкви), с жизнеописаниями ученых мужей, этих апостолов от науки, окутанных ореолом подвижнической славы (а по их трудам — и действительность исторической и философской наук), — сличив, разумеется, не по внешней схожести или несхожести, не по тому видимому отречению от земных благ, равному отречению от жизни, то есть не по обету воздержания и служения, какой одни дают Богу, другие — науке (так по крайней мере мы судим о них, видя их парадную, представительскую сторону жизни, в то время как вне стен религиозных храмов и академий и у тех, и у других есть иная, исполненная обычных человеческих страстей и целей жизнь), а по стержневой сути их деяний, по тому суммарному итогу, который, если прибегнуть к математическому исчислению, равен нулю, а если рассматривать в социальном и нравственном планах, то можно констатировать лишь полное (по отношению к народной жизни, жизни простолюдинов) разочарование. Церковники, служа Богу, неустанно на протяжении тысячелетий повторяли, что одновременно служат народу, наставляя его на путь истины, на путь спасения, тогда как в результате подобного служения и наставничества лишь возрастало число церквей, ширились и преобразовывались иконостасы, совершенствовался ритуал религиозной обрядности, а людские массы как пребывали в бесправии и нищете, так пребывают и сегодня, стоя перед ликами святых, взятых в золотые и серебряные ризы и оклады, и молясь и уповая на их милосердие; от алтарей, царских врат, иконостасов, этих витрин поводырства, имитирующих распахнутую книгу истории, которую только и предначертано читать (зреть) простолюдинам, от священнослужителей в парчовых с золотой нитью одеяниях, речитативящих проповеди и отправляющих торжественные литургии, — от всей этой

тысячекратно (бессчетно) повторяющейся обрядовой степенности, обрядового представления, символизирующего общение с Творцом, Богом, Спасителем, веет застойной (ледяной) стужей веков; именно здесь, в церквах, призванных вроде бы покровительствовать народной жизни и организовывать ее, как ни в каком ином месте, лицом к лицу сталкиваются божественная роскошь с людской нищетой, могущество власти с бесправием масс, и кому, как не отцам церкви, выставляющим себя радетелями за народ, надлежало бы выступить с действенным словом в защиту обездоленных, обобранных, бесправных простолюдинов и восстановить поправную справедливость; но церковь, оказывается, не создана для активного вмешательства в жизнь, ее удел лишь вселять в людские души надежду, вносить умиротворение, призывать к смирению и покорству (дело, разумеется, благородное), ей не пристало подразделять людей на властителей и рабов, ибо перед Господом равны все: как восседающие на тронах, так и пребывающие в нищете и бесправии, и вряд ли нужно здесь пояснять, кому и для чего служит подобное стагнирование социальных и нравственных устоев бытия. Как видим, исконное предназначение церкви — служить властителям, в каком бы обличье эти властители ни представляли, и меня не покидает мысль, что любая из религий независимо от даты и места ее зарождения есть производное от поработительских потребностей тронов и тронных особ; чудо творят не Боги и тем более не иконные лики святых, а люди, избравшие своей «хлебной нивой» поле духовного воздействия и подрядившиеся возвращать на этом поле ядовитые гроздья народного послушания, тихой, бескровной вроде бы народной гибели; да, я могу так сказать, оглядываясь на историческую (да и на текущую) российскую действительность, на наше не изжитое и донныне крепостничество, на все то историческое невежество, в каком из столетия в столетие удерживались русские люди, внимавшие в церквах гласу Божьему; вместо отбиравшегося богатства нам великодушно предоставляли право не просто довольствоваться, но гордиться нищетой, вместо естественной свободы в проявлениях жизни преподносили как дар (с церковных амвонов, замечу, прежде всего с церковных амвонов) так называемую внутреннюю свободу, свободу на созерцание, истощение и угасание; в поисках спасения (от кого, от чего?) люди самоистязали себя в монастырях, отрекаясь от богатства, от себя, от жизни; за чистоту веры деревнями, общинами шли на самосожжение, предводительствуемые церковными фанатиками; народ, по сути (и при молчаливом согласии правителей), подводился к черте самоистребления (читайте документы минувших веков, они есть, сохранились, да-да, читайте, прежде чем выступать с возражениями!), к которой сегодня он вновь подведен, и вновь, как и в оные времена, может быть, даже с большей поспешностью, золотятся на Руси купола церквей, отливаются призывные колокола, восстанавливаются во всем своем поводярском величии иконостасы, и перед обездоленным, нищим народом предстают словно облитые золотом отцы церкви и оглашают речитативно свои стагнирующие господство и рабство церковные постулаты и догмы. Теперь перейдем к мужам науки и попробуем (в сравнительном варианте с церковной значимостью) проследить, насколько они смогли или не смогли сообразоваться в своего рода всемирную Церковь (Единодержавный центр знаний, можно и так назвать) с четко выраженной ритуальной обрядностью и книгой-иконоста-сом, которая поименно и в лицах представляла бы их многовековое подвижничество и, возведенная в ранг апостольской непогрешимости, являлась бы столь же обязательным предметом для почитания и поклонения, как и святые в нимах, выставившие нам, если судить по их житиям, или, вернее, выставившие (мученичеством будто бы за веру) дорогу к желанному, но так и не осуществившемуся всеобщему благоденствию. Храмы науки — конечно же, это не религиозные храмы, в них читают не проповеди, а лекции, и не прихожанам, зачастую вынужденным (в силу определенных устоявшихся традиций) лишь отбывать своего рода церковную повинность, а студентам, готовящимся во всеоружии знаний вступить в открывающуюся им жизнь; но за всем этим внешним несходством (вроде бы несходством), если присмотреться, можно без труда различить

то глубинное, стержневое, что во все времена объединяло и объединяет их,— просветительское, как принято полагать, а по сути — троннопродиктованное (в целях зомбирования масс) действие; историческая и философская науки столь же, если не больше, консервативны в своей изначальной заданности, как и религиозные учения, они не то чтобы расширяют познания в области человеческого бытия, но, следуя в фарватере библейских истин, обходят стороной главнейшие вопросы истории, среди которых возникновение власти, возникновение и торжество хищнического мироустройства с почти уже обессмертившей себя основой господства и рабства, и, обходя их, выполняют, в сущности, все тот же стагнирующий заказ правителей, какой предначертано выполнять ведущим религиозным учениям мира. Есть среди мужей науки и свои Иисусы, чье подвижничество, равное или почти равное подвижничеству Спасителя, читается как святость (Платон, Аристотель, даже блаженный Августин со своей всемирной историей четырех империй), есть и апостолы, эти разносчики и стражи чужих мыслей, чужой славы, в лучах которой вроде бы отливаются бронзой и их имена (такое апостольство сегодня стало уже не просто тормозом, но бичом науки, кандалами, сковывающими ее даже в малейших проявлениях самостоятельности); есть и своя обрядность — академические мантии и знаменитые шапочки, и свои иконостасы — портретные галереи великих и величайших деятелей исторических и философских наук, и кафедры, с которых провозглашаются «неопровержимые истины», и залы для синодальных соборов, называемых учеными советами, и троны, с которых можно кормиться и на которые оглядываться как на указующий перст, и драматизм подобного (лакейского) подвижничества, настигающий у последней черты, когда является прозрение, но ничего уже невозможно ни вернуть, ни исправить. Есть и еще нечто характерное, что объединяет обе эти «просветительские» ипостаси исторической и текущей действительности и что в образном выражении можно вложить в понятие каменной глыбы и молоха веков, дробящего глыбу в зыбучий песок; каждая песчинка вроде бы представляет собой плоть от плоти породившей ее глыбы, но в раздробленной массе уже не содержит в себе ни зримого величия, ни ясно очерченного могущества, то есть не поражает людей своей изначальной грандиозностью; и в этом зыбучем песке лишь вязнут ноги, и истощенная плоть, не реагирующая уже на миражи, тяготеет к земле. У каждого религиозного учения есть свой основоположник; у христианства таковым является Иисус Христос. Я постерегусь говорить здесь об изначальной значимости учения Христа, ибо оно дошло до нас через посредников — апостолов, изложивших его в евангельских списках, вместо подлинника мы пользуемся лишь этими изложениями, но подвижнический (мученический) подвиг Христа (был ли он на самом деле таковым или в нем куда больше человеческого, чем божественного), растиражированный в бесчисленных житиях святых, то есть сведенный до размеров песчинок, но просто потерял свою изначальную, да, именно изначальную (тут надо смотреть правде в глаза) заданность, но обратился в руках тщеславных «профессионалов» в источник церковной и личной власти, церковного и личного обогащения. В сущности, в эксплуатацию было взято не просто некое неординарное историческое событие, а то, что могло принести (приносить до бесконечности) духовные и властные дивиденды, и такой же участи подверглись учения Сократа, Платона, Аристотеля. Пятнадцать веков, обливая скептицизмом труды этих великих греков, академические светила новейших времен, кормясь на открытой ими благодатной ниве, так и не смогли привнести ничего сколь-нибудь значительного, что позволило бы человечеству продвинуться в познании истоков хищничества, истоков сложившихся на основе фараонской державности общественных отношений, как и отцы церкви, поделившие христианство на католичество и православие, они разбились на приверженцев Платона и приверженцев Аристотеля и, противоборствуя, не могли или не хотели разглядеть за этим своим противоборством, что между учениями великих греков нет противоречий и если что-то и разделяет их, то лишь терминология, к которой они прибегают в оценках действительности, тогда как по стержневой сути прямо,

без каких-либо сомнений, оглядок и оговорок подтверждают (или утверждают, что вернее) стагнационную неизбежность всеохватной системы господства и рабства; таким образом ученые мужи создавали, с одной стороны, видимость научной активности, а с другой — уподобившись Церкви, работали на традиционную (стагнационную) заданность. Мы и сегодня, по сути, находимся между этими двумя жерновами исторического невежества — церковным и светским просветительством — и, веря в поводырскую искренность, даже отдаленно не представляем себе, насколько означенные выше иерархи от религиозных воззрений и философской и исторической наук не соответствуют нашим действительно-таки искренним представлениям о них.

XXX

Главный удар по теологическим (религиозным) воззрениям на мироздание был нанесен, как известно, вернее, как принято полагать (хотя утверждение это далеко не бесспорно, как увидим дальше), в эпоху Возрождения, а затем во времена протестантизма, великих революционных бурь и потрясений; именно в этот период заметно активизируется деятельность археологов, они буквально кидаются перелопачивать земли восточного Присредиземноморья, стараясь заново открыть для себя мир античности, мир древнеегипетской цивилизации (мир фараонских пирамид), и я не думаю, что в этом стремлении не было ничего искреннего, благородного, что заставило ученых обратиться к истокам, как им казалось, великой (реалистической) культуры, давшей нам непревзойденный вроде бы образец государственности, неподражаемые шедевры литературы, скульптуры, зодчества; музеи европейских столиц стали наполняться самыми невероятными находками, начиная от каменных наконечников копий, стрел, каменных ножей, орудий труда (словно бы посланцев пещерного века) и кончая папирусными свитками, гончарными изделиями, мраморными изваяниями богов, людей, воспевавших красоту человеческого тела, монаршими и не только монаршими украшениями, отлитыми и кованными из бронзы, серебра, золота с вкрапленными в них драгоценными камнями. Открытие следовало за открытием, человечество и в самом деле чувствовало себя накануне величайшего познания своей истории, хотя забрезживший было рассвет так по сей день и остается полоской зари, ибо в искренние намерения ученых (когда, кем и каким образом, можно только догадываться) была заложена фальшь, они искали зачатки «великой» культуры и «великой» цивилизации, которую мы, судя по свидетельствам истории, называем сегодня хищнической, и совершенно игнорировали наличие других, альтернативных хищнической культур и цивилизаций, которые были подавлены ею, и такая односторонность (ее вернее следовало бы назвать тронозаданностью) невольно опять вернула мужей науки на круг церковных воззрений, то есть к библейской истории царств и царствований. В этот же период, то есть в эпоху Возрождения, во времена протестантизма, великих революционных бурь и потрясений, начинает заметно ослабевать влияние учений Платона и Аристотеля на умонастроения просвещенных европейцев. Явление, конечно, весьма и весьма странное, ибо обращение к античному и доантичному миру должно было, напротив, породить повышенный интерес и к творениям великих греков, но, низвергнутые христианством как последовательные язычники, они уже считались пройденным этапом, якобы пройденным, и новые авторитеты, выраставшие, впрочем, на их учениях, стремясь занять в научном иконостае свое почетное место, теснили старые, витийствуя вроде бы с позиций народной жизни, но куда с большей, как это видно теперь, оглядкой на троны, чему примером может служить известный вольнодумец и царедворец Вольтер. Платоновская и аристотелевская академии были упразднены, однако такое решение привело лишь к созданию целой сети новых подобных святилищ знаний, как, впрочем, и движение протестантизма не помешало расцвету церковного и монастырского строительства, а пробудившийся археологический интерес к древности подвинул и мужей науки к исследованию, казалось бы, основополагающих вопросов истории — становления и развития общественных отноше-

ний и устройству общественного бытия. Однако, едва начавшись, он тут же и иссяк, иссяк не вообще к процессу бытия, а к истории народной жизни, к той главной (переломной) эпохе, длившейся не одно и не два тысячелетия, в которой стала зарождаться, а затем и укрепляться система господства и рабства (не из ничего же, а под воздействием каких-то начал, возможно, духовного порядка, ибо сказано в Библии, что всему предшествовало слово, то есть замысел?), и было ли в этом процессе хоть что-либо от природной заданности, или только от произвола человеческого разума, сумевшего в конечном итоге многополюсный мир самобытных культур и самобытных цивилизаций народов превратить в однополюсный, с насилиями, войнами, порабощениями, мир жесточайшего и неодолимого хищничества, — да, повторюсь, иссяк не вообще к историческим процессам бытия, а только к истории народной жизни, подменившись интересом к деяниям правителей, и в первую очередь к сорокавековому династическому господству древнеегипетских фараонов, как к учебнику престольного долготлетия, столь необходимому для укрепления власти начавшему к тому времени активно расплзаться по миру престольному чужеродству. Обе эти гуманитарные ветви, можно сказать, испытали тогда своеобразный бум; на общественный стол жизни, что ни десятилетие, подавались все новые и новые идеи и воззрения, историческая и философская науки, казалось, вот-вот достигнут долгожданного расцвета, трудами ученых забивались полки академических, университетских, монастырских хранилищ, возбужденные массы брались за оружие, чтобы претворить в жизнь сыпавшиеся на них посулы, но итог бума, как это бывало уже не раз в античные и доантичные времена, не принес желанного удовлетворения; в устройстве общественных отношений и общественного бытия ничего не изменилось, людские сообщества только плотнее стянулись обручем хищнического миропорядка, а мужи от гуманитарных знаний, возможно, даже не заметили, как подобно археологам и церковникам ступили вновь на стезю тронугодничества, оболстительно обложенную ими же новоиспеченными историческими терминами и понятиями. Они так и не смогли отступить от полумистической, полубожественной формулы развития — трюизма, — провозглашенной еще древнеегипетскими оракулами, ибо она и в самом деле, периодизируя этапы развития, в то же время являла собой человечество как некий единый, целостный организм жизни, упорядоченный, как это представлялось или по крайней мере должно было представляться им в том самом мироустройстве со стержнем господства и рабства, в каком они жили и какой довольно четко охарактеризовали Платон и Аристотель: первый — раскодированием пирамид как формул жизни, второй — разделением рода человеческого на носителей духа и обладателей плоти, то есть на господ и рабов; к тому же триада как метод познания (и это следует признать) обладала столь невероятной пластичностью, что под нее и сегодня можно подгонять любые явления из исторической и текущей действительности, и этот так называемый «научный» прием, обросший мхом академических традиций, тоже (и по-своему) ограждал мужей науки от «непозволительных» ошибок и отступлений. Выше я уже приводил в сравнительной таблице наиболее известные, получившие хождение трюистические теории, с помощью которых историки и философы пытались найти объяснение историческому процессу развития человечества; там же было обещано, что разговор о них будет продолжен, особенно о двух последних, возникших одновременно на волне Возрождения, протестантизма, идей революционного переустройства мира: «каменный век, бронзовый, железный» и соответственно «классовый период развития, переходный, бесклассовый». Но переодевание эпох, как и переодевание людей, не меняет черты характера; дело в том, что трюизм «каменный, бронзовый, железный» изначально, как только был предложен для потребления, воспринимался не так, как воспринимается теперь, а представлял собой некое временное единство, при котором народы просто-напросто развивались по-разному, одни — с отставанием, другие — с опережением, третьи вообще находились уже чуть ли не на вершине «прогресса и процветания»; с точки зрения житейской логики такое суждение представляется вполне правомерным, поскольку являет собой как бы зеркальное отра-

жение современного мира: ведущие державы — соответственно ведущие народы; развивающиеся страны, даже континенты, — соответственно развивающиеся народы; третий мир, то есть те людские сообщества, которые пребывают в обозе человечества и с которыми можно считаться разве что как с рабочим скотом. Формулировка, что и говорить, настолько удобна и так органично вроде бы увязывает настоящее с прошлым (в данном случае ретроспективность призвана оправдать настоящее), что едва ли тут можно что-либо возразить; нам как бы говорят: а что вы хотите, мир создан таким (прямо-таки по промыслу Божьему) и всякая попытка изменить сию заданность чревата непредсказуемыми катастрофами; травить реки, моря, истощать недра, вырубать леса, видоизменять флору и фауну — пожалуйста, но вторгаться в суть общественных отношений — ни-ни, ибо в таком случае будет подорвана стержневая основа господства и рабства, основа «цветущей» цивилизации. Разумеется, нас не пугают напрямую подобными страхами, но делают это тонко, завуалированно, вернее, подводят к такому предположению, что, дескать, человечество без поводырства (какая разница, монаршее ли оно, президентское, премьерское или банковско-промышленных кланов, рвущихся к трону мирового господства) не может существовать, что всегда были, есть и будут ведущие (богоизбранные) личности и ведущие (богоизбранные) народы, которым прямо-таки предначертано свыше владеть и повелевать. Может быть, я ошибаюсь, может, действительно чего-то недопонимаю, но ведь здесь вполне очевидно, что воззрения церковников и воззрения ученых-гуманитариев смыкаются, как первые, так и вторые сходятся на том, что в основу человеческого бытия изначально уже было положено единодержавие и разница только в том, что по-церковному все организуется вокруг Бога, Творца, а в мирском плане — вокруг власти, то есть помазанных на престол правителей; по сути, с помощью «научных» обоснований людскому сообществу навязывается все та же мысль о незыблемости (предначертанности) установившегося миропорядка, и можно сказать, что подобное толкование не только не имеет ничего общего с действительным ходом развития человечества, но откровенно исходит от тронов и служит им. Тронам нужно историческое невежество, чтобы духовно поработать и удерживать в повиновении массы простолюдинов, человечеству же — историческая истина, чтобы уяснить суть происходивших и происходящих явлений; два жизненных интереса, две потребности, две силы, стоящие за этими интересами и потребностями, которые, соперничая, могли бы действительно доискаться до истины, — так по крайней мере в реальности должно происходить; однако в реальности происходит как раз другое, и на меже противоборства действуют совсем не те силы, которым бы надо действовать (одна — от народа, другая — от правителей), а бутафорские, то есть тронногоднические, лишь имитирующие альтернативные начала и создающие, с одной стороны, видимость научного и теологического поиска (шумим, шумим, а значит, движемся, живем!) а с другой — видимость усилий и видимость трудностей, кои приходится преодолевать в этом затянувшемся на века и вроде бы неразрешимом, как надо полагать, споре.

XXXI

Но никакого спора, в сущности, нет, а есть только обман, исходящий от тронов и направляемый и подновляемый ими; правителям прошлого, чтобы поддерживать миф о своей богоизбранности, нужно было удерживать массы в историческом невежестве; и хотя захватившие сегодня власть личности, народ или народы, сообразовавшиеся в клан престольного чужеродства, стараются не прибегать к понятию богоизбранности (в некотором роде следует признать, что человечество за тысячелетия хоть на йоту, но все-таки продвинулось в познании общественных явлений своего бытия), но и неверно было бы полагать, чтобы сия важнейшая формула престольного долготлетия, открытая и примененная еще фараонами Древнего Египта (сорок веков безраздельного династического господства!), оказалась отвергнутой или забытой современными правителями; они вроде бы не претендуют на богоизбранность и не ищут ее, им достаточно «великого прошлого» — «века богов», — чтобы мистическая тень, или

мистический призрак тех времен, окутывала (или покрывала) их текущее хищническое бытие; они ищут доказательства своего превосходства не в настоящем, а в прошлом, и триумф временного единства, когда людские сообщества одновременно пребывали в веке каменном, и в бронзовом, и в железном,— этот триумф временного единства прямо утверждает, что уже в самые-самые пращурные времена существовал народ, расселенный преимущественно в восточном Присредиземноморье, который обладал совсем иной генетической заданностью, чем остальные, жившие, впрочем, в том же средиземноморском бассейне и на Ниле, и, постигнув с опережением премудрости железного века, дал затем миру «великую» (хищническую) культуру и «великую» (хищническую) цивилизацию. Теория эта, противостоящая вроде бы церковному догмату о сотворении мира, предлагает, по сути, свой вариант некой естественной будто бы, природной заданности; пользуясь авторитетом, утвердившимся за мужами науки в народе (ведь простой люд, не способный ни на какой глобальный обман, не может даже представить себе, чтобы почитаемые им кумиры знаний могли хоть в чем-либо обманывать его), ученые мужи идут в своем троноприслуживании куда дальше отцов церкви, ибо не только подтверждают, но и «научно» обосновывают некую (естественную будто бы, повторяюсь) заданность человеческого бытия, то есть тот самый церковный догмат о ведущих (богоизбранных) и отсталых (забытых Богом или прогневивших Его) народах, который, если как следует вникнуть в его содержание, является первой и самой, возможно, действенной (несмотря на всю свою завуалированность) пропагандой расизма. Да, одних Бог наградил даром прогресса, других — даром отставания; первые призваны поводитьствовать (господствовать), вторые — тянуть ярмо вечного рабства; Аристотель с его разделением людей на носителей духа и обладателей плоти низвергнут, забыт, но выходит: Аристотель жив; мы ищем сегодня корни расизма (фашизма) в проявлениях национальной сплоченности народов, в отстаивании своих национальных интересов (особенно в жесткие рамки поставлено в этом отношении славянство, русский люд), тогда как корни эти уходят в глубокую древность и искать их следует во дворцах и храмах, а не в народе; народ защищается как может, тогда как правители, перекладывая свой застарелый порок на людские массы, пугают им прежде всего сами эти массы и, выбрасывая флаг борьбы с очевидным вроде бы злом, ввергают простой люд в новую кабалу. Догматы церкви не требуют доказательства, поскольку они догматы; всякое научное утверждение по меньшей мере должно иметь обоснованное доказательство; но у мужей науки нет доказательств того, что народы, да, целые народы изначально уже явились на свет с разными потенциальными возможностями; если признать подобную заданность, то тогда следует признать расизм (фашизм) как неотъемную составную человеческого бытия, признать превосходство одних народов, одних людских сообществ над другими, а значит, и признать систему поработительства (систему господства и рабства) как единственно легитимную систему жизни. Разумеется, мы отвергаем расизм как зло, вернее, как абсолютное зло, тогда как история в том варианте, в каком она подается сегодня на просветительский стол, напротив, изложена так, что словно бы писалась специально под триюнистическую теорию временного единства; ведь сильные народы (читай: богоизбранные) всегда поработали слабых, не считаясь ни с их слабостью, ни с их самобытными культурами и цивилизациями; всегда были нашествия, войны, раздоры, притеснения; фараоновский стержень господства и рабства, вышедший из Египта на обетованные земли, не гнушался никаким насилием, доказывая свое национальное (расистское) превосходство; Цезарь, завоеывая Европу для Рима, уничтожал коренные народы этого континента; чуть позже такая же участь постигла африканский, затем американский и австралийский континенты — белые пришельцы, причислявшие себя, несомненно, к высшей расе, уничтожали аборигенов, а теперь, похоже, очередь дошла до России; поработительская картина мира со времен древнеегипетских пирамид не только не изменилась к лучшему, но по жестокости и масштабам насилия обрела еще более зловещее выражение, и тут не надо быть историком или философом, чтобы разглядеть и уяснить это. Так что же произо-

шло и происходит, где истина? Либо народы и в самом деле получили (но от кого, каким образом, ибо ведь мы отвергаем догматы церкви о сотворении мира) определенную генетическую заданность, которая, вершинно проявившись во времена пирамид, дает о себе знать и поныне (тогда почему мы отвергаем расизм?), либо в прашурных глубинах своего развития человечество претерпело нечто такое, что позволило обособиться одной из ветвей и захватить господство над остальными. Ни историческая, ни философская науки не дают ответа на этот основополагающий вопрос; более того, он вроде бы даже не тревожит кумиров человековедения, и они то ли не могут, то ли не хотят (под троннонадзирающим оком) замечать в своих исследовательских трудах темных пятен. Но, ведь как бы ни была перевернута история, она опирается на факты, а факты — упрямая вещь; у меня тоже возникают мысли, когда пытаюсь на основе известных исторических данных воссоздать картину мира, что дыма без огня не бывает и что за трюнистической теорией временного единства, как и за догматом церкви о сотворении мира, скрыто (упрятано, похоронено) нечто настолько важное с точки зрения возникновения и укрепления тронов, возникновения и укрепления власти и настолько неприглядное в своем антинародном значении, что никогда и ни при каких обстоятельствах не может стать достоянием масс, ибо в противном случае совсем по-иному предстанет перед нами поводирыская (иконостасная) слава избранных (богоизбранных) личностей, кланов личностей, народа, народов и миф о превосходстве одних и ущербности других людских сообществ обнажится во всем своем многотысячелетнем обмане; наверное, суть заключается в том, что какая-то ветвь человечества, став на стезю хищничества, избрала средней обитания для себя господство и рабство, тогда как другие, сориентированные на идиллическую жизнь (славные Гипербореи), строили свои цивилизации на иных, альтернативных хищничеству началах, и, чтобы удостовериться в правоте такого суждения, не надо никуда ходить за доказательствами, а достаточно присмотреться к современному миру, к той сохранившейся в душах людей полярности (несмотря на полное и безраздельное единогогосподство хищничества), которая проявляется в неприятии многими народами, если не сказать, большинством населения Земли, фараоновского (от древнеегипетского первородства) миропорядка. Одни чувствуют себя в хищничестве как рыбы в воде, другие, сколько ни приспосабливаются, никак не могут найти себя в нем; можно и еще обобщеннее: одни кормятся трудом, другие — престольным чужеродством, грабя, топя в крови поработенный ими простой люд. Все это сегодня более чем очевидно, как очевидно и то, что так называемые ведущие, или поводирыствующие, народы, сгруппировавшись, как я уже говорил, вокруг престольного чужеродства, творят ничем не прикрытое (и не первое уже столетие) насилие над народами третьего мира и развивающихся стран и, достигнув небывалого (за счет ограбления этих «отсталых» стран и народов) могущества во всех сферах жизни — экономической, военной, духовно-поработительской, — едва ли позволят хоть кому-либо приблизиться к себе. Что это, если не самый натуральный расизм (фашизм), пришедший к нам из глубин прашурных веков вместе с хваленной (хищнической) цивилизацией? На словах можно отвергать все; можно в клочья изорвать рубашку, доказывая свое простодушие; однако факты есть факты, они, как и история человечества вообще, не превращаются в прах под наслоением веков, и я могу только вслед за поэтом горестно подтвердить: «Есть в этом мире виноватые». Да, есть, и их не только можно перечислить по именам, но и лицезреть в мраморных, бронзовых изваяниях и иконостасных ликах; они совершали деяния, они же затем навязывали мировому сообществу толкование этих своих деяний, как навязывают (через посредников, возведенных в святительские и академические саны) толкование новой и новейшей истории. Отрицая расизм (фашизм) как зло, верховенствующие (богоизбранные) правители и народы в то же время проводят самую жесткую политику геноцида против так называемых развивающихся и отсталых народов, которую по масштабности можно назвать межгосударственной, даже межконтинентальной; выставляя себя защитниками прав человека, выносят наказание целым странам, народам за некое «непослушание», то есть

за стремление жить независимо, самостоятельно, самобытно, и с помощью экономических и военных санкций (придумали же слово!) обрекают эти страны и народы на вымирание; разглаголетствуя о падении нравов, о чистоте духа, наводняют в то же время мир (через политику, искусство, культуру, литературу, живопись, музыку) идеологией разврата, грабежей, убийств, суперубийств; призыв к свободе, равенству, братству — это всего лишь завуалированный ключ к культуре силы, культу «золотого тельца», подвигающий общество опять же к поработительским войнам, грабежам, насилию; народы, по сути, как и во все прошлые времена, предстают равными лишь в правах рабства, в то время как в правах достойной жизни поделены «научным», да, теперь уже «научным», трюизмом на ведущие, отсталые и никчемные (трюизм этот хотя вроде бы и отменен, о чем пойдет речь ниже, но не так-то просто вычеркнуть из жизни то, что узаконено тронами); противоречия, противоречия, противоречия, однако не мир противоречив, в чем усиленно (все еще и сегодня) пытаются убедить нас, а противоречивы канонизированные и продолжающие канонизироваться теоретические обоснования нашего (от произвола человеческого разума, произвола правителей) бытия. Мы привыкли считать, что любая религия, любая церковь, сплотившись вокруг определенных догматов, самоуправляется в своих деяниях, что отцы церкви подчинены воле Творца и являют собой лишь бескорыстное посредничество между Господом и Народом, — я сомневаюсь в этом; мы также привыкли полагать, что люди науки (беру лишь область исторических и филологических знаний), облачаясь в тогу подвижнического служения человечеству, не могут одновременно (часто даже с большим усердием) служить дворцам и храмам, — я сомневаюсь в этом; действительность историческая, как и действительность текущей жизни, дает совсем иные образцы — образцы именно тронного прислуживания и холуйства, и если для этого нужны доказательства, то они в упорстве, с каким отцы церкви и ученые-гуманитарии на протяжении веков отстаивали и продолжают отстаивать свои теологические (религиозные) и академические трюизмы.

XXXII

Мне кажется, что при внимательном отношении к развитию исторических и философских наук нетрудно заметить, что признание (вроде бы со стороны общественности, но, по сути, с подачи и при поддержке тронов) получали только те теории, которые либо угождали, либо напрямую служили престольному долголетию и престольному чужеродству, тогда как всё, пытавшееся противостоять этому узаконенному престольному правилу, этой тронной удавке, готовой умертвить всякую живую мысль, живое слово (правители в таких случаях обычно любят воздействовать не прямо, а опосредованно, через религиозные и академические внушения), — всё, пытавшееся противостоять выработанной хищническим миропорядком закономерности (закономерности от древнеегипетского первородства), обрекалось и продолжает обрекаться на полное историческое забвение. Противостояние лжи и истины в познании общественных отношений и общественного бытия, на мой взгляд, есть прямое зеркальное отражение противоборства двух альтернативно-исходных цивилизаций, и с победой хищничества, по сути дела, предreshено было и торжество лжи над истиной во всех остальных сферах жизни. Такова историческая и такова текущая действительности, хотя мы и привыкли полагать, что правит нами, вернее, направляет нашу жизнь не ложь, а истина, и если то или иное научное (да и церковное) толкование получает государственное признание, которое мы, к сожалению, идентифицируем с общественным, то у нас уже не возникает и тени сомнений. Нам кажется, что мир движется противоборством идей и взглядов, в то время как истинное противоборство вообще скрыто от нас, о нем мы знаем либо понаслышке, либо вовсе ничего не знаем и, как ни странно, как ни оскорбительно прозвучит это, довольствуемся лишь бутафорскими спектаклями наподобие борения церковных и мирских, светских воззрений, коими веками потчевали и продолжают потчевать простолюдинов профессионалы от тронов и тронных особ. Истинная борьба — это борьба Сократа с господствовавшим тогда миро-

порядком. Чем она завершилась для философа, мы знаем; и знаем точно так же, что участи Сократа подвергался каждый на протяжении всех последующих столетий, включая и наше, двадцатое, кто пытался встать на путь реалистического познания мира, и мне кажется, чад от костров инквизиции до сих пор еще не выветрился с просторов Европы. Бутафорское же противостояние — это противостояние Платона и Аристотеля, противостояние двух учений, двух взглядов на одну и ту же незыблемую (тут мнения философов сходятся) стержневую основу системы господства и рабства, тогда как истинные виновники человеческих бед, то есть правители, порабощавшие народ силовыми и духовными устрашениями, вынесены за скобки, как некие беспристрастные наблюдатели или судьи, или, вернее, исполнители воли Творца, чьи деяния непогрешимы и не подлежат осуждению. Великие греки, может быть, сами того не подозревая, положили начало двум прямо противоположным друг другу направлениям в становлении и развитии исторической и философской наук: сократовское и платоновско-аристотелевское, то есть реалистическое, приводящее лишь к забвению, ибо хищничество не было бы хищничеством, если бы не отстаивало с беспощадностью свои интересы, и бутафорское, когда противоборствуют учения в схватке за право официального прислуживания тронам. Мне могут возразить, что я почти не рассматриваю сократовскую линию познания, тогда как сократовский драматизм — это не просто драматизм личностей, но столь же явление истории, как и все, что происходило и происходит с нами; однако если сопоставить влияние отвергнутых и канонизированных идей и теоретических разработок на жизнь, то такое влияние просто-напросто несопоставимо; в первом случае перед нами открывается лишь трагизм борьбы, которая неминуемо завершается поражением истины, тогда как во втором предстает трагизм жизни, являющийся плодом тех канонизированных закономерностей, канонизированных теоретических формул и разработок, на которых базируется и сегодня вся наша хваленая — от древнеегипетского первородства — система господства и рабства, то есть устройство общественных отношений и общественного бытия. Иначе говоря, мы живем тем, что принимаем, вернее, что нам навязывается властителями и становится основой общественных (господство и рабство) отношений, но отнюдь не тем, что отвергается, порочится, втоптывается в грязь (все теми же властителями), хотя по реалистическим подходам и воззрениям могло бы явиться если не абсолютной, то по крайней мере давно искомой и желанной (для коренного переустройства жизни) истиной; мы, наконец, должны твердо усвоить, что все-все, в каком бы видимом противостоянии ни находилось по отношению к тронам, к власти вообще (даже христианское учение, объявившее устами Христа, что всякая власть есть зло), — все-все, что получало и продолжает получать историческое значение, во все времена если не прямо, то косвенно служило и продолжает служить обитателям дворцов и храмов; еще не было столетия или десятилетия, чтобы ревнители престольного долголетия и престольного чужеродства (я имею в виду не только тех, кто, рассредоточившись по миру, восседает сегодня на престолах, но и тех, кто составляет окружение сих самокоронованных особ и кормится от них) ослабили надзор за тем, какие из теорий подлежат признанию и канонизации, а какие должны быть преданы глухому забвению, и тут я хотел бы снова привлечь читательское внимание к эпохам Возрождения, протестантизма, великих революционных бурь и потрясений. Ведь, несмотря на очевидную вроде бы нестабильность тогдашней политической обстановки, когда один за одним падали троны и запущенная Робеспьером гильотина, разбрызгивая господскую кровь, казалось, вот-вот сведет в могилу и сами понятия «власть», «барство», «насилие», «поработительство», традиционная (троннозаданная) закономерность в коронации на историческую истину толкований общественного бытия не была нарушена; она устояла, хотя именно этот отрезок новейшей истории, в центре которого заметно возвышается самая, можно сказать, примечательная по сочетанию популистских проектов и царедворского прислуживания фигура Вольтера, отмечен небывалой политической и социальной, а в сущности, философской активностью. Деятели, жаждавшие мировых перемен, облачась в тогу вождизма, то есть в монар-

шее (хотя и бескоронное) поводырство, выступали одновременно и в роли философов, дающих «правильное» толкование своим деяниям (что для российской действительности особенно характерно); сами творили, сами и оценивали, что творили, и из этой фальши, которая не столько была очевидной тогда, сколько очевидна теперь, складывался определенный образ сих революционных вождей, которые, как обученные козлы на бойнях, встав во главе возмущенных масс, ввергали их в братоубийство и, увенчавшись «славой» победителей (над кем, над чем?!), уходили во власть со всеми ее монархическими институтами насилия и порабощения; господа водворялись во дворцы и замки, народ возвращался к хижинам, а человечество в целом, «насытившись» новизной кровавых идей, вновь на столетия засовывало голову под крыло исторического невежества. Возможно, не все обстояло так, как я попытался изложить здесь, находились деятели, которые стремились к истинному переустройству общественных отношений; но мы мало что знаем об этих искренних борцах за переустройство мира, а если определенной, не знаем ничего, что могло бы приоткрыть завесу умолчания; иногда складывается впечатление, что их вроде бы и вовсе не было, а действовали только упоенные вождизмом поводыри, бравшиеся (в сговоре или в гармонии со всеильным — от древнеегипетского первородства — стержнем господства и рабства) вывести народы на тропу нового глобального обмана, что, собственно, и удалось им, если судить по итогам совершенных ими деяний. Ни протестантизм, ни эпоха великих революционных бурь и потрясений не изменили традиционную картину мира; новоповодыри от революций только выпустили, если так можно выразиться, пар, то есть гнев веков, накопившийся в народах, но, по сути, ни на шаг не приблизили человеческое сообщество к решению коренных вопросов мироустройства, а это означает, что бросавшиеся в массы освободительные идеи (теории) имели только видимость революционных, тогда как на самом деле предопределяли лишь захват и перезахват власти. Именно эти так называемые революционные теории (идеи) оказались не просто живучими, но узаконенно-живучими, они как бы получили статус запасной (в системе престольного долготетия и престольного чужеродства) державности, когда уже не важно, кто правит: личность или клан личностей, то есть олигархия банковско-промышленных воротил или олигархический клан от народа, якобы от народа, но важно, что наделившая или, вернее, самонаделившая (при доверчивости и доброте простолюдинов) себя бессмертием система господства и рабства остается незыблемой, а мир, опутанный сетью престольного чужеродства, — той благодатной для «богоизбранных» нивой, с которой как они кормились во времена фараоновских пирамид, так и продолжают кормиться и теперь, расширив свои прежние нильские пределы до размеров всеземного, всеглобального масштаба. Как раз этим-то идеям, в которые мы продолжаем верить как в спасительные, этим теоретическим разработкам, способным, истощив в братоубийственных схватках силы простолюдинов, восстановить любые утраты правителей, — этим-то так называемым революционным идеям не дают завянуть и умереть, они живы и поддерживаются властителями для того, чтобы, во-первых, предупредить появление действительно революционных идей, не склонных ни к предательству, ни к компромиссам (когда-то же народы, освободившись от ленисти ума и ротозейства, найдут свой рычаг управления), и, во-вторых, чтобы в критический для системы господства и рабства период (для престольного чужеродства, окольцевавшего мир своим железным обручем) можно было вновь, прибегнув к испытанным уже так называемым революционным теориям (идеям), то есть прибегнув к оправдавшему себя в новой и новейшей истории обману, подтолкнуть людские сообщества к братоубийственной бойне и сохранить свое престольное (богопредначертанное) бессмертие. Да, такова реальность жизни, и никакие нимбы вокруг ликов ее ведущих деятелей, увенчанных якобы неувядаемой исторической славой, никакие их изваяния на гранитных и мраморных пьедесталах не могут изменить суть происходившего и происходящего; они лишь, с одной стороны, заслоняют исторический горизонт, чтобы, оглянувшись, человечество не смогло увидеть ничего, кроме этих поводырских ликов и фигур, а с другой — не позволяют достой-

но спрогнозировать будущее, каким бы его хотелось видеть веками угнетавшимся народам. Выше мы уже говорили, что между исторической и философской науками и церковью нет разногласий ни в оценках, ни в исходной заданности мироустройства (по церковным канонам — все от воли Творца, по мирским, то есть «научным», — от естественной или природной закономерности); точно то же можно сказать о троизмах с их откровенным тронприслужничеством и революционных теориях (идеях), троннопринятых в услужение, и надо отдать должное наследникам фараоновской державности, умеющим на столетия вперед просмотреть и спрогнозировать защиту своих тронных интересов. Церковь из столетия в столетие отстывает одни и те же бессменно прислуживающие системе господства и рабства догмы о сотворении мира и спасительной силе смирения перед волей Творца, а по сути, перед волей земных господ; историческая и философская науки хотя и не имеют вроде бы столь же четко сформулированной догмы (в чем, собственно, и заключена суть их обмана), но в то же время если из всех известных исторических и философских работ извлечь их стержневые основы и, соединив, присмотреться к ним, то можно без труда заметить, что все они суть ветви одного и того же древа фараоновской власти и что «научная» разногласица — это лишь вариант единоутробного (малинового, как учат нас воспринимать его) перезвона церковных колоколов, зовущих к заутрене или к обедне.

XXXIII

Историческая и философская науки и церковь — это две замкнутые в себе системы влияния на умонастроение людских масс в бесконечно бурлящем котле человеческой жизни, и автономность их (автономность от народа, но не от правителей) столь велика, что они позволяют себе, не сбываясь с узаконенной для себя стези служения тронам, стойчески противостоять любым хаотическим (революционным, по принятой нами терминологии) явлениям общественного бытия. Секрет же такого стоицизма, мне кажется, следует искать не в силе и убедительности церковных догм или «научных» формулировок, то есть не в учениях (текстах), якобы вобравших в себя пращурную мудрость веков, а в той убежденности, основанной на многотысячелетнем служении тронам, что все-все даже после самых страшных, кровавейших катаклизмов возвращается на круги своя и что история и философия, как и церковь, всегда являвшиеся столпами престолов, не могут остаться не востребованными новой, пришедшей властью, — да, в этой убежденности, что востребование состоится, что система господства и рабства богопредначертана, что иного просто-напросто не дано человечеству и что как для отцов церкви, так и для мужей науки важно, чтобы были сохранены ими честь и достоинство прислужников. В стоицизме церкви, как и стоицизме гуманитарных наук, многие склонны видеть величие подвига; что ж, можно и так посмотреть на дело, если персонифицировать драматизм отдельных событий, игнорируя драматизм общей закономерности, именуемой в народе круговой пбрукой, когда либо правители, чтобы поддержать престиж церкви и нужных (гуманитарных) наук, подают им спасательный пояс, либо, напротив, церковь и гуманитарии подают спасательный пояс правителям, чтобы не дать утонуть им. Так что при смене социальных систем (якобы социальных систем), когда одни династические правители от стержня господства и рабства заменяются столь же династическими все от того же — древнеегипетской первородности — стержня хищнического мироустройства (хищнической культуры и хищнической цивилизации) и на волне подобных (революционных) переустройств возникает потребность замены устаревшей идеологической машины духовного подавления на более отвечающую вроде бы потребностям масс, а в сущности, потребностям правителей в их поработительских и закабалительских деяниях, — в такие периоды смут и потрясений, как ни покажется это странным (но ведь факты истории, они неумолимы), никогда до конца не уничтожались ни церковь с ее догматами, обрядностью, иконостасами, ни академии с их хранилищами не столько вековой, пращурной мудрости, сколько изошренного, доведенного до совершенства (до нераспознаваемости) искусства угожде-

ния и прислуживания тронам. Нет, нет, институты духовного подавления, призванные удерживать массы в невежестве и во лжи, никогда не разорвались ниже того видимого предела, который удовлетворил бы массы, фундаментальная, стержневая основа их оставалась нетронутой, чтобы было от чего, как только требуется необходимость, а она рано или поздно, как показывает история, появляется, возрождать влияние церкви и гуманитарных наук; общество в такие периоды, стремясь (разумеется, с подачи и под эгидой правителей) постичь истоки своего бытия, возвращается, по сути, к учениям Платона и Аристотеля, а вслед за ними — и ко всему иконостасно и пьедестально утвержденному перечню доантичных, античных и постантичных светил знаний, чтобы, пройдя вместе с ними (в одночасье, можно сказать и так, сжав пространство веков) весь исторический путь становления и развития человечества и не найдя там ничего, кроме тронноугодных фиксаций и разработок, смириться, как и все мы смиряемся перед иконостасами и пьедесталами, с мировосприятием и толкованием «великих» поводырей человечества. В период английской так называемой буржуазной революции, как и во времена французских с их конвентом, робеспьерской гильотиной и наполеоновскими захватническими походами, завершившимися ссылкой кумира на остров Святой Елены и водворением на престол очередного Людовика, и во времена российских, обозначившихся тиранствующим вождизмом и пролитием пролетарской, крестьянской, дворянской крови, — в период всех этих смут, когда простой люд, поднятый для загона в очередную ловушку, бесчинствуя над собой, искал правды и справедливости, католическая и православная церкви ни на день (с разными возможностями, ибо и тут не обошлось без погромов, разорений, разграблений и казней) не прекращали своей замкнутой в догматических представлениях о мире службы; в бушевавших мирских страстях они казались тихими, благодатными анклавами, оазами духовной жизни, приютами спокойствия и умиротворения, тогда как истинное предназначение этих благочестивых анклавов было совсем иным, им важно было сохраниться со всей своей наработанной за тысячелетия атрибутикой служения тронам до будущих «хороших» времен, а благопристойный консерватизм их, подававшийся прихожанам как спасительный консерватизм народной жизни, на самом деле являл собой спасительный консерватизм бесчисленно-вековой фараоновской державности; им важно было сохранить ядро или, вернее, надежду на новое возрождение престольного долготлетия и престольного чужеродства (в конце концов ведь только ключ к бессмертию дает право на высшую власть), и эта надежда церковников, как подтверждает история, трижды, да, именно трижды после всех трех европейских революций оправдывалась с лихвой. Церкви троекратно приумножали богатство, хотя влияние их на массы, увы, утрачивало значение и масштабы; оно и по сей день не восстановлено в прежнем объеме, и, думаю, если судить по пробуждению людских масс (хотя и медленному, но пробуждению от исторического невежества), вряд ли без властной воли правителей, то есть без определенного насилия, будет когда-либо восстановлено до конца. Точно то же, почти один к одному, происходило и с историей и философией; в то время как за стенами академий бушевали революции и народ, которому изначально будто бы поклялись служить мужи науки (во всяком случае, так они продекларировали свою роль, или, скорее даже, не сами они, а запущенная и неостановимо работающая до сих пор пропагандистская машина власти), истекал кровью в схватках за переустройство жизни, — в стенах академий эти самые «надежда и опора» людских масс, их «ум, честь и совесть» (оценки эти интеллигенция и сегодня оставляет за собой) спокойно, углубляясь в доставшуюся им по наследству пращурную мудрость, перелопачивали прах веков в поисках некой будто бы абсолютной (бывшей абсолютной, но утраченной) истины и, не найдя ничего лучшего, чем разделить на приверженцев Платона и Аристотеля (тут нельзя удержаться, чтобы не привести народную поговорку: «Что в лоб, что по лбу»), принялись выращивать на основе учений великих греков свои, отдающие вторичностью, третичностью и т. д. основополагающие труды современности. Я не собираюсь перечислять здесь «революционные» теории, которые вырастали и продолжают вырастать, как гри-

бы на сдобренной теплыми ливнями почве, и суть которых сводилась и сводится все к тем же учениям Платона и Аристотеля да и к церковным догмам о сотворении и незыблемости «богопредначертанного» миропорядка; даже вершина вольнодумства — Вольтер, если по большому счету, не посмел перешагнуть этой черты, не говоря уже об учении Маркса, об этом пущенном побродить по Европе «призраке коммунизма», основанном на пропагандистских догмах Христа; цель этих замкнутых в себе анклавов исторической и философской святости ничем не отличалась от церковных, они точно так же ждали своего часа для тронноугоднического возрождения, но, чтобы создавать хоть некую видимость движения, отшлифовывали всякого рода трюизмы, опираясь главным образом на трюизм древнеегипетских оракулов, и, может быть, самым характерным здесь примером является трюизм временного единства несовместимых, по сути, веков в развитии человечества — каменного, бронзового и железного, — и я не случайно вновь возвращаюсь к этой ключевой (расистской) теории, которая, повторяю, хотя и отвергнута вроде бы официальной историографией, но политическое (да и житейское, разумеется) влияние ее остается сильным, коварным и разрушительным.

XXXIV

Мы хорошо представляем себе церковные храмы с их атрибутикой богачества, обрядности, службы (хотя сам Спаситель жил и завещал жить скромно, делясь материальным и духовным достатком с братьями по вере) и так же хорошо, как мне думается, представляем, приводя к некоторому усредненному стандарту, залы и апартаменты царских, императорских, королевских академий, в которых уединенно, почти келейно, можно сказать и так, то есть тщась толпы, способной по житейской своей простонаравности усомниться в глубине их «учености» и «мудрости», творят ученые мужи, но суть их академических бдений опять же, если судить не по частностям, которые сами по себе, как явления, могут быть и впечатлительными, и значительными, а по общей, стержневой закономерности, — суть их бдений сводится к единому закону поддержания и укрепления (опосредованно, путем целенаправленного искажения исторических фактов под диктовку правителей) тронного всегосподства. Может быть, с доисторических еще времен, а может, начиная от сорокавекового династического царствования фараонов Египта, открывших закон престольного долголетия, «богоизбранность» властителей так ли, иначе ли находила отражение и поддержку у иерархических светил знаний; на ней, то есть на идее «богоизбранности», хамелеонно заменялись одежды, доходило до того, что корень ее предлагалось видеть (искать) чуть ли не в народной жизни, из которой будто бы вырастали и продолжают вырастать «великие поводыри наций», хотя на поверку, как это случилось с Ломоносовым, да и с большинством других кумиров, в родословной их всегда отыскивалось что-то от дворянской, княжеской или царской ветви; мы не только никак не можем отойти от Аристотеля, поделившего людей на носителей духа и обладателей плоти, но, развивая это тронноугодническое (еще, правда, не расистское, но прокладывающее путь к нему) учение античного мыслителя, поднялись, по сути, на уровень разделения наций на носителей духа и обладателей плоти, то есть на ведущие, развивающиеся и отсталые, непригодные вроде бы даже для рабского труда народы. Не исключено, что и сей трюизм, рождавшийся в интересах познания человеческого бытия, был почти тут же приспособлен к теории (идее) «богоизбранности», как к скелетной основе миропорядка, являвшего собой зеркальное, да, зеркальное до мелочей отражение фараоновской системы господства и рабства с ее спрутоответвлениями, четко проявляющими себя и сегодня в укреплении престольного чужеродства и престольного долголетия; ученым мужам, зависевшим от тронов и кормившимся от них, нетрудно было сделать это, сохранив, с одной стороны, как уже говорилось, свой имидж, то есть видимость научного поиска и продвижения (все-таки уже не от промысла Божьего, а от народа, народов, от их жизнедеятельности начинался теперь отсчет истории, пусть хотя бы и во временном единстве, но все же в трехслойном измерении: век каменный, век

бронзовый, век железный), а с другой — провести еще более четкое и обоснованное (расистское) разделение наций, народов на ведущие (чем не «богоизбранность»!), развивающиеся и отсталые; три с лишним столетия беспредельно господствовал этот триумф как в официальных историографиях, так и среди ведущих мыслителей того беспокойного времени, как, впрочем, господствует и ныне среди политиков и народов и в нашем вновь почти вплотную подошедшем к границам смут и потрясений столетии. О чем может и должно говорить нам это? О недомыслии светлейших иерархов знаний, об их оплошностях или ошибках, их академической слепоте или тронозаданности — понятия, от которого историки и философы словно бы шарахаются в своих трудах, как от некоей духовной чумы, способной парализовать их «научную» деятельность и подвинуть массы к великому беспокойству и возмущению? Думаю, ответ может быть только один — о тронозаданности, ибо нет власти без «богоизбранности», нет мирового господства без «ведущего народа», «ведущей нации», «ведущей державы», как нет и веры в «богоизбранность» без определенных, «научно» обоснованных правдоподобных оправданий (престижно ссылаться здесь на успехи естественных наук, на достижения в области культуры, искусства, наконец, на государственность, этот механизм насилия, порабощения и рэкетиризма в его фараоновском варианте, который преподносится нам как выдающийся дар цивилизации от древних египтян); мы уповаем на науку, полагая, что в исследовании общественных отношений и общественного бытия наконец-то будет достигнут желанный результат, тогда как ученые мужи, привыкшие за тысячелетия господства и рабства ходить затылком вперед, хоть бы раз за все эти прошедшие эпохи позволили себе оглянуться на будущее. Им казалось, как, впрочем, кажется и теперь, что человечество уже никогда не сможет свернуть с тропы господства и рабства, тропы хищничества, что оно обессилено, что в мире давно уже подчинено все двум властным машинам воздействия — машине военного устрашения, то есть устрашения разорением и изничтожением народа, и духовного зомбирования, то есть оглушения и выхолащивания самобытности и осознания достоинства не просто у отдельных личностей, но у целых людских сообществ (характерным для нашего времени становится еще одно воздействие — экономическое, то есть вроде бы бескровное удушение голодом непокорных людских масс); мир, по сути, настолько завяз в паутине фараоновской державности (при бездушии престольного чужеродства к поработанному народу), что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы просчитать это, а потому и ученые мужи не утруждали себя просчетами относительно будущего человечества; будущее, они наперед знали и знают это, поскольку работали и работают на это, — будущее во власти тронов, власти золотого тельца, власти олигархических (династических) кланов, во власти насаждаемого среди народов и государств престольного (по фараоновскому завету) чужеродства. У меня нет подлинной картины академических бдений, когда почтенные светила знаний, собираясь в залах, иконостасно увешанных портретами их предшественников, чинно усаживались за круглым или удлиненным столом с видом людей, познавших всю мудрость жизни, и каково должно было быть их душевное состояние, насколько упакована в гробы умолчания их «ученая» да и просто человеческая совесть, когда приступали к обсуждению насущных вопросов человеческого бытия? Рассажанные по летам и значимости (как в нашей прежней боярской думе, только не по длине бород, а вроде бы по глубине ума, пышности и белизне париков), они напоминают мне (да пусть простится подобное сравнение) гребцов в лодке с рулевым-монархом: в одинаковых мантиях, с одинаковыми веслами, одинаково равнодушными лицами, одинаково прилагающими усилия лишь к тому, чтобы грести, грести, грести — к трону мирового господства и полному закабалению человечества. За стенами академий, как и за церковными стенами, народы, пытаюсь сбросить с себя бессчетно-вековое ярмо рабства, бились за свободу, равенство, братство, они готовы были идти по колена в крови к своему благоденствию — с такой силой распрямлялась теперь пружина, сжимавшаяся века, а в среде академиков, как и в среде церковников — ни один волос не дрогнет на их надушенных париках, они спокойны, величественны, их

мудрости нет предела, у них своя жизнь, жизнь в науке (как и жизнь в высших или по крайней мере чтимых придворных кругах), и совсем не важно, каким светом были озарены их лица, свечным или (уже на исходе эпохи великих революционных бурь и потрясений) электрическим, — озарение это, как и «научная» стезя, избранная ими для «познания» бытия, отдавало лишь угрюмым равнодушием веков, склепной стужей пирамид, свято хранящих в себе и по сей день исток (или, вернее, источник бессмертия) власти и государственности. Археологи между тем, перелопачивая восточно-присредиземноморские и нильские земли, земли античной Греции, отправляли в музеи Лондона, Берлина, Парижа все новые и новые находки — доказательства того, что не от сотворения мира, не от всемирного потопа (Ноева ковчега) началось становление и развитие человечества (как и всего живого и сущего на Земле); в хранилищах грудями накопчивались предметы труда (охоты), быта древнейших народов; представлявшие собой величайшую ценность в познании истории человечества, его эволюционного (на первом этапе) развития, они хаотически складировались, как складировались обычно старые, залежалые товары до неких будто бы лучших времен, когда их можно будет пустить в дело, и вместо того, чтобы проторить дорогу к этим посланцам древности и, систематизировав их, начать, наконец, не мнимое, а подлинное исследование глубин людской жизни, ученые мужи протаптывали дорогу к императорским, царским, королевским дворцам и там, в атмосфере монаршей и придворной жизни — «чего изволите?» — искали и находили, вернее, подтасовывали угодные тронам ответы на вопросы исторического бытия царств, царей и народов. Да им, собственно, и нечего было искать и подтасовывать, они лишь прикладывали то платоновский, то аристотелевский трафареты к властным потребностям своих эпох, и на плечи их накидывались черные академические мантии, головы покрывались душеными париками, и они спокойно, с ореолом нетленного подвижничества «от науки» могли доживать до глубокой старости, как доживают патриархи в церковной святости, заранее уже зная цену своим чудотворящим мощам. У меня нет другого объяснения этому, мало сказать, странному поведению (или распорядку жизни) мужей науки, которые, встав вроде бы на путь служения человечеству, принялись на деле столь откровенно, в веках, прислуживать тронам; вместо мира познания человечество получило с их помощью мир мифов и слепоты, мир символов и предположений, не имеющих или почти не имеющих никакого отношения к реально творившимся и творящимся (от произвола властей, произвола человеческого разума) деяниям; не чем иным, как откровенным тронуугодничеством, нельзя оправдать и пристрастие академических светил к расистскому трюизму временного единства, который они более трех столетий отстаивали с упорством глубоко убежденных и всесторонне образованных людей (отстаивали, разумеется, вариант новейшей «богоизбранности»), и я не допускаю мысли, чтобы сии иерархи исторической и философской наук не понимали, что делали; нет, нет, все понимали, им доступны были и ложные, и истинные знания, и они выбрали то (сознательно выбрали), что выбрали.

XXXV

Тот, кто решится внимательней присмотреться к становлению и развитию исторических и философских наук (да и не только их, но и естественных, точных), сможет без труда заметить, что открытия в познании мира делаются не только Платонами, Аристотелями, Августинами, Ньютонами или Вольтерами, отирающимися у тронов и получающими достаток от них, но что многое, что затем провозглашается единым объективным законом природы, рождается не в результате официального, я бы назвал его так, начетничества, то есть не из монарших нужд и повелений, а из опыта обычной народной жизни; мог бы, заметив это обстоятельство, выделить определенную историческую закономерность, из которой было бы ясно, что открытия от житейщины, то есть без оглядки на власть и без прислуживания ей, всегда стоят ближе к истине, но что открытия от царедворства, то есть по определенной, часто неуловимой, нераспознаваемой заданности, лежат в русле обмана, русле лжи, призванной лишь

усугублять историческое невежество людских масс. Трюистическая теория временного единства, выношенная, можно сказать, выпестованная, в стенах королевских академий (в том числе и на основе постулавших археологических находок, которые осматривались мужами науки не столько пристально, сколько — для порядка, чтобы создать видимость заинтересованности), — мало того, что оказалась несостоятельной, но оказалась еще и расистской, то есть тем новым вариантом «богоизбранности», необходимой властителям для укрепления их престольного чужеродства и престольного долголетия, который коронованные особы всегда предпочитают иметь под рукой, как атрибут царского достоинства, атрибут духовного подавления; трюистическая же теория поэтапного развития, не связанная ни с расизмом, ни с тронугодничеством, главная суть которой — равные стартовые условия от зарождения жизни на всем изначальном (эволюционном) пути становления личностей и сообществ, была предложена не академиком, тем более не сонмом академиков, а простым смертным — Христианом Томсеном, сыном достаточно преуспевавшего для своего времени копенгагенского торговца и судовладельца. Молодой Томсен не состоял в академиях, не штудировал труды историков и философов; он готовился продолжить дело отца, и главным источником познания была для него окружавшая его действительность, то есть та самая житейщина (народная простота взгляда и простота восприятия), которая при всей своей, казалось бы, ненаучности обладает куда большим свойством реальных посылок и реальных оценок, чем любое из известных миру философских и религиозных учений. Я не буду пересказывать здесь биографию Христиана, она известна, хотя, может быть, и не в той степени, в какой следовало бы растиражировать ее на просветительском поле исторических и философских знаний; он не причислен ни к ряду иконостасных, ни к ряду пьедестальных светил, хотя, как никто другой, имел и имеет на это право (в конце концов ведь непризнание одних заслуг всегда оборачивается признанием других, часто более важных и значимых), его стезя ученого, а ниже мы увидим, что это так, является стезей действительно неподдельного подвижничества ради истины (научной истины), которая, открывшись ему самым неожиданным образом, держала затем в напряжении до конца дней и побуждала бороться за нее. Датский консул, вернувшийся из революционной Франции в Копенгаген, возбудил своей нумизматической коллекцией в Христиане страсть к собиранию диковинных находок, коими в то время археологи заваливали музеи и хранилища европейских столиц; во время обстрела адмиралом Нельсоном Копенгагена, когда в городе возник пожар, он вместе с другими копенгагенцами кинулся спасать сокровища датского Национального музея, и знакомство с главным смотрителем этого музея Ниерупом окончательно решило судьбу молодого Томсена. Когда постаревший Ниеруп, оставивший по себе память тем, что не только сумел сохранить (а времена были суровые, времена наполеоновских войн), но и приумножить и без того сказочные богатства Национального музея (да, это тоже был своего рода великий коллекционер и великий музейный труженик), — так вот, когда Ниеруп почувствовал, что не в силах уже заниматься своим любимым делом, делом, по существу, всей жизни, он порекомендовал городским властям назначить на должность главного смотрителя Национального музея Христиана Томсена. Теперь трудно сказать, действительно ли он сумел разглядеть в молодом энтузиасте будущего великого ученого, который, открыв теорию поэтапного становления и развития человечества и противопоставив ее всем королевским академиям тогдашнего западного мира, нашел силы и мужество одержать верх и прославить в истории свое имя, или просто увидел в нем рачительного хозяйственника, каковыми были истинные торговцы в те ушедшие теперь в небытие столетия, и посчитал, что для сохранности ценностей нет более надежного человека, чем деловой, умный и предусмотрительный Христиан (раньше при подобных назначениях заглядывали и в родословную кандидата), — но городские власти согласились с Ниерупом, и сын торговца, то есть будущий судовладелец, не без гордости занял пост главного смотрителя. Первое, что поразило Томсена, когда он начал принимать дела, — это обилие исторических находок и экспонатов, которыми буквально были забиты

помещения музея. Прежний смотритель не успел каталогизировать их, они лежали грудями, представляя собой пересортицу эпох, эр, и я не знаю, что предприняли бы ученые (академики), окажись на месте Христиана (скорее всего ничего, ибо у них была возможность привести все в порядок, но ведь они торили дорожки не к уникальнейшим археологическим находкам, не к музейным хранилищам, а к императорским, царским, королевским дворцам), но не ученая мудрость, а мудрость простого кладовщика подсказала Томсену, с чего следовало бы ему начинать свою музейно-смотрительскую деятельность. Он распорядился соорудить деревянные стеллажи — по типу тех, какие привычно было ему видеть в портовых складских помещениях, затем разложил на них имевшиеся экспонаты по принадлежности к материалам, из которых они изготовлены: из камня в одну сторону, из бронзы — в другую, из металла — в третью; затем, вслед за этой изначальной систематизацией, провел вторую, более утонченную, выделив из общего набора предметов каменного века орудия труда, охоты, быта, сосуды, в которых прашуры могли хранить припасы, инструменты, украшения, атрибуты культовых отправлений; точно так же поступил с предметами бронзового и железного веков, не помышляя пока что ни о какой научной заданности, а стремясь лишь к складскому порядку, коим всегда отличались копенгагенские купцы и судовладельцы. Биографы Христиана отмечают, что уже в процессе работы, этого так называемого «наведения порядка», молодой музейный смотритель начал осознавать, что стоит перед чем-то более значительным, чем только каталогизация исторических (часто диковинных) находок, и что страсть к коллекционированию, в свое время переданная ему вернувшимся из революционной Франции датским консулом, — это только шаг к тому, что могло, он чувствовал это, стать действительным делом всей его тогда, по существу, только начинавшейся жизни. Он часами расхаживал вдоль стеллажей, всматриваясь в экспонаты, — странный, задумчивый, как замечали современники, а затем и толкователи его жития, словно придиричивый кладовщик, в десятый, в сотый раз проверяющий наличие и нумерацию товаров; предметы старины, особенно если они сохраняют свое первоначальное изящество, всегда поражают людей, и молодой смотритель музея в данном случае не был исключением; но, может быть, оттого, что понимал, что перед ним не просто предметы старины, а зримые свидетельства эпох, бесценные документы истории, благодаря которым, исследуя их, человечество смогло бы с достаточной долей достоверности заглянуть в свое прашурное прошлое, — да, может быть, именно оттого, что понимал, на какую черту познания судьба соблаговолила вывести его, он не стал ограничиваться ни мимолетным туристическим восторгом, ни хозяйской рачительностью, без которой никогда бы не вышло из него ни торговца, ни судовладельца, а начал изучать, с одной стороны, описания находок и экспонатов, где, когда и при каких обстоятельствах они были обнаружены археологами, а с другой — принялся за труды, главным образом современных ему историков и философов, находившихся тогда как раз на пике своей упоенности теорией временного единства. Биографы великих людей обычно любят преувеличивать в текстах поступки своих кумиров; разумеется, Христиан Томсен был неординарным человеком, но при всем уважении к его неординарности было бы опрометчиво полагать, что только через простоту народного восприятия жизни или некое вдруг сошедшее озарение он пришел к тому научному открытию, которое сделало его знаменитым; нет, он шел к этому открытию путем долгих и трудных поисков, и теория временного единства, и экспонаты на стеллажах, постоянно находившиеся перед глазами, были для него равно отправными точками, от которых как раз и начиналась его дорога к познанию исторического бытия человечества. У нас нет доказательств того, что Томсен подвергал всестороннему анализу теорию временного единства и что, усмотрев в ней научную несостоятельность, обратил внимание и на ее расистскую сущность; главный вопрос истории, вопрос становления общественных отношений и общественного бытия, оказался и для него (но уже не по причине тронозаданности) неподъемным; его поразила фактическая ошибка, фактическая слепота академиков, которые то ли не видели, то ли не хотели видеть того, что видел

он, обычный музейный смотритель, часами простаивавший перед стеллажами с разложенными на них предметами древности. Их формы, способ обработки, узоры орнамента, нанесенные на них,— все говорило ему, что у человечества по меньшей мере было три четко обозначенных этапа развития, что изделия из камня выглядят старше, чем изделия из бронзы, а изделия из бронзы, в свою очередь, старше, чем изделия из железа (повторяю, дело даже не столько в самом материале: камень, бронза, железо, это само собой, но в том, как совершенствовались формы и развивался эстетический вкус у людей); дальнейшие исследования в этом направлении привели к тому, что и каменный век был поделен на этапы: палеолит, мезолит и неолит, которые тоже затем были классифицированы как поздний, средний и новый, но великий датчанин сделал только то, что сделал,— обнаружив теоретическую ошибку ученых мужей (конечно, только наивность позволила ему принять тронозаданность за ошибку), он с самыми благими намерениями, полагая, что будет услышан и понят, ибо ведь все мы хотим истины, направил свое разъяснительное послание сначала в датское, а затем и во все другие европейские (академические) святилища знаний.

XXXVI

Мне кажется, ничто так жестоко не наказывается и не наказывалось в этой жизни, как наивность, искренность, простодушие и доверчивость; во всяком случае, смотрителю датского Национального музея Христиану Томсену, как только он обратился со своим посланием к императорским и королевским академиям Европы, сполна довелось испытать силу этой жестокости. Первое его обращение было просто-напросто проигнорировано большинством титулованных светил знаний; оно показалось им не просто недостойным углубленного рассмотрения, но вообще недостойным хоть какого-либо внимания, ибо мало ли кому и что придет в голову написать; наука есть наука, и она не может обращаться на каждый раздающийся чих (разумеется, если это чих не королевский, не царский), и, чтобы «поправлять» науку или совершить в ней открытие, нужно сперва освоить (получить ученую степень или звание) ее фундаментальные основы. У меня нет здесь возможности углубиться в рассуждения о том, что такое «фундаментальные основы» и почему познание их должно приравниваться чуть ли не к апостольскому причастию; ведь историческая и философская науки, как и церковь, еще со времен фараоновских пирамид находятся в служанках у правителей, и все дело в этом, то есть в тронугодничестве, которое как раз и являет собой «фундаментальную основу» или, вернее, мандат на право «научных открытий», поддающихся четкому и строгому контролю бессмертным — от древнеегипетского первородства — стержнем господства и рабства; впрочем, ведь мужи науки и сегодня держатся таким же обособленным анклавом, как и во времена Томсена, и не всякий смертный, желающий вступить в этот анклав, допускается, будь даже семи пядей во лбу, к таинству «апостольского причастия». Вряд ли Томсен знал хоть что-либо об этой анклавной обособленности ученых (еще и еще раз хочу подчеркнуть, что имею в виду лишь область гуманитарных знаний, область духовного — «просветительского» — воздействия на людей); вряд ли, как и все мы сегодня, имел представление о том, что между иерархами от истории и философии и правителями, как и между церковниками и правителями, существует та невидимая, то есть тайная, неафишируемая связь, которую в простонародье, о чем уже упоминалось выше, именуют «круговой порукой», и что только посвященные в этот сговор «столпы» или «светила знаний», коим разрешено (разумеется, согласно сговору) принародно объявлять себя независимыми, даже вроде бы противостоящими тронам и церкви,— только посвященные, то есть пропущенные через «апостольское причастие» (условность этого термина, полагаю, не требует пояснений), могут пользоваться правом на некий «собственный» голос в науке; да, вряд ли Томсен имел хоть какое-либо представление о том, что любая из наук, в том числе и точных, есть ни больше ни меньше как закамуфлированный под самостоятельность департамент от власти и что все, что принимается и утверждается этим департаментом, есть официальное выражение (или проявление) по-

требностей власти (для нас, кстати, осложненное еще и престольным чужеродством). Многие и сегодня склонны считать, что ученые Берлинской, Лондонской, Парижской академий, встав грудью за свое детище — «Трюизм временного единства», — взялись всего лишь защитить честь мундира, тогда как в действительности посягательством на этот трюизм затрагивались интересы тронов, а если конкретнее — стержневой основы их власти, основы их престольного долголетия, испокон базировавшегося на теориях (вариантах теорий) «богоизбранности», так что тут уж не до чести мундира, хотя бы и академического, когда является попытка подрубить под корень саму же суть захватившей господство системы хищнического, от фараоновской державности, миропорядка. Томсен, если с позиций реализма посмотреть на его поступок, выступил не против недомыслия или недоумия академиков, которые более трех столетий, увенчавшись лаврами изобретенного ими (гениально изобретенного) трюизма, тихо, мирно и величественно кормились у своего академического стола, но против насаждавшегося от тронов исторического невежества, и вполне естественно, что в ответ на свой одиночный, хотя и достаточно прицельный выстрел он должен был получить трехслойный, да, по существу трехслойный шквальный огонь: от академиков как стражей и прямых исполнителей воли императорских, царских, королевских дворов, от общественности, то есть якобы от общественности, к мнению которой, признавая его арбитражным, обычно и сегодня прибегают правящие дворы, и от прессы, древнейшая профессиональная роль которой, как бы оскорбительно ни прозвучали сказанные здесь мною слова, сродни известной древнейшей профессии рода человеческого. Но Томсен не унимался. Он разослал ведущим историкам и философам персональные приглашения, чтобы, прибыв в музей, они могли воочию убедиться, насколько правомерным было его предположение относительно поэтапного развития человечества, но копенгагенского энтузиаста и тут ожидала глухая стена; тогда-то он и решился опубликовать, то есть предать гласности, и свое научное открытие, и отношение к нему тогдашних европейских светил знаний. Конечно, я понимаю, ничто историческое, в том числе и поступок Томсена, не подлежит произвольному толкованию; мы не знаем точно, к кому обращался и на что надеялся смотритель датского Национального музея, начав публикацию своих научных изысканий, может, хотел всего лишь через общественность вразумить ученых мужей и побудить их к признанию истины, как это многие пытаются делать и сегодня, полагая по простоте душевной, что разоблаченная ложь непременно обессиливает и отступает перед обнаженной (обнародованной) правдой, или, что тоже возможно, двигало им чувство оскорбленного достоинства, о чем говорит заостренная полемичность его первой, да и последующих работ, выходявших как в периодических изданиях, так и отдельными брошюрами, но, какими бы ни были надежды и планы, они обернулись для Томсена лишь еще большим разочарованием. Он, по сути, только подбросил дров в топку, и пламя схватки, раздутой им, уже не могло смертельно не опалить его. В течение почти сорока лет его планомерно изничтожали и как ученого, называя самоучкой, самозванцем, торговцем, взявшимся не за свое дело, представляли сумасшедшим, полоумным, свихнувшимся на своей так называемой «стеллажной истине», изображали неким монстром, напавшим на беззащитных академиков (журналистский прием этот, кстати сказать, когда агрессивность волков приписывается овцам, а беспомощность овец — волкам, — прием этот и сегодня не просто в ходу, но в чести среди газетных светил), изничтожали и как человека, готового возненавидеть мир за свои промахи и неудачи, называли злобным, мстительным, опуская при этом научную суть спора, как если бы ее и вовсе не было; особенно неистовствовали немецкие ученые, они грозили даже физической расправой, и к восьмидесяти шести годам, когда к Христиану Томсену все же пришло наконец признание, он выглядел действительно злобным, мстительным, не верящим уже ни во что старцем. С выражением неприкрытого скептицизма он выслушал то, что четыре десятилетия назад принесло бы ему радость, удовлетворение и вдохновение (ведь востребованность усилий, особенно творческих, всегда подвигает на новые усилия); но теперь, когда он стоял на краю

могилы, ничто уже, даже признание научного открытия, не волновало его; современники Томсена с удивлением отмечали, что смотритель датского Национального музея (к этому времени он приобрел хотя и скандальную, но все же славу известного ученого) не поверил тому, что дело его жизни — теория поэтапного развития человечества — стало достоянием науки; видимо, он слишком хорошо знал мир ученых, мир академических светил с их замшелым (тронноугодным) консерватизмом, чтобы поверить в свершившееся чудо; он и в гробу лежал с этим же неверием на лице — неверием, так и не успевшим слететь с омертвевших старческих губ, и сия, может быть, незначительная деталь к общему портрету покойника, уносящего с собой тайну борцовской жизни, если вдуматься, имеет почти пророческое значение. Возможно, Томсен уже тогда понимал больше, чем мы понимаем сегодня; понимал, что в мире хищничества его работа никогда не будет принята до конца и что если ее и объявят официальной исторической концепцией, то потому только, что под напором правды правители (а это не академики, они дирижируют жизнью) обычно предпочитают вовремя уступить, чтобы затем контролировать ситуацию в целом; наука стремительно рванулась к эпохам раннего, среднего, позднего палеолита, мезолита, неолита, нам опять кажется, что мы вот-вот прикоснемся к святой святых зачатия человечества, тогда как в политической, экономической и духовной сферах жизни продолжает действовать все тот же расистский трюизм временного единства, тот же новейший вариант «богоизбранности», согласно которому людские сообщества разделены на ведущие, развивающиеся и отсталые, словно все так было и идет от сотворения мира, от начала веков.

XXXVII

Случай с Томсеном — не единственный, когда за консерватизмом ученых мужей ясно просматривается жесткая длань властителей. Трюизмы рождаются, умирают, вокруг них возникают споры, кипят страсти, а «богоизбранность», как основа долголетия тронов, и унификация культур и смешение народов, как возможность (насаждаемая возможность) престольного чужеродства, за которым, как шлейф, тянется чужеродство во всех других областях и сферах государственной жизни, — «богоизбранность», как ключевой механизм бессмертия власти, бессмертия физического и духовного порабощения людских масс, остается неизблемым; захотим мы или не захотим признать это, но век Богов вопреки всем древнеегипетским пророчествам не завершился на сорокавековом безраздельном господстве фараонов, «поводыри» человечества не могли упустить того, что уже было открыто и опробовано ими в деле закабалительства, и, выходя на просторы обетованных земель, то есть на захват мирового господства, они взяли с собой все, что составляло и обеспечивало их тронное благополучие. В Древнем Египте они действовали через оракулов; их потомки в современном мире действуют через академии, академиков и церкви; сегодня эта машина воздействия доведена до такого совершенства, что не страшится никаких даже самых реалистических трюизмов, ибо любую правду всегда можно заменить правдоподобием, а правдоподобие подтасовать под нужный для бессмертия власти вариант «богоизбранности» личности, народа, народов; да и стена навороченной исторической лжи, подкрепленная незбылемостью церковных догматов, сегодня выглядит столь могущественной, что на одиночных, подобно Томсену, «скалолазов», пытающихся одолеть ее, уже никто не обращает внимание. Ушли в прошлое костры инквизиции, судилища, казни, заточения, гласные опровержения неугодных теорий, раскрывающих истину бытия, истину хищнического мироустройства; теории эти, как и имена их разработчиков, просто-напросто подвергаются умолчанию, их даже близко не подпускают к иконостасному и пьедестальному ряду светил, перед коими человечество дело не в дело должно снимать шапку, чужеродство на престоле, опрокинутое в массы чужеродством просветительства, чужеродством культуры, искусства, экономики, политики, чужеродством военных верхов, всегда готовых на любые жертвы (даже на поражение, как это не раз происходило и происходит в России), дабы, угодив власти, сохранить свое лакейское при дворе значение, — все, все это,

связанное между собой единством тронной цели, как раз и вырастает в ту могущественную стену, которая, складываясь веками, как защитная стена народа (народов), оказалась на деле столь защитной для правителей (нынешних претендентов на мировое господство, готовых воссесть на заветный престол), что они, зная и уповая на ее надежность, уже не страшатся ни социальных бурь, ни теоретических (исторических) разоблачений, и не без некоего услаждающего их фараоновского (из века Богов) садизма позволяют себе откровенное барство на фоне обнищавших, то есть обобранных и закабаленных ими, людских масс. Что значит для них одиночка Томсен, пытающийся преодолеть тысячелетиями возводившуюся ими стену лжи и обмана? Ничего. Духовные конструкции тысячелетий не рушатся в одночасье; упоенные достигнутой властью, правители лишь с усмешкой наблюдают из своих наводненных роскошью дворцов за скалолазами-одиночками, иногда даже поощряют; дескать, давайте, давайте, а мы посмотрим, чем все это завершится, — заранее предвкушая тот трагический конец, какой они с тщательностью палачей уготовили смельчаку; подобное действие теперь даже выносятся на суд толпы (народа), ибо простой люд, и без того уже отягченный историческим невежеством, должен воочию убедиться, что то, что угодно Богу (возведенная могущественная стена, или система власти), непоколебимо стоит и будет стоять века, а то, что поднимается против Божьего промысла, никогда не достигало и не достигнет цели. Теория поэтапного развития человечества, выдвинутая Христианом Томсеном, и в самом деле продолжает оставаться только теорией на бумаге, только «пищей» для новой и новейшей волны академиков, которые, понимая, что ни на шаг непозволительно им отступать от признанной ими по «апостольскому причастию» фундаментальной (тронноугоднической) основы исторического и философского познания человеческого бытия, смогут теперь на столетия с усердием начетчиков погрузиться в очерченные ими палеолиты, мезолиты, неолиты (лишь бы не углубляться к истокам коренных вопросов общественных отношений и общественного бытия), дробя их соответственно на поздние, ранние, средние и доводя до столетий, десятилетий, благо простор для подобных фантазий всегда держится открытым; так мужи науки «трудились» над учениями Платона, Аристотеля, над «Всемирной историей» блаженного Августина («Историей четырех империй»), семь веков сряду доказывая или, вернее, подтвуждая ее научную и божественную обоснованность, так «трудились» над трюизмом временного единства, убажая «богоизбранные» притязания европейских, да и не только европейских монархов, а теперь, схватившись за Томсена и переведя его четкие и ясные формулировки в рутинную вязь занаученных версий и предположений, не дают, во-первых, оборваться своей стезе стражей и прислужников тронов и, во-вторых, делают все, чтобы размыть елико возможно самую суть совершенного открытия. Вот и выходит, что трюизм временного единства вроде бы похоронен для ученых, но он торжествует среди политиков и государственных деятелей; ведущие нации, ведущие государства, то есть захватившие и узаконившие свое ведущее (богоизбранное) положение, диктуют миру условия жизни, а это означает, что расизм, отвергнутый на словах, жесточайшим образом осуществляется на деле. Что в этой ситуации могут смельчаки-одиночки? Ничего. Их не слышат низы, с ними не считаются в верхах, и они уходят, сметенные ветром забвения, в умиротворенную тишину безвестных могил. Сколько разбросано таких могил по земле, никто не знает; люди, подобные Томсену, не создавали себе ни склепов, ни пирамид, их труды остаются не востребованными, в то время как человечество жаждет истины; да, мы все жаждем истины, и может быть, потому что она словно бы ускользает от нас, как ускользают века вспыхнувших и неосуществленных надежд, вновь и вновь готовы принимать щедро подбрасываемые нам с тронных духовных кухонь некие правдоподобные или скорее близкие к правдоподобию версии о сотворении мира и началах бытия, и блуждаем среди этих версий, натываясь на тупики, возвращаясь, и вновь, поверив в очередную ложь, оказываемся перед непроходимой стеной, как слепцы, ведомые злыми поводырями в мир провальной духовной пустоты. Наверное, история с Томсеном и открытой им теорией поэтапного развития человечества

была бы неполной, если не упомянуть здесь о другом, параллельном явлении, то есть о двухэтапной — бесклассово-классовой — теории, которая, возникнув почти одновременно с академическим трюизмом временного единства, как-то не получила в свое время должного признания; о ней вспомнили и вытащили ее на свет, как мне кажется, именно в связи с обнародованием работ смотрителя датского Национального музея. Хотя эта теория сама по себе и не отвергала теорию Томсена, как не поддерживала и не опровергала нужную тронам «богоизбранность», но, внесенная как альтернатива опасному (опасному с точки зрения правителей) открытию датчанина-самоучки, должна была потеснить истину и внести раскол в умонастроения ученых и общественности. У меня нет возможности вдаваться в подробности этого заочного уже, можно выразиться и так, противоборства двух теорий, я констатирую лишь факт, вернее, посттомсенское явление, в котором, однако, и сегодня все еще не поставлена та точка, когда бы, с одной стороны, обнажилась бессмысленность, а с другой — тронозаданность продолжающихся и донныне на базе ложных посылок исторических споров.

XXXVIII

Двухэтапную теорию бесклассово-классового развития человечества вполне можно назвать трюизмом, как это и было сделано мною выше, ибо между бесклассовым периодом и сменившим его затем классовым был переходный и, может быть, самый главный с точки зрения становления общественных отношений, становления взнуздавшей всех нас системы господства и рабства, которая, надо полагать, родилась гораздо раньше, чем явились в Египте фараоны, на сорокавековой период царствования коих приходится уже высочайший взлет этой системы, ее совершенствование и укоренение; но как раз потому, видимо, что главная тайна власти, то есть насилия и порабощения, тайна хищнической культуры, хищнической цивилизации, хищнической государственности и, конечно же, «богоизбранности» как первейшей опоры тронов, обеспечивавшей им если и не бессмертие, то по крайней мере нескончаемое и надежное долголетие, — да, как раз поэтому, видимо, что переходный период хранит в себе все неблагоприятные (это мягко сказано) тайны узаконенного ныне повсеместно хищнического (с безраздельным господством престольного чужеродства) мироустройства, он остается менее всего исследованным, его странным образом постоянно обходят стороной, о нем забывают, как если бы его не существовало и вовсе, а были только бесклассовый и классовый периоды, словно кто-то решительным росчерком перевел человечество из одних социально-нравственных условий жизни, скажем, идиллических, жизни «славных Гипербореев», в другие, хищнические, со стержнем господства и рабства — без всплеска, без борьбы, без насилий, без определенного (многотысячелетнего) зомбирования, то есть подавления воли, достоинства, духа в людских массах. Между теориями временного единства и поэтапного развития и бесклассово-классовой теорией есть, разумеется, существенное различие; от исследования истоков жизни вообще ученые мужи наконец перешли вроде бы к исследованию истоков общественных отношений, то есть к вопросам социально-нравственного порядка, а еще точнее — к коренным вопросам мироустройства, коим народы тяготились тысячелетиями и тяготеют сегодня, не находя выхода; светила знаний, можно сказать, в кои-то веки услышали (хотя и не в полном объеме) мольбы простолюдинов, уставших от рабства, кабалы, крепостничества, и, повернувшись к ним (по крайней мере так выглядит со стороны их обманный порыв), решительно взялись за дело. Всё, всё, в том числе и Томсен с его поэтапной теорией, оказалось (как бы само собой) отодвинутым на второй план; классовость и бесклассовость — вот два вопроса, которые начали занимать не только мужей науки, но и общественность, увлекаемую (ее и всегда-то вовлекали) в эти, по существу, троннозаданные, тронноугонные игры. Та человечество словно бы вдруг пало озарение, и оно начало понимать, что означает жить в классовом и что означает жить в бесклассовом обществе; народы стали оглядываться на свое бытие и на прошлое, как на нечто вождевленное, что, хотя и

утратило свое значение, растворяясь в эпохах войн, раздоров, царств и царствований, но, как подсказывало людям их возбужденное воображение, оставалась еще вполне реальная надежда на возрождение; в глубинной памяти народов, которую вернее было бы назвать ностальгией по неведомым, пращурным временам, из века в век сопровождающей страдавшееся (от произвола собственного разума) человечество, начали возникать совершенно далекие от реальной действительности картины идиллической, которой позавидовали бы даже «славные Гипербореи», жизни, и хотя всем было ясно, как ясно это всем и теперь, что возврат к прошлому невозможен, но ведь надежды, как и страх, имеют свойство цепной реакции, и реакция эта незамедлительно дала о себе знать как среди ученых мужей, так и среди широкой общественности, на свет стали появляться весьма заманчивые идеи коммунной жизни (некое новохристианство), призывы к перераспределению богатств, всеобщему равенству, братству, и вершиной этого «пробуждения» явился пущенный гулять по Европе «призрак коммунизма». Теперь мы знаем, где, в каких странах и среди каких народов прижился этот зловещий призрак и сколько разочарований и бед он им принес, особенно добронравному и доверчивому славянскому народу; но, к сожалению, до сих пор никто так и не дал ясной и четкой оценки идеологам коммунизма, действительно ли они хотели перемен к лучшему или всего лишь, действуя в русле обычных тронуогодников (ведь смена монархических династий — это еще далеко не отмена системы господства и рабства, и всякая революция, как свидетельствует история, есть только обновление все той же — от древнеегипетского первородства — власти, традиционно подавляющей дух и волю народов), в какой-то момент вдруг поняли, что вполне могут сами вместо холопских одеяний обрядиться в царские и занять троны и, поддавшись этому соблазну, этому дьявольскому искушению, просто-напросто совершили или пытались, что характерно для некоторых стран, совершить дворцовый, государственный переворот; признанные, как принято говорить теперь, идеологи и практики социальных революций Маркс, Плеханов, Ленин (они же и философы, и историки, и экономисты, и знатоки культуры, искусства, то есть на все руки мастера), — что они на самом деле вкладывали в свои учения, какие цели ставили перед собой, поднимая массы на братоубийство, остается и сегодня за семью замками; тайны революций, как и тайны государственной (от фараоновской державности) политики и развязывания мировых войн давно и надежно (с равнодушием тиранов) упрятаны в нераскрываемые сейфы, и нам остается только предполагать, исходя из фактов истории, что если что-то утаивается от народа, народов, человечества, то только потому, что носит неблагоприятный, компрометирующий правителей, их антинародные деяния характер и что между старотронными и новотронными «богоизбранниками» существовал и существует определенный, может быть, даже скрепленный договорными узами союз. Так это или не так, в конце концов шила в мешке не утаишь и прах веков, осыпавшись со своего бессмертного стержня господства и рабства и оголив его, откроет народам истину, но только кто предстанет перед ней, какие уцелевшие народы, нации, континенты? И не будет ли эта истина тем запоздалым куском мяса, какой со щедростью подают дышащему уже на ладан дистрофику? Откровенно говоря, мне не хотелось бы прибегать к подобным мрачным предсказаниям, ибо не так уж и безнадежна жизнь, если она позволяет нам сводить концы с концами, обустриваться (пусть хотя бы и нищенски), растить детей, пахать землю, сеять, убирать, строить; да, не так уж и безнадежна, пока все ограничено в ней порогом дома, заботами о семье, близких; но стоит только расширить границы восприятия до масштабов деревни, района, города, столицы, государства, народа, то есть стоит только ощутить себя частью того целого, что мы называем национальным единством, национальной принадлежностью, национальной общностью (ведь достоинство личности, ее жизнеспособность, жизнестойкость всегда находились и находятся в прямой зависимости от достоинства нации, народа, его жизнеспособности, жизнестойкости), — да, стоит только ощутить себя на пространстве исторической и сиюминутной, то есть повседневно текущей, жизни народа (в данном случае славян, коренных жителей России,

к коим принадлежит — во всех известных мне поколениях — и ваш покорный слуга), как вся многотысячелетняя неустроенность нашего бытия, исходящего от престольного чужеродства, словно чаща нищеты, насилий, страданий и бед, опрокидывается на тебя, и ты не знаешь, куда деться из-под этой чаши, из-под этого чужеродного колпака, до предела стеснившего нашу жизнь рэкетирскими поборами Рюриковичей (эти поборы, но уже под другим прикрытием, продолжают и сегодня), крепостничеством, колхозной кабалой, а теперь — полным бесправием на фоне так называемых провозглашенных «демократических» свобод и «соблюдений» прав человека. А ведь национальное унижение есть в то же время и унижение личности, оно проникает в душу и развращает ее, народ-пасынок — это не народ, а толпа, неспособная ни в чем защитить себя (что, видимо, и нужно престольному чужеродству), и эта-то совершенная беззащитность обрекает нас, славянство, на полное уничтожение. Гунны, авары, хазары, семьсот лет варяжского господства, три столетия господства Романовых, семь десятилетий коммунистического вождизма и десятилетие посткоммунистических реформ,— был ли хоть какой-либо просвет для российского славянства в этой цепи задавившего нас престольного чужеродства? С точки зрения официальной истории — да, с точки зрения действительной истории российского славянства — нет, мы не жили самостоятельно, своей самобытностью, своей культурой и цивилизацией, а потому и не в ответе за содеянное нашим престольным чужеродством; нас бесконечно только приспособляли то к одной, то к другой системе бытия (в зависимости от подражательских нужд правителей), и, может быть, самым характерным здесь примером является только что прожитое нами (хотя еще не до конца) двадцатое столетие.

XXXIX

Мы прожили его в двойном или, вернее, двухслойном обмане. Сначала нам внушали, что всеобщего благоденствия можно достичь только в бесклассовом обществе, и мы очертя голову бросились строить его, предварительно передравшись между собой и обагрив землю своей кровью; затем с той же назидательностью (и с подачи того же Запада) начали возвеличивать классовость, черня и пороча бесклассовость, и, не разобравшись как следует, что стоит за предлагаемым разделением на богатых и бедных (возврат этот, впрочем, достаточно симптоматичен, если посмотреть на него сквозь призму фараоновской державности), вновь как ошалелые кинулись к этому обнадеживающему просвету, теряя достоинство, честь, славу, нажитые народом богатства, самое возможность жить даже хотя бы нищенской, как это было всегда, жизнью. Революция кровавая и революция бескровная, открывшая и закрывшая столетия,— они не только равны по понесенным коренным российским (славянским) людям жертвам, но и по масштабам разграбления, сравнимым разве что с последствиями крупнейших азиатских нашествий. Мы жили и живем по чужой указке, забыв, что у нас был свой уклад жизни; нас просто-напросто вгоняли в ту социальную систему, которая на данный момент устраивала наших (от престольного чужеродства) правителей; комвождам удобно было править при всеобщей (коммунной) уравниловке, и они, надо сказать, с изощренностью использовали понятие «бесклассовости», вырвав или, точнее, вычленив его из общего контекста жизни; правителям от банковско-промышленных олигархических кланов, пришедшим на смену комвождам, чтобы легитимизировать свое право на народную собственность, то есть самым вроде бы законным образом ограбить народ, завладев его богатствами, потребовалось соответственно вернуть людские массы в унаследованную еще от фараонов Египта систему господства и рабства, и они, как панацею от всех бед, стали преподносить нам «преимущества» классового расслоения. С народом (народами) никогда не считались и не считают его, его приспособливают к удобствам власти, как это было при фараонах Египта, на землях восточного Присредиземноморья, в античной Греции, в Риме, в священной Римской империи Карла Великого, в Европе времен расцвета монархизма, в самодержавной крепостнической России и как это же происходит теперь, когда народы почти всех континентов вынуждены коленопрекло-

ненно взирать на трон мирового господства, перемещенный (всей своей поработительско-центральной тяжестью) в Соединенные Штаты Америки; да, с народом (народами) не считались и не считаются, его лишь приспособляют к удобствам власти, и самым приемлемым вариантом такого приспособления, устраивающим правителей, было и остается порабощение людских масс, то есть рабство; оно может представлять прямым, откровенным, как было в Древнем Египте и сохранялось почти до конца семнадцатого столетия от Рождества Христова (достаточно вспомнить открытие и освоение Америки), но может представлять и завуалированным, прикрытым определенной тронноисходной риторикой, что характерно для нынешних времен, когда все повязано властью денег, властью «золотого тельца» и когда народы, получая суверенитеты на словах, оказываются порабощенными экономически, политически, духовно настолько, что у них остается только один выбор — следовать в фарватере ведущих («богоизбранных») держав, спаянных между собой единопредстольным по исходу стержня господства и рабства на обетованные земли наследным родством. Каждая нация, каждое людское сообщество, если в оценках прошлого и настоящего придерживаться реалистических позиций,— каждое людское сообщество в той или иной степени причастно или прошло через этот исторический от древнеегипетского первородства графарет, не говоря уже о нас, о славянстве, и я спрашиваю себя: чем же занимались историческая и философская науки, на что ученые мужи от этих наук растрчивали свои усилия, если столь очевидная для нас сегодня истина (она очевидной была и тогда) оставалась и остается до сих пор за пределами их внимания? Все возникшие в тысячелетиях теории становления и развития человеческого бытия возникали либо из тронных потребностей, либо тотчас при появлении приспособлялись к служению тронам; так случилось с открытием Томсена, которое хотя и признано (официально, как уже отмечалось) в научных кругах, но, с одной стороны, настолько оказалось отдаленным от исследования главного вопроса — истоков становления общественных отношений, то есть господствующего ныне хищнического мироустройства, а с другой — настолько раздроблено в исчислении этапов (палеолита, мезолита, неолита), то есть обращено в прошлое, что уже никаким образом не может влиять на состояние текущей жизни, требующей кардинальных перемен (что, собственно, и нужно правителям, особенно правителям от престольного чужеродства); эта же участь постигла и явившуюся на свет бесклассовую теорию, которая поначалу вроде бы серьезно обеспокоила власть предрержащих (ведь когда массы познают истину, они пробуждаются к революциям), но затем, когда из этого взрывоопасного трюизма была изъята стержневая основа, то есть переходный период как самый главный и недопустимый к разоблачению (ученые мужи из королевских академий просто-напросто вычеркнули его, как нечто несущественное, только усложняющее «процесс познания»), теория тут же с правом на пьедестальное увековечение была причислена к ведущим открытиям мира и запущена в дело. «Что ж, народам обрыдло жить в классовом обществе,— сказали себе правители (уж слишком разительной представляла дистанция между властью предрержащими и бесправными, между роскошью и нищетой),— пусть испытают бесклассовое»,— и преподнесли им коммунизм. Затем, проучив подобным образом большую часть населения Земли (между прочим, за ширмой бесклассовости царил еще более тиранствующий тоталитаризм), властители вновь распахнули дверь в классовое расслоение, но теперь с вызывающей ухмылкой на лице; дескать, что, наелись бесклассовости, от которой становится не по себе не столько даже личностям, сколько загоняемым в новую кабалу народам? Оторвав понятия классовости и бесклассовости от контекста исторической и текущей действительности, ученые мужи под одобрительные возгласы дворцовых элит превратили их, по сути, в заезженные популистские лозунги, популистские откровения, с помощью которых легко можно варьировать (в нужном для властителей направлении) настроение масс. Так это или не так, я не собираюсь кого-либо и в чем-либо убеждать, ибо историческая и текущая жизнь народов — это открытая и доступная (пусть хотя бы и в основных своих параметрах) всем для познания книга, заглянув в ко-

торию и ознакомившись с изложенными в ней совершившимися и совершающимися фактами, явлениями, событиями, каждый может сам и обобщить, и по достоинству оценить их; бесклассовость и классовость — да, нас трогает глубина этих понятий и мы чувствуем (при всем нашем историческом невежестве, в каком и по сей день продолжают удерживать нас), что где-то в плоскости или на стыке этих понятий лежит искомая тайна господствующих ныне общественных отношений, и мечемся между этими понятиями, то хватаясь за одно, то — за другое, как утопающие — за соломинку, и не можем уяснить простой истины, что дело не в том, какой социальной системе бытия, бесклассовой или классово-классовой, будет отдано предпочтение (ведь любая так называемая бесклассовость по нынешним временам — это только еще более ухудшенный или, вернее, утяжеленный вариант классовости), а в исследовании корневой сути этих явлений, породивших в конце концов обесмертвившую уже себя систему господства и рабства, систему противоестественного вроде бы человеческому разуму хищнического мироустройства.

XL

Пожалуй, ни одна теория (я имею в виду трюизмы, возникавшие, умиравшие и вновь возрождавшиеся и утверждавшиеся на пространстве веков) не приближала людские сообщества так основательно к открытию истины в сфере общественных отношений и общественного бытия, как теория бесклассово-классового (разумеется, с включением переходного периода) развития; перед светилами исторических и философских знаний открывалась уникальная возможность не только в познании истоков, то есть причин, откуда, как, из чего, от каких побудительных мотивов и при каких обстоятельствах (присовокупив и попустительство, ротозейство народных масс) родилась и захватила верховенство система господства и рабства, но и в оценках (на основании познанного) событий текущей действительности и — что, может быть, самое главное — в коренном, да, именно коренном, а не мнимом, основанном на подтасовках, лжи и обмане переустройстве общественных отношений. Так ли, иначе ли, но ученые мужи при разработке теории бесклассово-классового развития должны были столкнуться с двумя оказавшимися для них непреодолимыми (странно непреодолимыми, я бы добавил) трудностями: либо они должны были признать (с признанием изначальной бесклассовости), что нынешняя, то есть хищническая, цивилизация обрела мировое господство не потому, что была прогрессивнее других, несла высокую культуру и открывала народам путь ко всеобщему благу, а в результате жесточайшего подавления всех иных, альтернативных ей самобытных цивилизаций, то есть путем узурпаторства, а потому и должна представлять перед народами как кровавый узурпатор, сам увенчавший себя нимбом богоизбранности, и, более того, должна быть объявлена вне закона, чего власть предрержащие, разумеется, не могут допустить и соответственно не могут допустить этого и подвластные тронам служители исторических и философских наук, либо, если остановиться на классовости как на вполне естественном и логичном продолжении начального, то есть бесклассового, периода (по принципу, что все в мире совершенствуется, а значит, должно совершенствоваться и человеческое бытие), то придется тогда согласиться и с тем, что бесклассового общества, в сущности, никогда и не было, а всегда были только ведущие и ведомые личности и народы (на раннем этапе — старшины родов, вожди племен, на позднем — царствующие династии, повелевающие державы), что, в свою очередь, означает, что хищничество, то есть стремление к власти, насилию, поработительству, столь же естественно для человека, как и стремление к добру, благородству, справедливости, и что все происходившее и происходящее в жизни людей, вся наша история есть борьба двух противостоящих начал, протекающая и протекающая с переменным успехом, то есть, если перевести на язык народного реализма, все мы, к какой бы национальности ни принадлежали, являемся от природы хищниками и в равной степени можем претендовать на власть, богатство, славу, наконец, на трон мирового господства, как и «богоизбранники», а это уже, как и первый высказанный здесь вариант, не-

приемлемо для правителей и соответственно (и несмотря на всю свою очевидную реалистичность) не может быть признано и одобрено зависимыми от тронов людьми науки. Более того, если классовость действительно является логическим продолжением (результатом совершенствования) первоначального этапа развития человечества и если мы (согласно этому варианту) действительно несем в себе (каждый!) хищническое начало, то для чего же обманывать массы, обманывать простолюдинов, как делают это церковь, наука, просветительство, внушая поставленным в историческое невежество массам, что в мире правит добро, тогда как в действительности правит зло, ибо любая власть, как сказано в Священном Писании, есть абсолютное зло, что смирением и покорством велик человек, тогда как обе эти категории всегда были и остаются спутниками нищеты, а достаток, богатство, славу обретают только жестокие, бездушные, властолюбивые люди; народы веками подставляли и продолжают подставлять щеки для битья, надеясь покорством умилостивить, смягчить суровый нрав правителей, их хищнические аппетиты на чужое добро, но результат нулевой, властители тронов как мордовали, так и продолжают мордовать массы бесправных, безгласных простолюдинов, божественно заверяя при этом (повторяю: через церковь, науку, просветительство), что человек велик смирением и покорством, что только добрыми делами прославляется его имя (тогда как днем с огнем не найдешь хлебопашца в пьедестально-иконостасном ряду кумиров), что за добро всегда воздается добром (оно и видно, каким крепостническим «добром» воздали Рюриковичи, Романовы, вожди «победившего пролетариата» коренному российскому люду за многовековое безропотное служение «своему» престольному чужеродству), — да, так для чего же обманывать массы, выдавая ложь за истину, и неужели иерархи от церкви, науки, просветительства всерьез полагают, что истина так никогда и не откроется людям? Многие ученые мужи, но и не только они, а и политики, государственные деятели и так называемая общественность, трущаяся во дворцах и вокруг них и всегда готовая на предательство то интересов тронов, когда общие дела складываются не в их пользу, то интересов народа (в большинстве случаев народа), когда усиливается режим власти и вместо модного популизма мерилom достоинства начинает выступать великосветское холуйство, — многие, да, да, многие из этой категории людей склонны считать, что народу (народам) не нужна правда, что ложь во спасение, если она предостерегает от хаоса, куда лучше, чем откровенная и разрушительная истина, то есть, иными словами, если перевести все на язык народного восприятия, пусть человечество живет в невежестве и рабстве, чем в познании и достоинстве, чреватом непредсказуемыми последствиями. Конечно, я понимаю, далеко не просто взять и объявить, что все мы хищники, что мир хищничества есть естественная среда обитания людских сообществ и что только те личности и народы, которые осознали или готовы осознать, что в действительности окружало и окружает их, с чем они из века в век сталкивались, что сковывало и угнетало их и против чего, задавленные мирскими (от науки, культуры, искусства, просветительства) и религиозными (от верований) догмами, не смели поднять руку, — что только осознание сей обман и решившиеся выступить против него личности и народы смогут рассчитывать на достойное человеческое существование. Не это ли, что люди, обогатившись знаниями истории, возьмутся силой на силу, то есть методом хищничества, противостоят хищничеству, вызывает опасение у наших «великих консерваторов», «хранителей мудрости», «помазанников» от светской и духовной власти, ибо хаос, которым они так страшат народы при оглашении правды, затронет прежде всего интересы тронов и тронных особ? А мы, простые люди, чего опасаемся мы? Избавления от кабалы, крепостничества, рабства? Или, как и правители, девяносто девять и девять десятых процента человечества, познав истину и обретя (вместе с этим познанием) свободу, настолько разрушат устои мира, что человечество не иначе как погрузится во тьму, да, не иначе как во тьму кровопролитий (и тут-то, как и предсказывает Священное Писание, наступит конец света)? Но ведь предсказания, как и жизнь, не могут ограничиваться только одним вариантом, и разве нас не должно пугать то обстоятельство, что как раз

эти девяносто девять и девять десятых процента человечества пребывают и по сей день если не в прямом, то все же в достаточно откровенном, лишь слегка прикрытом тронноисходной церковно-светской риторикой рабстве и только поводырствующий мизер, то есть пригревшийся под щитом «богоизбранности» династические личности, кланы личностей, сообразовавшиеся в народ (народы), позволяют себе, пожиная плоды лжи и роскошествуя во дворцах, наслаждаться жизнью? Разве нас не должно пугать это, разве мы не испытываем на себе эту удавку и разве не ищем способа раз и навсегда избавиться от нее? Нельзя, конечно, исключить, что после оглашения исторической, иначе ее не назовешь, правды развитие событий пойдет именно по этому худшему варианту, то есть в сторону хаоса, конца света, что вспыхнет братоубийственная схватка, усиленная освобожденной от сдерживающих постулатов энергией жестокости, и уже ни святости, ни кумиров, бравших на себя роль поводырей, не будет у человечества, а единственным ориентиром и мерилom жизни явится обретение богатства, славы и власти (будто не этой закономерностью руководствовались и продолжают руководствоваться приходящие во власть «богоизбранники»); да, возможно, все пойдет именно по этому худшему варианту, коим испокон усиленно пугают нас, словно жизнь в нищете, унижениях, рабстве есть благо, которого может лишиться человечество; но в таком случае ни у кого не останется сомнений, что все мы хищники, с той лишь разницей, что одни, «богоизбранники», поняли это раньше, сумели захватить как национальные престолы, так и престол мирового господства и, главное, подчинить сделанное открытие своим монаршим интересам, тогда как другие, придавленные прессом духовного порабощения, прессом зомбирования, вместо реальной жизни довольствовались и продолжают довольствоваться лишь ее сказочными измышлениями. Что ж, выходит, человечество загнано в угол, и у него нет выбора, кроме как либо погибнуть в котле братоубийственных схваток, либо смиренно, до нескончаемости тянуть ляжку нищеты, невежества, рабства; перспектива — не позавидуешь, но, к сожалению, как ни тягостно рабство, людские сообщества (массы престолодинов), напуганные хаосом (концом света), готовы отдавать на заклятие достоинство, свободу, честь, совесть, самой радость бытия, чтобы только жить, и отдают, чем, кстати, и пользуются «богоизбранники», восседающие на престолах и нагнетающие (через подчиненные им средства внушения и подавления) атмосферу страха перед возможным, если их, кумиров-поводырей, сбросят с тронов, концом света.

XLI

Однако есть и другой, возможно, более близкий к реальности вариант развития событий, если ученые мужи, церковь, служители просвещения, найдя в себе стойкость отказаться от тронного кормления, то есть от подачек с императорских, царских, королевских, президентских, премьерских, банковско-олигархических и пр., и пр. властных столов, решатся все же на оглашение исторической истины относительно становления и развития общественных отношений и общественного бытия (разумеется, я не призываю слепо определиться, является ли для нас хищничество естественной заданностью, то есть дано от природы, или — всего лишь продуктом человеческой деятельности, то есть элементом, привнесленным и узурпаторски узаконенным на пространстве тысячелетий, что, мне кажется, ближе к истине, и в процессе повествования я попытаюсь доказать это, — да, есть более реалистичный вариант, чем хаос (конец света), каким запугивали и продолжают запугивать людские массы, и в согласии с ним, с этим более приближенным к жизненной правде вариантом, первое, что произойдет, так это будет раз и навсегда отвергнута «богоизбранность», как ложь, с помощью которой сотни поколений держались и продолжают удерживаться в нищете, невежестве и рабстве, падут не просто троны, но сметена будет с лика Земли вся ныне господствующая хищническая цивилизация с ее, казалось бы, бессмертным — от древнеегипетского первородства — стержнем господства и рабства, народы освободятся наконец от угнетающего их престольного чужеродства, как от наивысшего зла, приводившего и приводящего

целые национальные образования если и не к полному, то почти к полному истощению и исчезновению, и уже не мнимая, не внутренняя, то есть замкнутая в себе, а истинная свобода, свобода на самобытное (в согласии с национальными традициями) устройство бытия приоткроеет народам (человечеству) новые горизонты жизни. Прольется ли при этом кровь, завершится ли глобальным разорением или уничтожены будут только властонасилы, порушены и преданы забвению веками возводившиеся иконостасы и пьедесталы, и кумирзация жизни, как некая сочиненная для простолюдинов подслащенно-зловещая сказка, перейдет лишь в разряд поучительных воспоминаний, все будет зависеть от того, насколько смогут сорганизоваться правители в защите своих тронных интересов и привести в действие готовые служить им (и кормящиеся от них) силовые и духовные институты насилия, насколько именно в руках власть преержащих окажется информационно-заданное поле воздействия, что было бы проще назвать оружием зомбирования, эффективность которого многократно и основательно проверена в веках, и, наконец, кто станет во главе народных масс, ибо революционному вождизму, как показывает история, всегда сопутствовали предательство и чужеродство, чужеродство и предательство (в данном случае я не связываю это явление лишь с понятием национальной принадлежности, а прежде всего с холуйством, с готовностью услужить Западу, услужить всякому иностранцу, далеко не с бескорыстными целями прибывающему на Русь, и разве не Борис Годунов, которому русский люд не простил и не мог простить убийство малолетнего царевича Дмитрия, мстя за это народу, посвящал указами во дворянство валом валивших к нам западноевропейских «ловцов счастья» вместе с их слугами и наделая крепостными деревнями и землями?), да, могу повторить, что все будет зависеть, с одной стороны, от расторопности правителей, а с другой — от ставшего уже традиционным (по забитости и нищенским условиям жизни) народного простофильства и ротозейства, и меня страшат главным образом как раз простофильство и ротозейство, ибо если и в этой всеглобальной схватке с хищническим (от фараоновской державности) мироустройством народы потерпят поражение, то следствием его явится приговор вечного рабства. Что ж, может случиться и так, ведь мы любим повторять, что уроки истории мало кого учат. Но здесь стоит, видимо, заметить, что не все, что произносится ради красного словца, бывает лишено смысла. Во всяком случае, что касается истории становления и развития общественных отношений и общественного бытия, урок еще не окончен, еще не сделаны нужные (на основе строжайшего реализма) обобщения, итоги не подведены, ложь, наделенная силой правдоподобия, продолжает неистово господствовать в общественном мнении, заслоняя и подменяя правду, но вместе или, вернее, параллельно с этим набирает обороты другой процесс, который можно назвать пробуждением масс от исторического невежества, и как ни выкашиваются эти ростки пробуждения, как ни стараются преемники фараоновской державности, спаянные единством престольного чужеродства, затормозить, а то и вовсе остановить этот процесс народного прозрения, но остановить его уже невозможно (разве что притормозить на столетия или тысячелетие), прозрение наступит, и это-то как раз и явится воспринятым уроком истории. Отказавшись (кровавым ли, бескровным ли путем — все будет зависеть от конкретно складывающихся обстоятельств и от того, насколько будет признана неизбежность происходящего правителями и народами) от хищнической цивилизации, от навязанной силой и духовным утрашением системы господства и рабства, людские сообщества не смогут не вернуться к своим некогда утраченным исконным корням жизни, к стержневой сути своих задавленных на этапе становления и развития цивилизаций, возводившихся на началах миролюбия и добронравия, и мир, наконец, станет свидетелем апофеоза человеческого разума. «Славные Гипербореи» — я не отношу это понятие только к славянству; в каждом народе в той или иной степени живет ностальгия по идиллическим временам, и уже одно это должно говорить нам о многом, если, конечно, не увязывать сию странную, можно преподнести ее и так, «болезнь» с неким наносным чувством, возникающим лишь от неизбывных тягот жизни, от неосуществленных, обманутых надежд и беспросвет-

ной на грядущие тысячелетия безысходности. Осознанная или неосознанная память народа (тема, конечно, для особого разговора), вот кладезь истории, кладезь всей нашей исторической жизни, и если сорокавековое господство фараонов, а затем и более чем пятидесятивековое господство все того же (от древнеегипетского первородства) стержня господства и рабства, ринувшегося на захват обетованных земель афро-азиатско-европейского Присредиземноморья, в Европу и на континенты Америки и Австралии,— если это эпохальное насилие над людскими сообществами, над народами, успевшими впитать в себя (я бы добавил: на генетическом уровне) миролюбивый и благонравный дух своих самобытных цивилизаций (опять же добавлю: до такой степени, что до сих пор не могут ни принять хищнический миропорядок, ни приспособиться, прижиться в нем),— да, если это эпохальное насилие не смогло перечеркнуть, не стерло, не вытравило из них память о славных пращурных временах, то это может означать только одно, что ностальгия по тем временам, по отнятым у них и загубленным цивилизациям (и соответственно отнятым культуре и государственности, ибо нынешнее устройство общественного бытия не есть нечто неповторимое, без чего люди не вынесли бы ни тягот истории, ни, разумеется, бед и тягот современной жизни) представляет собой наиточнейшее, зеркальное отражение всех когда-либо происходивших и происходящих ныне перипетий с человечеством. Следует, наверно, считаться и с тем, что ностальгия — это только мечта, а не шаг к исполнению заветных желаний; механизмы (или структуры) силового и духовного подавления воли, создававшиеся тысячелетиями, вряд ли в одночасье и бескровно могут быть разрушены, путь от прозрения к торжеству справедливости может оказаться тяжелым, затянуться на столетия, да и борьба пойдет не за механическое (слепое) возрождение прошлого, поскольку жизнь не имеет попятных дорог, а только за возврат к разумной, заложенной пращурами стержневой основе, к благонравным началам бытия, к действительному соблюдению права личностей и народов на проявление национальной, традиционной, приемлемой для них самобытности и основательности жизни в противоположность нынешнему миропорядку, когда за фасадом провозглашенного равенства всего и для всех верховенство как было, так и остается за «богоизбранными», то есть за правящими кланами, самопровозгласившими себя (по праву сильных за счет перманентного ограбления добронравных и доверчивых масс) господами мира и сорганизовавшимися в почти бессмертное уже престольное чужеродство. Но рано или поздно, я верю, человечество прозреет, и путь этот, путь восстановления разумных начал, восстановления справедливости и основательности, будет пройден; унижение, а по сути, убиение невежеством и рабством не может длиться до бесконечности, и тут важно, чтобы взрывная волна народного гнева не оказалась вновь той самобичующей силой, как не раз уже бывало в истории, о которую разбивались все самые благие устремления и надежды народных масс. Коварство правителей, их изворотливость неистощимы, в их руках сегодня находятся все механизмы силового и духовного подавления, они обладают возможностью (через церковь, науку, культуру, просветительство, наконец, через широчайшую сеть информационного воздействия — газеты, журналы, радио, телевидение, кинематограф) тончайшим образом обратить ложь в правду, точнее, в правдоподобие, растворить любую истину в нагромождении трюистических теорий, проштампованных светилами знаний, а в теориях, в свою очередь, раздробив их до мелочей (под предлогом конкретизации), превратить поиск истины в поиск иголки в стогу сена — да, правители, а паче мужи-троноугодники, посвященные в саны магистров и академиков, кормящиеся с барских столов, настолько усвоили ремесло насилия и закабаления, ремесло изворотливости и коварства, что иногда создают впечатлительные, будто человечеству до истечения веков так и не удастся распознать зловещую основу этого ремесла. Мне уже приходилось говорить выше, что я не претендую на пророчество, а хочу только познать прошлую, то есть историческую, и текущую правду человеческого бытия, которое, с точки зрения простолюдина, и бытием-то назвать нельзя, и если в минувших тысячелетиях подступы к такому познанию оставались надежно и плотно перекрытыми, то с появлением

бесклассово-классовой теории становления и развития человечества, когда ученые мужи, отступив вольно или невольно от платоновско-аристотелевских обобщенных толкований жизни, вышли на стезю исследования ключевого вопроса исторической и текущей действительности, то есть исследования общественных отношений, как и из чего они складывались и сложились в известный нам хищнический миропорядок, — с появлением этой социально направленной теории перед человечеством, повторю, открылась реальная возможность понять истинные истоки своих вековых бед. Мы должны не слепо, не по наитию, не по житейской логике, которая несовместима да и вряд ли когда-либо совместится с логикой природных явлений и жизни, установить возможный ход исторических событий с древнейших времен, направить исследование на становление и развитие общественных отношений и общественного бытия (не случайно же Аристотель сказал, что человек есть прежде всего существо общественное), и начальным звеном в цепи веков, от которого следует повести отсчет утвердившемуся теперь повсеместно фараоновскому миропорядку, фараоновской державности, или камнем преткновения, или, если хотите, философским камнем, хранящим в себе все тайны человеческого, но и не только человеческого бытия, являются два организующих начала жизни — бесклассовость и классовость. Трудность заключена в том, что ни историческая, ни философская науки, ни церковь, ни просветительство, основанное на постулатах (догмах) этих двух ветвей от единого древа власти, не дают и, видимо, не могут дать (по известным, изложенным уже здесь причинам) хоть сколько-нибудь исчерпывающий ответ, было или не было на раннем этапе развития человечества бесклассовое общество, и если было, то главным объектом исследования должен стать переходный от бесклассового к классовому период, что позволило бы установить истинные мотивы (пружины) возникновения, совершенствования и укрепления среди народов системы господства и рабства, люди смогли бы очнуться от сказочно-убаюкивающего сна, воспрянуть духом и, осознав достоинство, выступить, наконец, на защиту своих интересов, а если бесклассовости не было, если все мы изначально были заряжены хищничеством (в равной степени как и миролюбием и добронравием), то пора об этом сказать прямо и не делить мир на «богоизбранников», то есть тех, кто посвящен в тайну генетического кода человечества и, положив хищничество в основу своих нравственных, а вернее, безнравственных деяний, принялся поводить и закабалить людские сообщества, и на тех, кому внушается, что они должны нести крест добронравия, крест смирения и покорства, как высший (божественный, спасительный) идеал жизни. Нет, нет, истина не за семью печатями или замками, к ней есть дорога — и довольно манипулировать судьбами народов, судьбами простолюдинов.

XLII

Мне кажется, два величайших поворотных события лежат в основе человеческого бытия: когда люди (вожди племен) поняли, что орудия охоты можно обратить против человека, то есть превратить в средство насилия над ним и обогащения (отсюда берет начало линия силового давления, линия закабаления личностей и народов путем войн, нашествий и разграблений), и когда было понято (опять же, видимо, вождями племен), что еще более мощным оружием подавления является духовное воздействие, которое на примитивном уровне выглядело как самовзвинчивание, то есть охмеление смелостью, перед охотой на крупного и опасного зверя (люди бегали вокруг костра или под шаманью пляску и приговоры, заряжаясь бесстрашием и вседозволенностью), а затем было открыто, что точно таким же образом можно натравить одну людскую общность на другую и обогатиться за счет притеснений и убийств себе подобных (чем и было положено начало духовного воздействия, то есть зомбирования покоряемых да и покоренных уже личностей, племен, народов). История становления и развития общественных отношений и общественного бытия, по существу, как раз состоит из становления и развития этих двух основополагающих линий или ветвей жизни, ибо, с одной стороны, на них и только на них возрас-

тала, держалась и держится власть, а с другой — на них же как на столпах утращения смертью и духовной (божественной) карой держалось и держится рабство. Наверное, было бы несправедливо утверждать, что обе эти линии развития не исследовались. В раннее время к ним приступали виднейшие светила эпох, но, во-первых, они никогда не рассматривались в единстве как нечто целостное, определяющее суть бытия, но каждая по отдельности, будто функции их не были равнозначно направлены на становление и укрепление тронов, а создавались для решения самостоятельных, не связанных друг с другом задач (и то сказать, одно дело — войны, нашествия, разграбления и закабаления, и совсем другое вроде бы — культура, науки, религия, просвещение), и, во-вторых, если рассматривались, то лишь в пафосном плане, в плане героизации как изобретателей и изготовителей оружия, работавших на усиление могущества тронов, так и героизации служителей культов, религий, муз, поделщиков-летописцев, поделщиков — историков и философов, трудами которых должны были возвеличиваться и оправдываться и возвеличивались и оправдывались деяния тронных особ, то есть, по сути, оправдывалась создаваемая этими особами на основе стержня господства и рабства хищническая цивилизация. Думаю, тут не нужны комментарии, ибо каждый, кто решится бросить взгляд на историю человечества, сможет без труда представить эту картину и вынести из нее свое определенное суждение; важно только, чтобы при этом не перепутать историю в мелочах, как она традиционно подавалась и подается на общественный стол знаний (кумиризированная, поводырствующая, в описаниях царств и царствований), с историей остового порядка, когда с нее сброшены одежды лжи и в оголенно-стержневом виде она становится вполне обозримой, доступной и понятной. Луки, стрелы, копья, каменные, бронзовые, железные наконечники, выставляемые ныне как документальные образцы прогресса, сабли, шашки, мечи, кинжалы, алебарды, изобретение пороха и связанный с этим изобретением виток новых орудий убийств — гладкоствольных и нарезных ружей, автоматов, пушек, ракетная техника, боевые корабли, самолеты, наконец, ядерная и водородная бомбы, а теперь подготовка к звездным войнам, — да, да, все это исследуется и подается как национальное достояние и гордость народов, как достижения великой, а в сущности, навязанной людским сообществам хищнической цивилизации, а если разобраться, если посмотреть на все это простым (от народного бытия), реалистическим взглядом, то нельзя не прийти к выводу, что человечество как готовило, так и продолжает готовить себе страшную судьбу самоубийцы. Историки же и философы (да и церковь) говорят, что народы вынуждены были вооружаться, что они вооружались для защиты, иначе не смогли бы выжить в тех кровавых катаклизмах, какие преподносила им история, но тут я позволю себе заметить, что прежде (даже согласно житейской логике) возникло насилие, от которого и потребовалась защита; да, насильники появились раньше, чем те, кого обстоятельства заставили искать средства спасения, но затем и защитники, найдя эффективное оружие обороны и обретя силу, сами заражались развращающим синдромом, создавая таким образом замкнутый круг насильственных действий, и естественная и спокойная (в плане общественных отношений и общественного бытия) жизнь людей обретала (и обрела наконец!) свойство необратимой цепной реакции, мир оказался основательно втянутым в трясину войн и братоубийств, и те же историки и философы, некогда еще колебавшиеся в оценках пращурных веков, высказывают теперь мнение (разумеется, на основании этих своих вроде бы новых и новейших исследований, а по сути, все из той же тронозаданности), будто кроважность и дикость — вот изначальная сущность человека, что древность можно характеризовать как эру звериных потребностей и отношений, то есть, иными словами, все мы хищники и путь развития человечества есть движение от варварства к прогрессу и процветанию, что мы идем не от добра ко злу, а от зла к добру (тут, наверное, уместно привести наш двадцатый век с его мировыми войнами, революциями, всеглобальным политическим, экономическим и духовным порабощением стран, народов, континентов и провести хотя бы элементарный сравнительный анализ с прошлым, с эпохами, скажем, Александра Македонского, Аттилы,

Чингисхана, Тамерлана, Карла Великого и Наполеона) и что цивилизация от древнеегипетского первородства (повествование вновь и вновь вынуждает меня приводить этот постулат, к которому, наверное, еще не раз и не два придется возвращаться), основанная на господстве, вернее, единогосподстве «богоизбранников» и повсеместном порабощении простолюдинов, есть высшая (богоданная) и незаменимая форма человеческого бытия. Сегодня все чаще и чаще можно слышать это ничем, впрочем, не подтвержденное и не обоснованное научное мнение, и, думаю, тут нет случайности; мир под видом демократизации и защиты так называемых «прав человека» при полном игнорировании прав народов на самобытное развитие (кроме, разумеется, самих «богоизбранников», сорганизовавшихся в народ и проводящих эту политику) возвращается к господству, я бы уточнил, полному и безраздельному господству силы и «золотого тельца», а точнее, к веку Богов, то есть к древнеегипетскому постулату, когда человечество было четко разделено на «небесных посланцев», носителей духа, если по Аристотелю, созданных для господства и помазанных некими высшими силами на поводырство, и обладателей плоти, рабов, обреченных (за какую провинность?) теми же, надо полагать, высшими силами на вечную кабалу, нищету, страдания, невежество (этот весьма и весьма симптоматичный возврат, как мне представляется, начался сразу же после эпохи Ренессанса и особенно времен протестантизма, социальных бурь и революций, когда почва действительно-таки зашаталась под тронами и опасность разоблачения исторической лжи, то есть кумирозированной в описаниях царств и царствований истории, подстегнула правящие династические от фараоновской державности кланы «богоизбранников» искать новые и неординарные способы укрепления, с одной стороны, престольного чужеродства, а с другой — престольного долголетия), — да, да, и еще раз да, тенденция к возврату в век Богов настолько сильна (в деяниях правителей и служб, находящихся в их подчинении) и так четко просматривается, что приходится только удивляться цинизму (при простофильстве, ротозействе и попустительстве народных масс), с каким осуществляется эта всеглобальная программа нового порабощения. Подтверждением такого вывода может служить и то обстоятельство, что ни историки, ни философы, ни теологи, ни, естественно, политики и государственные деятели, берущие на себя заботу о подвластных им народах, не ставят точку на понятии «хищничество»; они высказывают только мнение, которое в данный момент должно служить и служит оправданием их троннозащитных деяний, и оставляют как бы в подвешенном состоянии версию о том, что люди рождались и рождаются для добрых дел, для миролюбия, смирения и покорства, что вот, дескать, истинное призвание человека, и этой своей двойственностью (пусть человечество сидит между двух стульев) вводят в заблуждение массы, да, главное, массы простолюдинов, и отдаляют всех нас — человечество — от познания истины. Такова реальность, и ее вряд ли можно оспорить. Давайте еще раз взглянемся в нее, в это античеловеческое явление. Когда речь заходит о насилии, то, оказывается, не правители — хищники, а народы, простолюдины, задавленные нищетой, поборами, невежеством, кабалой, а правители только и делали, что представляли, причем во все времена, своих подданных на путь истины, а прощ — возвращали к их будто бы исходному добронравию, покорству, смирению; что ж, два стандарта, двойной подход, как бы мы сказали теперь, — и огульно, и ловко, и правдоподобно, и в то же время, когда требуется поддержать престиж тронов, дикость и варварство, как, впрочем, и имперские замашки, имперское мышление всегда можно переложить на народ; ведь коронованные особы никогда и ни в чем не бывают виноваты (сколько их, отягчивших иконостасы и пьедесталы!), словно не они, которым всегда мало власти и мало богатства, развязывают войны, идут походами на соседствующие страны, грабят, разоряют, закабаляют, а простые люди, стравленные между собой и посланные убивать друг друга (благо, машина духовного воздействия, запущенная еще со времен древнеегипетских пирамид, всегда под рукой у властителей), — простой люд, поскольку-де заражен хищничеством, вынужден затем держать исторический ответ, как это происходит и по сей день с коренным — русским, славянским — людом России. Ду-

маю, нет нужды приводить какие-либо дополнительные доводы в подтверждение сказанному, ибо вся наша от древнейших времен действительность есть единый и неопровержимый пример неостановимой цепи злодеяний над человеком (простолюдином) и человечеством, то есть прямое доказательство высказанных здесь суждений, тогда как в изложении историков, философов, теологов ни прошлое людских сообществ, ни их текущее бытие не отражают и тысячной доли того, что творилось и творится на самом деле.

XLIII

Все, что в государственной системе жизни объявляется независимым, обычно служило и служит власти, а то, что действительно пытается стать независимым, губится и изничтожается на корню; так было, так есть и так будет, пока человечество не прозреет для истинно достойной человека жизни и не остановит хищнический ход истории. При этом, говоря о власти, я имею в виду не только так называемую тронную, то есть от клана «богоизбранных», но и обретаемую (что особенно характерно для нашего времени) олигархами от банковско-промышленных спрутов, сумевших уже во многом переподчинить себе как структуры силового, так и духовного подавления широчайших народных масс. Но сегодня вслед за силовым и духовным захватом развернулся еще и экономический захват власти (прошу простить за невольное высказанную триаду, хотя, по существу, никакой триады и нет, а есть только вневременное единство заложенных фараонами Египта тронноглобальных целей, ведущих к мировому господству); нет церкви, науки, культуры, которые не служили бы тронам, как нет и не может быть тронов без аппарата насилия над массами простолюдинов, и, разобрав в этом плане героизированную историю изобретателей и создателей оружия истребления людей, то есть силовую опору или основу власти, попытаюсь обратиться теперь к столь же, впрочем, героизированной истории творцов еще более страшного оружия — оружия духовного подавления, или зомбирования, людских сообществ. Ведь человек не только существо общественное, он рождается на свет для свободного проявления духа (естественно, в рамках существовавших или складывавшихся и сложившихся, как теперь, общественных отношений — хищнических ли, альтернативных ли хищничеству, ибо все было во власти людей, пока они не передали власть над собой, эту силовую опору жизни, поводырям-богоизбранным); он способен развиваться гармонично лишь в том случае, когда в устройстве бытия никто и ничто не стесняет его (еще раз повторю: кроме сложившихся национальных традиций во взаимоотношениях личности и окружения, традиций миролюбия, добронравия, добрососедства, основательности, доверия, взаимного признания интересов и прав каждого члена сообщества, как, впрочем, и людских сообществ); если говорить в масштабах всего человечества, то следует отметить, что любые исторические события, какой бы социальный, политический, экономический или религиозный характер ни приписывался им, являют собой прежде всего порывы духа, воли и разума человека (народа, народов, сообщества людей в целом), и, хотя принято полагать, что перед тем, как предпринять или совершить что-то, люди просчитывают свои деяния и что так было на примитивном уровне, так происходит и теперь с привлечением самых мощных информационных и счетно-вычислительных, компьютерных систем, но, думаю, степень предсказуемости и непредсказуемости действий (поступков) как отдельных личностей, так и людских сообществ (народов), особенно личностей и народов, достигающих высот власти, вряд ли зависит только от каких-либо даже самых сверхточных прогнозов. Можно спрогнозировать рабство, что и было сделано фараонами Египта, можно спрогнозировать и развязать любую бойню, чему есть в истории несчетно примеров, можно спрогнозировать экономический или духовный кризис, что является наиболее излюбленным приемом нынешних великих и малых предержателей власти, можно, наконец, спрогнозировать истребление народов, как это было проделано с коренным населением Западной Европы и Америки, а теперь перенесено на славянство, но нельзя до конца спрогнозировать поведение человека, не подвергнув его прежде духовной обра-

ботке (параллельно ли, поэтапно с силовым устрашением), ибо при всем насилии над ним (как и над народом) дух его остается вольным, свободным, равно готовым как на бунт, так и на смирение, и, может быть, как раз здесь, на острие эмоциональных вспышек и угасаний, на этом водоразделе чувств и мыслей, и таится загадка классового расслоения, то есть сама возможность сего противоестественного для человека и человечества явления. Выше излагалось уже, из каких изначальных причин родилась столь безграничная, как увидим дальше, возможность духовного влияния на сознание и умонастроение людей: первобытные пращурьы наши, бегавшие вокруг костров под шаманы пляски и приговоры и заряжавшиеся бесстрашием и вседозволенностью, с легкостью, так можно предположить, были переориентированы с убийства зверя на убийство человека, от погони за трудной добычей на промысел куда более удобный, я так бы сказал, и способный обогатить племя, расширить его владения, возвеличить и укрепить во власти вождя; шаманы шаманили, взвинчивая людей, для чего нужно было каждый раз изощряться в методах, приемах, одеждах, то есть совершенствоваться или, вернее, совершенствовать оружие зомбирования, за шаманами же стояли вожди, направлявшие их колдовское влияние, а трения, иногда возникавшие между шаманами и вождями (опять же из-за власти), на которые обычно ссылаются историки и философы, это лишь исключения, подтверждающие правило. Конечно, есть некоторая доля условности в таком представлении или видении древности, как, впрочем, и во всяком обращении к исторической действительности, ибо все могло протекать иначе, с гораздо большими сложностями, чем нам под силу предположить; однако свидетельства, которыми располагает наука (и коими пользуется по усмотрению, то есть троннозаданному произволу, что следовало бы добавить), однозначно говорят о том, что по стержневой сути все так и было в общинной жизни первобытных племен и что именно там, тогда и на примитивном уровне сделанные открытия принесли затем столь глобальное разорение (систему порабощения, систему господства и рабства) человечеству, что ни обозреть, ни обобщить, ни тем более доходчиво изложить многоэпохальный размах этого явления, как мне кажется, не под силу никакому творцу. Мы привыкли к понятию «жизнь в движении» и толкуем его так (в поддержку и в развитие нашей нынешней, хищнической цивилизации), словно процесс этот связан не просто с усовершенствованием однажды открытых и возведенных в ранг естественной закономерности методов и приемов человекоподавления (ведь зарождались и альтернативные хищничеству цивилизации), но прежде всего с так называемым «обновлением жизни», когда все вокруг нас вроде бы должно меняться, как вещают историки, философы, теологи, политики, государственные деятели, но ничего не меняется, а только усугубляются пороки, усиливается угнетение масс и усовершенствуются (до предела уже!) средства силового и духовного подавления. Я не буду прибегать к глобальным примерам, а приведу только пример из современности, который, как мне кажется, способен прояснить многое. Во-первых, мы и сегодня можем видеть, как в некоторых народах и народностях, что особенно характерно для малочисленных, не желающих все еще расставаться со своей самобытностью и не позабывших и не растерявших традиции предков, люди взвинчивают себя, то есть подогревают на вседозволенность и безумство толчеей вокруг какого-нибудь языческого столпа или просто ходьбой по кругу, пританцовывая под воинствующие выкрики и имитируя устрашение оружием (наподобие «аллах акбар»), и не опускает ли нас это в глубь истории, и, во-вторых, разве не то же происходит с нами, со всем человечеством (прежде всего я имею в виду простой люд, массы, которыми можно управлять и которые направлять по желанию или замыслу правителя), когда мы усаживаемся по вечерам у экранов телевизоров, и дикторы и комментаторы, исполняющие волю властей предредающих или, скажем, волю банковско-промышленных олигархий, захвативших своими капиталами тот или иной канал и, естественно, закупивших дикторов и комментаторов этого канала (ведь и у таких властителей, как и у тронных, есть свои интересы, далеко не совпадающие с интересами народа, а, напротив, противостоящие им), или, наконец, стремящиеся к тиранству личности, поддерживае-

мые высокородной и толстосумной дворцовой и внедворцовой челядью и нуждающиеся в данный конкретный момент в благосклонности или даже в активном участии масс, — разве мы по стержневой сути не напоминаям своих пращуров, бегавших по кругу и внимавших колдовству и призывам шаманов, духовно передававших волю вождей? Различие только в том, что вместо разнаряженных шаманов в масках, с бубнами и барабанами перед нами выступают в роли внушителей вполне современные люди, получившие (за счет народных средств, разумеется, за счет налогоплательщиков и под бдительным оком государственных служб, а то и лично правителей) профессиональное образование, которое теперь поставлено на определенный поток, достаточно прилично одеты, надо полагать, не на свою «нищенскую», как уверяют нас, заработную плату, умеют виртуозно (опять же по заданности) подать любую информацию, выразить любую мысль, обратив ложь в правду или по крайней мере в правдоподобие, — да, перед нами не шаманы в бутафорских одеяниях с бубнами и барабанами, да и мы не первобытные люди с копьями, луками и шкурами зверей на бедрах, но процесс зомбирования нас, разве он, прошу простить за повторение, по стержневой сути отличается хоть чем-нибудь от тех примитивных действий? Впрочем, отличается — масштабностью, ибо современным шаманством можно сразу охватить не только область, регион, государство, континент, но и все народы и континенты вместе, и отличается еще тем, что понятие духовного подавления (зомбирование) заменено понятиями просвещения, информированности и политизации масс.

XLIV

Если сравнить доведенное до совершенства оружие массового (физического) истребления людей с оружием зомбирования, доведенным, как мне кажется, до еще более высокого совершенства, то первенство в этом непостижимо-ужасающем античеловеческом «совершенстве» безусловно и безоговорочно придется отдать методу так называемого бескровного уничтожения (условно бескровного, разумеется, ибо истощением духа можно достаточно быстро свести любое людское сообщество в могилу или обратить его членов в абсолютно бесправных и безголовых рабов); оно, это «бескровное» оружие, действует без суеты, без шума, исподтишка, а по сути, садистским изнурением, престольное чужеродство и престольное долголетие при этом процветают, правители правят, народы, теряя самобытность (теряя историческую память), смешиваются, загоняются в небытие, и все легко и просто списывается на обстоятельства, на естественный будто бы ход событий. Но на самом деле все обстоит не так. С помощью современного шаманства, современной машины зомбирования (а она не замыкается только теле- или радиовещанием, как увидим дальше) можно с личностями, народами, государствами, континентами делать все, что захотят или осмелятся захотеть нынешние властители мира; если нужно развалить монархию, которая мешает своим усилением каким-то глобальным целям предержавителей власти от фараоновской державности (от древнеегипетского династического первородства «богоизбранников»), политическая, экономическая и социальная обстановка в стране, нагнетаемая потусторонними и посюсторонними заинтересованными силами, будет подаваться таким образом, что народ, возбудившись, ринется против устоявшегося режима и разрушит его, чему в истории только нашего столетия несчетно примеров (хочу еще раз оговориться, что речь здесь идет лишь о духовном воздействии, о зомбировании, то есть соответствующей обработке масс в нужном для тронных или претендующих на троны особ); если для каких-либо целей требуется восстановить монархию, то с помощью информационной, то есть теле-радио-газетно-журнальной машины люди, давно уже обращенные в бесправную и безъязыкую массу, довольно быстро созрели и к такому развитию событий, не потрудившись подумать, что затем сотворят с ними восстановившиеся в «исторических», скажем так, правах князья и дворяне и какую холопскую (рабскую) долю подготовят подобным своим ротозейством будущим поколениям нации. В мир подаются идеологии (шаманский трюк), следуя которым или, вернее, воплощая которые в жизнь, народы

только еще более разоряются и беднеют, что, естественно, подтверждается бесчисленными, да, именно бесчисленными, примерами как из исторической, так и текущей жизни; подготовкой простолюдинов на массовые убийства (созданием образа врага) развязываются войны, чему блестящим образцом служат фашизм и коммунизм нашего двадцатого столетия, куются победы, программируются поражения (для нас, скажем, афганская и чеченская войны), порочится армия, унижается народ, в национальных масштабах является синдром неуверенности, неполноценности, подрываются престижи религий, верований, традиций, извращаются история и современность, оплевываются целые поколения отживших свое и неповинных ни в чем людей (за тронные деяния нельзя спрашивать с народа, народов, это преступно, и тем более принуждать к покаянию, как пытаются принудить нас, хотя не покаялось еще перед нами дворянство за многовековое крепостничество), наконец, разрушается вся социальная и экономическая основа жизни, разрушается собиравшаяся по крупицам основательность и т. д., и т. п., ибо, к чему ни прикоснешь в человеческом бытии, все имело и несет в себе духовное начало, и с помощью воздействия именно на это духовное начало (что, впрочем, всесторонне понимали уже древнеегипетские фараоны и умело применяли в укреплении тронного долголетия) общая жизнь людей получала и продолжает получать чудовищные извращения. У личностей, народа, народов, государств, людских сообществ, продолжающих еще сохранять веру в доброе, идиллическое бытие («славные Гипербореи»), самым коварным и решительным образом оказались отнятыми самостоятельность и самобытность; из века в век, да что там из века в век, из тысячелетия в тысячелетие нам продиктовывают условия жизни, подавляя дух и волю, а по сути, шаманствуя над человечеством, и все это подается как достижения великой — от древнеегипетского первородства — культуры и цивилизации. Было бы, наверное, нелепо утверждать, что ученые мужи не обращались к исследованию этого пласта человеческого бытия и не насочиняли работ, скажем, по истории развития культуры с древнейших времен и до наших дней, по истории развития цивилизации (разумеется, ныне господствующей, хищнической, ибо все другие давно и безвозвратно подавлены ею), что, дескать, нет фундаментальных трудов по возникновению верований, религий, что не интересовало их просвещение как источник света для народов против исторической и сиюминутной тьмы, хотя большая часть населения Земли и сегодня пребывает (удерживается определенными силами) в невежестве, что они, эти иерархи знаний, обошли вниманием науки, и прежде всего историческую и философскую, или оставили за бортом теологию, сферы театрального искусства, киноискусства, живописи, литературы, музыки, зодчества — всего не перечислишь, да и надо ли, поскольку нынешняя государственная власть (государственная машина подавления) настолько обросла этими и подобными им атрибутами духовного воздействия, то есть оружием зомбирования в совокупной его мощи (от автомата, образно говоря, до ядерной и водородной бомб), что сегодня трудно уже сказать, кто и что является базовой основой жизни, народ ли, ради которого вроде бы и создавалась государственность (в обобщенном смысле), или вся эта надстроечная машина воздействия и подавления, столь цепко закрепившаяся на загривке народа, — да, было бы нелепо утверждать, что ученые мужи не обращались к исследованию этого, по-моему, не тронутого еще реальным проникновением в него пласта человеческого бытия, но, во-первых, никто не удосужился рассмотреть все эти явления как некий целостный организм зомбирования, создававшийся тронами на пространстве веков, и, во-вторых, главной, или ведущей, целью этого совокупного организма зомбирования были и остаются защита и укрепление интересов тронов. Все, чем мы сегодня располагаем в области духовного воздействия, духовного подавления, и что официально именуется как творческая потребность и творческое проявление стремления широких народных масс в усовершенствовании своего бытия (и что я бы назвал прямым и откровенным фарисейством, ибо служило и служит хищнической системе господства и рабства), — все, все имеет несчетноевековую историю становления и развития, историю открытий, применения и совершенствования методов воздействия на умо-

настроение и психическое состояние личностей, народов, государств, людских сообществ; между зомбированием на примитивном уровне (самовзвинчивание под шаманские пляски и вопли) и зомбированием с применением самых современных технических средств (люди, сидящие у телеэкранов, и внимающие шаманствующему гласу политиков, депутатов, комментаторов, певцов) лежат тысячелетия, и, естественно, выделившееся из общего древа жизни древо власти не могло не использовать эти тысячелетия для укрепления и приумножения своего могущества. Сегодня нас пытаются заверить, что государственность возникла из потребностей народной жизни и что совершенствование этого аппарата насилия и порабощения тоже было и является необходимым условием для достижения «общего блага», о чем можно было бы сказать, что все вроде бы и так (при поверхностном взгляде на явление и определенной, достаточно впечатляющей своим правдоподобием тронноугодной трактовке), да и не так (при углубленном рассмотрении вопроса с экскурсами из современности в историю, в том числе и древнейшую, и из истории в современность); нас пытаются заверить, что и юридические законы, юридическое право в том виде, в каком оно существовало века и существует сегодня, тоже возникло или, вернее, родилось для справедливого разрешения возникавших между людьми конфликтов, о чем с еще большей вроде бы уверенностью можно сказать, что да, иного толкования и не может быть (если, конечно, довольствоваться четко отработанными и поданными в виде аксиоматических истин троннозаданными формулировками), тогда как юридическое право, если обратиться к истории действительной, а не к истории, изложенной в угоду и во ублажение властных сил, возникло во дворцах как средство защиты царствующих особ, их интересов и интересов привилегированной дворцовой элиты (что легко прослеживается в веках и достаточно четко просматривается в текущей жизни; с народа всегда только брали мзду за судопроизводство, да еще какую, и в пользу правителей, а справедливость оставалась за теми, у кого власть, сила, деньги); нас пытаются заверить, что культура, искусство, литература, живопись, музыка, зодчество всегда, во все времена развивались-де по своим внутренним законам и являли собой (в конечном итоге) выражение духовного потенциала народа, что, впрочем, столь же соотносится с правдой, как и возникновение государственности и юридического права, ибо уже одно то, что все великие и малые шедевры, когда-либо создававшиеся человеческим гением (в чем-в чем, а в шедеврах культуры, литературы, искусства, зодчества во дворцах знали толк), украшали и украшают царские и президентские хоромы, тогда как народы, простолюдины, как жили в избах и хижинах, так и живут в них, время от времени выходя поглядеть на выставленные в музеях те самые творения гениев, то есть, по сути, атрибуты царской и дворцовой повседневности.

XLV

Среди народов давно и прочно утвердилось мнение, что верования и религии являются неотъемлемой составной частью людского бытия. Нас пытаются заверить, да что там пытаются, заверили уже, что христианство, к примеру, как религиозное учение возникло из потребностей защиты бедных, униженных, оскорбленных. Возможно, все так и было. Но ведь история состоит не из того, что задумывалось и не осуществилось, а из того, что получилось на самом деле. То, что получилось из христианства, как, впрочем, и из других столь же фундаментальных религий, дает основание полагать, что либо историки, философы, теологи ошибаются, приписывая изначальному христианству далеко не свойственные ему (даже в замысле) функции защиты бедных, униженных, оскорбленных, ибо само это спасительное учение воссоздано на основе жесткой фараоновской державности с беспрекословным подчинением пастырям и трепетом перед волей Его, Господа, как перед волей тронного повелителя, умеющего карать мечом, а не словом, и сие религиозное «братство» изначально уже, заметим, изначально было поименовано «царством Божиим» (здесь следует учесть, что светская ли, церковная ли, но власть всегда есть власть, в какие бы понятия ее ни упаковывали), так что, да, либо историки, философы,

теологи, идеализируя то, что, возможно, уже в самом зарождении несло потенциальное (всеглобальное) зомбирующее начало, привычно (троннозаданно) оплошав с выводами, продолжают ошибаться и сегодня, либо, что тоже не исключено, поскольку проповеди Христа не были записаны при жизни Спасителя и представляли простор для произвольного изложения и толкования,— сразу после распятия и исчезновения тела Христа учение его, подвергнутое, возможно, даже кардинальному пересмотру, было затем в первое же столетие и определенными заинтересованными силами, увидевшими поработительскую и тронноукрепляющую возможность этого учения, положено не в русло защиты бедных, униженных, оскорбленных, а в русло подавления воли незащитных людских масс, в русло примирения их с их беспросветным рабством, и как бы в оплату за такое послушание церковь щедро открывала им (посулами, разумеется) врата вечного (загробного) рая. Конечно, я понимаю, никакое правдоподобие не может быть действенным, тем более служить века, если в него не вмонтированы определенные, благотворно влияющие на общую жизнь людей и вполне очевидные для простого люда истины; народам же о любом историческом явлении преподносят только эти очевидные, трогающие их души истины, а потому они остаются в неведении относительно обмана, тогда как об иерархах светской и духовной власти однозначно можно сказать, что они не просто в курсе подаваемой народам лжи, но и всеми доступными для них средствами поддерживают и усугубляют ее. Да, церковь, если оценивать ее деятельность по вкрапленным в историю ее становления и развития очевидным истинам, немало вроде бы сделала для умиротворения и просвещения народов, хотя просветительство ее не только не дало человечеству научного представления об историческом бытии (как, впрочем, и о текущем), не только не открыло истоки и суть общественных отношений, как и из чего они складывались и к чему привели людские сообщества (истоки и суть хищнической, от древнеегипетского первородства, цивилизации, истоки господства и рабства), но одной из своих самых значительных догм, догмой о промысле Божьем, вообще на тысячелетия отбросило человечество от исследования реальной истории; если же оценивать деятельность ее по стержневым свершениям, то картина, которая предстанет перед нами в развороте веков (ведь зачатки всех нынешних фундаментальных религий следует искать в шаманстве, в самопредназначении оракулов и языческих верований, опороченных затем этими же фундаментальными религиями), не только не будет иметь хоть какого-нибудь двойного толкования, когда берется нужное и отбрасывается или, точнее, скрывается порочащее, способное отвратить простолюдинов от веры, но, напротив, явит столь могучую тронно-уюгодную (троннозаданную) целостность, что все попытки присовокупить церковь к народному бытию покажутся жалким усилием скрыть окровавленные руки под прозрачной накидкой, заменившей собой отягченное золотом и драгоценными камнями церковное облачение. Я говорю не о крепостничестве, в котором церковь повинна точно так же, как и Рюриковичи и Романовы, оккупировавшие в разное время Россию и барствовавшие в ней, не о невежестве, в насаждении которого более чем повинны и отцы церкви, а если брать во всевропейском или даже более широком масштабе, то можно бы вспомнить о кострах инквизиции («охота на ведьм»), чад от которых до сих пор еще стоит над Европой, да и сможет ли выветриться хоть когда-либо, о крестовых походах, в том числе и детском, завершившемся столь трагически, что в течение полугода детские трупы, как непотопляемый кругляк, намывало на песчаные отмели средиземноморского (греческого) побережья,— нет, я вовсе не собираюсь прибегать здесь к шаблону и ссылаться только на то, что зафиксировано и осуждено историей, как некие вроде бы частности, не имеющие отношения к основополагающим догмам учения (если совесть у тех, кто придумал и пустил гулять по свету сию оправдательную формулировку, чиста, то да простится им на этом и на том свете), но хочу обратить внимание лишь на мученичество как на символ веры, в каком значении преподносилось и преподносится оно доверчивым простолюдинам, и кто и что обретает, воспринимая его как истину, и на суть «царствия Божьего», построенного (и строящегося) один к одному по самому дер-

жавному варианту земных царств и империй. Христос принял мучения за народ, народы, но дело не в том, насколько эта мученическая смерть проповедника оказалась спасительной для тех, кого он спасал, если не только не исчезла бедность, не исчезли невежество, унижение, рабство, но и не прекратились кровавейшие столкновения за власть, богатство, славу, то есть не исчезли межнациональные и братоубийственные войны, напротив, к ним прибавились, удвоив поток проливаемой людьми крови, войны религиозные, отличающиеся особой, фанатичной жестокостью,— да, дело не в том, насколько мученическая смерть Христа оказалась или, вернее, не оказалась спасительной, а в том, что теперь все (по крайней мере что касается верующих) должны проходить через эти мученические врата, чтобы через страдания получить очищение, орудие казни — крест — возведено в божественный символ, должный или говорящий нам, что смерти нет и не надо ее бояться, что любая казнь (или, скажем, просто ущемление прав личности, народа, народов) есть всего лишь испытание, ниспосланное Господом, и что оно может быть одномоментным, но может длиться (для личности ли, для нации и народа в целом) жизнь, век, тысячелетия; ведь церковь по своим действующим канонам может только великомучеников провозглашать святыми и отягчать их ликами златосверкающие иконостасы, и такими великомучениками всегда почему-то (разумеется, известно почему) оказываются высочайшие представители власти — по принципу, что, какие бы деяния ни совершал правитель, он совершает их во имя общего блага, во имя народа, и его всегда можно, подставив факты, изобразить великомучеником (как это, к примеру, пытаются сегодня сотворить с Николаем II), в то время как тысячелетиями страдающие в нищете и рабстве народы, да, целые народы, не только остаются за бортом иконостасов (да и что могло бы дать простолюдинам подобное посвящение в святость?), но и вообще в их жизни и страданиях мало что изменилось с пращурных веков. История показывает, что вред или ущерб, нанесенный человечеству (простолюдинам) учением об очищении через страдания, настолько неохватен, что его нельзя сравнить ни с какими нашествиями, разорениями, войнами, и единственные, кто мог получить и получил от сей церковной догмы несказанные дивиденды,*так это троны, спаянные ныне системой престольного чужеродства; в руках у властителей оказалось мощнейшее оружие духовного подавления (зомбирования), и они, притесняя, обирая и вгоняя в кабалу (рабство) подвластные им народы, могли уже не заботиться о том, что деяния их вызовут гнев и волнение среди людских масс, ибо страдание есть естественное, предначертанное Богом состояние простолюдинов, им просто-напросто (не от тронов, нет) ниспосылаются испытания, пройдя через которые, они должны получить очищение, и церковь, надо сказать, блестяще выполняла и продолжает выполнять эту троннозаданную миссию внушения. Для правителя достаточно иметь нательный крестик, чтобы считать себя причастным к мученичеству и творить беспредел (под защитой, разумеется, этого крестика), барствуя или роскошествуя в дворцовых палатах, тогда как народ, надевший на себя этот нательный крестик, надевал одновременно и ярмо физического, и ярмо духовного рабства. Так обстояло и обстоит дело с основополагающей церковной догмой о значении и величии мученичества, тронная заданность которой не подлежит сомнению. Теперь давайте посмотрим, что представляет собой иерархия духовной власти в сравнении с иерархией светской, на каких основах зиждется, скажем, любая нынешняя государственность, не говоря уже об империях, царствах, королевствах, княжествах, герцогствах, возникавших, расцветавших и умиравших на пространстве веков, и на каких основах или по какому принципу создавалось «царствие Божье», которое хотя и не имеет явных границ (кроме Ватикана), но во всем остальном — главное же, в экспансионистской политике — являет собой прямой прообраз земных держав.

XLVI

Ни историки, ни философы, ни теологи почти не задаются вопросом, что явилось на свет прежде: царствие земное, то есть светское начало государственности как стержневая основа господствующей ныне хищнической цивилизации,

или «царствие Божье» как духовная основа все той же государственности со всеми ее атрибутами подавления и насилия (беспрекословная подчиненность по вертикали от трона до стола последнего сельского чиновника и «братство» по горизонтали для простолудинов — по рабскому труду, нищете, невежеству, что в переводе на язык церковных иерархов означает — пастыри и паства); не задаются же, видимо, потому, что, с одной стороны, не желают или боятся осложнять отношения с церковью, ибо «царствие Божье» на поверку есть всего лишь перенесенная из реальной жизни система общественных отношений и общественного бытия, как она сложилась, опираясь на фараоновскую державность, к началу возникновения фундаментальных религий вообще, а с другой — столь же опасаются лишить властителей той главной опоры, позволяющей им безраздельно господствовать над людьми и угнетать их, той защитной грамоты, что тиранство земное есть-де всего лишь отражение тиранства небесного, которая всегда давала, как предоставляет им и теперь право на беспредел. Двойственность и неопределенность в освещении исторических событий — для человечества это прямая дорога в невежество; кому выгодно, чтобы человечество пребывало в невежестве, тоже понятно, а значит, должно быть понятно и то, для чего «царствие Божье», сконструированное по образу и подобию земных царств (образу и подобию фараоновской державности), было затем возведено в непререкаемый, неподдельный оригинал со всегосподством творца и бесправием коленопреклоненных перед ним «рабов Божьих». Если бы «царствие Божье» и царствие земное действительно развивались самостоятельно, каждое по своим законам, то рано или поздно они столкнулись бы в кровавой схватке за власть, в которой, как это случилось с хищнической и альтернативными ей цивилизациями, кто-то неизбежно должен был бы погибнуть, кто-то восторжествовать; но ни века, ни эпохи не знают такой схватки, за исключением известных в истории мелких стычек, обычно завершавшихся примирением иерархов церкви с иерархами светской власти, и факт этот красноречивее всего говорит нам, что между светской государственностью и церковной не только не было каких-либо серьезных противоречий, но, напротив, они всегда действовали единой спаянной силой вполне земного, тронного образца, позволявшей им укрепляться в заданной для себя державности. У меня нет сомнений, что первичным явлением государственности была государственность светская (фараоны и рабы) и что духовная государственность — пастыри и паства, или «царствие Божье» — есть всего лишь скопированный и приподнятый затем до высот Творца вариант устоявшегося насилия людей над людьми; повторяю же я эту высказанную выше мысль для того, чтобы еще и еще раз подчеркнуть определенную (изначальную) и неопровержимую тронозаданность религиозных учений, заданность зеркального отражения всех атрибутов и механизмов государственной власти вообще, сообразованных в единодержавный аппарат насилия и подавления, и сказать, что церковь неотделима от государства точно так же, как крыша от стен дома, в котором должна теплиться жизнь (в данном случае царская), и никогда не будет и не может быть отделена, несмотря на все заявления, какие делались на протяжении веков и делаются нынешними правителями; чем жестче и категоричнее заявление об отделении церкви от государства (простой обман этот, впрочем, имеет достаточно глубокую политическую подоплеку), тем теснее и очевиднее прослеживается единодержавность целей церкви и государства; церковь без государства — все равно что слуга без хозяина, деятельность ее сужается и обесмысливается (если, разумеется, сама церковь не превращается в государство, как это не раз происходило в прошлом и происходит теперь), точно так же и государство без церкви — словно барин без слуги, хотя в нынешних условиях у этого оружия зомбирования появился достаточно могущественный и действенный конкурент — средства массовой информации. Конечно, у телевидения, радиовещания, газет и журналов сегодня куда больше возможностей влиять на настроения людей, чем у церкви, масштабность их деятельности такова, что они способны единомоментно обработать жителей не только разных стран, но и разных континентов и подчинить их единой троннопродиктованной воле, но ведь над церковными догматами возвыша-

ется святость Творца, что и обеспечивает им нетленность и вечность, тогда как за новоявленным конкурентом на треноприслуживание стоит лишь сила капитала, сила «золотого тельца», что придает средствам массовой информации определенную неустойчивость, продажность, а потому и конкурент сей, несмотря на всю свою техническую оснащенность, думаю, вовсе не является конкурентом стабильной и остающейся пока еще могущественной церкви — по крайней мере (хотим ли мы, не хотим ли этого) на десяток ближайших столетий. Язычество, как, впрочем, и система оракулов и шаманство, было вынуждено уступить нынешним фундаментальным религиям, потому что не имело в основе своей государственного начала, а значит, и не могло стать надежной (духовной) опорой тронов, какими явилось, к примеру, христианство, а чуть позднее мусульманство, породившее сначала арабский, а затем турецкий (под верховной опекой османских турок) халифаты, и вряд ли тут можно говорить о каком-либо народном истоке господствующих ныне религиозных учений или их божественной предначертанности. Но за века, как ни странно, удалось все-таки внушить людям, что есть у религий и народный исток, и божественная предначертанность, и обман этот, вложенный в рамки правдоподобия, среди простолюдинов так до сих пор остается нераскрытым; не будь этого обмана, церковь не была бы церковью в том значении, в каком она представляла в веках и предстает сегодня, а у тронов не было бы столь необходимой им духовной опоры, которая, выступая в роли оберегателя и защитника народной жизни (защитника бедных, бесправных, обобранных, униженных и оскорбленных), всей своей заданностью безотказно служила бы династической — от древнеегипетского первородства — державной власти. Возможно, я не открываю истину, но хочу подчеркнуть, что всякое основополагающее религиозное учение создавалось правителями (правлящими олигархическими элитами) или под диктовку их и что то, что совершенствовалось веками (в том числе и обман), не может быть заменено чем-либо скоротечно рожденным, явившимся в суете кровавых разборок и схваток за власть, хотя бы это и были технически супероснащенные средства массовой информации, ибо любая претендующая на роль церкви система духовного воздействия в современном мире должна как минимум зеркально отражать (в своей функциональной деятельности) стержневую суть навязанного людским сообществом хищнического миропорядка, суть основанной на господстве и рабстве государственности, поднятой до идеала народной жизни, а чтобы вера в этот идеал не подвергалась колебаниям и сомнениям, то есть не зависела от произвола временщиков, приходящих во власть (история знает и подобные случаи), он должен быть до такой степени обожествлен и обрамлен Nimbus святости, что без новоиспеченного Спасителя и соответственно новопродиктованного религиозного учения тут не обойтись. Если такое произойдет, а произойти это не может, ибо нет второго подобного символа, как символ мученичества, чтобы с помощью его (очищение через страдание) можно было бы веками удерживать людские массы в смирении и кабале, как невозможно превзойти по значимости и силе воздействия формулировку «смертью смерть поправ», когда обычная казнь обычного проповедника, не умевшего и не хотевшего угодить властям, оказалась возведенной в святость, а орудие казни — крест — отождествленным с магическим талисманом жизни, как невозможно «вечные муки ада» заменить каким-либо более веским по воздействию и более обожествленным по значимости устрашением, а «вечное блаженство в раю» — другим обещанным благоденствием; ведь мы только говорим, что человек и человечество безграничны в творческом проявлении, тогда как в действительности подобной возможностью обладали и продолжают обладать лишь поводырствующие особы, и если судить по состоянию современного мира, управляемого сонмом временщиков, дорвавшихся до власти и готовых (в противостоянии друг другу) разрушить даже то, что было создано их династическими предками, то вряд ли у современного сообщества (так и тянет соскользнуть на сию традиционную колею) хватит ума, то есть прозорливости, сил и воображения на нового Спасителя и новые религиозные догматы жизни. Но если все же произойдет (при активизации правителей и традиционном ротозействе народов) подоб-

ная «духовная» революция, то она не только не принесет никакого обновления (ведь система хищничества не способна на самоуничтожение), но, напротив, как это не раз бывало в истории, назвав имя вновьявленного Спасителя, приведет (разумеется, согласно разработанному им и его клановым окружением «религиозному» учению) лишь к еще большему и уже необратимому закабалению людских масс и установлению единодержавного мирового господства, к какому, начиная от сорокавекового правления фараонов, стремились, заливая землю кровью простолюдинов, все наши иконостасные и пьедестальные поводыри. Престольное чужеродство, угнетающее народы (над нами оно творит беспредель уже более пятнадцати веков), получит в рамках чужеродной духовности (ибо всякая навязываемая людям религия есть не что иное, как духовное чужеродство, лишаящее народы их национальной самобытности) новый подкрепляющий импульс, и человечество может не заметить, как окажется во власти новых поработителей, действующих от «золотого тельца» и потому более жестоких, холодных и равнодушных к закабаленному ими люду.

XLVII

Думаю, читатель поймет, почему я уделил здесь такое внимание церкви, то есть духовному поработительству, духовной поддержке тронов, когда достаточно было бы сказать, что любая религия, особенно христианская и мусульманская, как позднейшие и потому более совершенные,— что любая религия есть точно такое же детище тронов, как и культура, литература, искусство, живопись, музыка, зодчество, просвещение, то есть все то, что создавалось для государственных нужд и служило и служит неким общенародным (за этим понятием подразумевается единство власти и народа, хотя такого единства никогда не было, а были только противостояние и противоборство) целям; да, наверное, достаточно было бы сказать, что происхождение и тем более укоренение религий, несущих обожествленный образ нынешней хищнической государственности, не связано ни с каким началом народного бытия, и поставить на этом точку; но, во-первых, против укрепившегося среди простолюдинов мнения, будто церковь есть защитница бедных, униженных, оскорбленных, что она является посредником в общении между людьми и Богом и что устами ее служителей вещается воля Творца,— против такого мнения, веками, да-да, веками вдалбливавшегося массам простолюдинов, не сработает даже самое правдивое, но не подтвержденное аналитическим разбором утверждение, и, во-вторых, в числе подпирющих троны государственных структур, приведенных (хотя и неполно) выше, церковь занимала и продолжает занимать как механизм духовного подавления, механизм зомбирования ведущее место. Стержень господства и рабства, то есть фараоновская державность, представавшая, конечно же, в личностях и кланах личностей, сообразовавшихся позднее в народ «богоизбранников», двинувшаяся в свое время из Египта на обетованные земли, чтобы завладеть миром, не могла не принести поработавшимся людским сообществам систему престольного чужеродства, а чтобы система эта, кроме военной, силовой, могла иметь еще и опору (и оправдание) духовного порядка, нужно было, чтобы народы, прежде жившие по своим законам и уложениям, признали и приняли как благо привносимую в их быт хищническую цивилизацию, а вместе с цивилизацией и единую, то есть единого образца, культуру, единого образца искусство, живопись, музыку, просвещение как неотъемлемые составные государственной машины воздействия на умонастроение и психическое состояние людей, и церковь в этом ряду с ее религиозным учением и монументальным стержнем державности должна была венчать и венчала веками сию (расшифрованную, впрочем, еще Платоном) древнеегипетскую пирамиду власти. Народам, в сущности, взамен их самобытности преподносилось чужеродство, разрушавшее их исконные национальные устои, о достоинстве и недостатках которых впряме были судить только сами носители этих устоев, но никак не те (державники, если назвать обобщенно), кто с мечом и крестом приходил наставлять, как принято говорить теперь, отсталые народы на путь истины, и это в официальных историографиях подается как приобщение к «общечеловеческим

ценностям» (примером подобного «приобщения» опять же может служить освоение Америки да и покорение Европы римскими полководцами), так что цивилизация, должная вроде бы нести процветание и благо народам, как это до сих пор пытаются внушить нам, предстает в веках не чем иным, как палачом людских сообществ, и — кто возьмется оспорить этот неоспоримый факт истории? Конечно, нам трудно признать, что все, что окружает нас в области культуры, литературы, искусства, музыки, живописи, зодчества, является порождением престольного чужеродства, столпом его могущества, стабильности, долголетия, и если бы мы дерзнули обратиться к той действительной жизни народа, какой он жил всегда и продолжает жить сегодня, то без усилий обнаружили бы, что он как не принимал, так и по сей день не приемлет привносимое и навязываемое ему духовное чужеродство и живет совершенно иными, своими представлениями о ценностях бытия. Ведь мы до сих пор не имеем точного представления о религиозности или, вернее, религиозной приверженности масс, ибо посещение храмов и выстаивание на богослужениях (по четыре часа на заутренях, по два и три на обедних и вечерних бдениях, как это было в России времен крепостничества, и всякое отступление от этого правила считалось чуть ли не предательством национальных интересов и строго наказывалось, а если взять «Четьи-Минеи», регламентировавшие поведение верующего — читай: простолюдина — на каждый день и месяц года?), — посещение храмов и выстаивание на богослужениях еще не говорят о глубинной приверженности народа, народов к вере; мы забываем, что именно православие как религия абсолютистской державности, религия духовного подавления отсекло нас от наших самобытных духовных ценностей, что насаждаться среди славян оно стало задолго до появления Рюриковичей и провозглашения исконных славянских земель Русью (с опережением более чем на столетие, о чем подробно рассказывалось уже в первом томе этого сочинения, православная византийская церковь в единстве с императорской властью — две коронованные орлиные головы на одном туловище — объявила территорию будущего Российского государства Шестидесятой Восточной православной епархией и начала свою миссионерскую, а по сути, экспансионистскую деятельность), и я спрашиваю себя, чем византийская самобытность, опиравшаяся на христианские догмы, была лучше славянской, основывавшейся на языческих верованиях, и для чего правителям и отцам византийской церкви понадобилось навязывать свои жизненные устои соседствовавшему с ними славянскому народу? Да, о чем они думали и что замыслили (ведь тут бескорыстием и благотворительностью и не пахнет), отправляясь наставлять сопредельный народ на «путь истины», народ, который не знали, не хотели знать, как не знают и не хотят знать и теперь, прикрываясь поэтическим выражением «Умом Россию не понять» (да, господа, не понять — чужеземным, холодным, расчетливым, равнодушным, поработительским), и разве за духовной экспансией не последовали экспансии политическая и экономическая? Ведь с принятием православия славный наш креститель Владимир вынужден был подписать засекреченный затем договор о стольничестве, то есть о вассальной зависимости киевских великих князей от византийских императоров, и зависимость эта длилась вплоть до Ивана III, получившего вместе с Софьей Палеолог и все атрибуты византийской императорской власти. В официальной да и неофициальной историографиях принято считать, что крещение Руси явилось великим благом для русских людей, и, надо сказать, все мы настолько привыкли к подобному утверждению, что уже и не помним, чем же на самом деле обернулось для нас это революционное, иного слова и не подберешь, потрясение. Вторгшаяся в устоявшийся идилический быт славян, быт «славных Гипербореев», к тому времени, впрочем, достаточно уже нарушенный нашествиями гуннов, аваров, хазаров, набегами торков, печенегов, половцев, новая религия не просто разрушила наше славянское (языческое и, думаю, не худшее) представление о ценностях бытия, несшее в себе жизнеутверждающее начало, но вслед за гуннами и аварами, словно ей и в самом деле предначертано было довершить азиатский на славянской земле беспредел, окончательно отторгла нас от нашей самобытности; гунны, порушив наши жилища на

пространстве между Днепром и Рейном, лишили как восточных, так и западных славян материальных условий жизни (напомню, что Аттила считал всякие жилища — кроме кибиток на колесах, разумеется — живыми могильниками и шел очистить от них землю), тогда как христианство, выбрав объектом экспансии людские души, обратило их в те же, что и Аттила, пепелища, лишив наших пращурных предков, а вместе с ними и нас исконной (корневой) славянской самобытности. Я не преувеличиваю, нет, такова правда отечественной истории, если без тронной заданности и предвзятости подходить к ней и тем более если сравнить, какими мы были в язычестве, умевшими (даже после гуннского и аварского нашествий) постоять за себя, и какими стали теперь, одогматившись христианскими заповедями, — безликим, безгласым, беспомощным народом, не способным оградить себя ни от престольного чужеродства, продолжающего и сегодня держать нас в крепостничестве, ни от институтов чужеродной духовности, не перестающих извращать нашу историю, порочить и унижать нас. Да и что могли дать нам византийская государственность и византийская церковность, кроме стабильной обособленности власти и отчужденности и заброшенности народа, стабильной обособленности духовных пастырей, отцов церкви, и отчужденности и заброшенности паствы, то есть рабов Божьих? Ничего. Но, мне кажется, и этого достаточно, чтобы оценить исторический трагизм всей той жизненной ситуации, в какой оказались замкнутыми на века русские люди. Историческая и текущая действительность свидетельствует, что в царских дворцах и патриарших палатах, огороженных кремлевскими стенами, текла одна жизнь, барская, скопированная (по могуществу власти и роскоши) с древнеегипетских фараонов, тогда как по другую сторону тех же кремлевских стен в нищете и бесправии стонала загнанная в крепостничество крестьянская Русь. Престольное чужеродство, захватившее со времен Рюриковичей господство над коренным славянским людом и укрепившееся в этом своем господстве, было настолько с первых же лет правления озабочено решением своих клановых великокняжеских интересов, что вспоминало о подданных, которых взялось вроде бы опекать и оборонять, лишь когда надо было собирать с них дань (подати, налоги) на некие будто бы государственные нужды да рекрутировать (это уже позднее) в солдаты крестьянских детей для защиты трона и отечества, а если говорить о политике в целом, проводившейся в отношении смердов, как именovali нас в те времена, то она заключалась в том, чтобы не дать нам возможности обрести достаток, а вместе с достатком и человеческое достоинство. Вслед за Рюриковичами эту ограничительно-убийственную политику продолжали Романовы, на столетия загнавшие нас в крепостничество (на своей земле мы оставались безземельными, как остаемся ими и теперь, а потому бесправными и безвластными над своей судьбой); от Романовых эстафету крепостничества, названную колхозным строем, подхватили вожди «победившего пролетариата», а теперь с достоинством фараоновских державников несут ее оттаврованные Западом демократы, соединенные клановой олигархической спайкой; как видим, сменяются эпохи, являются на тронах новые личности, грешащие, однако, все тем же известным со времен египетских пирамид популизмом, но неизменными остаются законы и устои власти, и я бы добавил здесь, что наша история, наш тысячелетний трагизм, не является исключением, но лежит в русле общей истории народов, которые столь же обманно или захватнически оказались под пятой сих знаменосцев престольного чужеродства, сих державников, кичащихся фараоновским, вернее, мнимо-фараоновским первородством. Точно по этой же схеме, даже вроде бы как ее первообразный образец или идеал, живет и действует духовное чужеродство, именуемое церковью (царствием Божьим); ни в Евангелиях, ни в Священном Писании в целом не сказано, на какие средства могут и должны существовать, вернее, содержаться молитвенные пристанища и служители в них, но — с мира по нитке, и вот уже величественно золотятся купола храмов; с мира по нитке — и вот уже шедеврами непревзойденного мастерства и богатства предстают иконостасные лики святых, охваченные окладами и ризами; с мира по нитке и — ломятся патриаршие и митрополичьи палаты от достатка и роскоши, тогда как паства, то есть рабы Божьи,

во спасение и на благо которых как раз вроде бы и возводились и украшались церкви и храмы, — рабы Божьи как пребывали, так и пребывают в состоянии нищенского застоя, и церковная забота о них сводится (если смотреть в корень) лишь к тому, чтобы примирять их с окружающей их державной (хищнической) действительностью.

XLVIII

В столь же подчиненном положении по отношению к тронам всегда находились, как находятся и теперь, не только гуманитарные науки, скажем, историческая, философская, археологическая, готовые подтасовать хоть прошлое, хоть настоящее, то есть текущее, бытие под нужды коронованных да и некоронованных властных особ, но и так называемые точные науки, работающие на военный и экономический потенциал господствующих держав. Если бы открытия ученых мужей действительно принадлежали человечеству, как об этом говорят и пишут тронovesчателю всех мастей и рангов (и что после тысячелетних внушений и в самом деле обращается в истину), то в мире была бы единая система знаний и не существовало бы закрытых и открытых научно-исследовательских институтов и центров. Но такие институты и центры существуют и выполняют (в зависимости от закрытости или открытости) каждый свою троннозаданную роль. Закрытые, как упоминалось уже выше, работают на военный и экономический потенциал господствующих держав, дабы державы эти, оснащенные новым и новейшим вооружением, новыми и новейшими технологиями в сфере промышленного производства, могли безраздельно, вернее, единоподержавно, как делают это Соединенные Штаты Америки, диктовать народам и государствам выгодные для себя условия бытия, тогда как открытые служат тронам тем, что популяризуют либо то, что уже исчерпало свою секретность (в области точных наук), либо то, что по политическим соображениям властей следует приглушить или, напротив, высветить (в нужном, разумеется, ракурсе) те или иные события как дальней, так и ближней истории. Такова правда жизни, которая, впрочем, настолько извращена и героизирована в преподносимом нам (тысячелетиями преподносимом) варианте, что мы, как и в случае с религией, верим уже не в правду, а в ее мифологизированное в правдоподобие изложение, будто правители — это одно, а ученые мужи — совсем другое, ибо работают не на троны, а на некий общий прогресс человечества, к которому, увязая все глубже и глубже в хищническом мироустройстве, откристиализованном еще фараонами Египта, и, ликующе теша себя заверениями, что все движется к прогрессу и процветанию, устремлены сегодня людские сообщества. На нас словно бы сброшена золоченая пелена обмана, и мы, видя, как повсеместно торжествует, набирает могущество, крепнет державная власть и опускаются все в большую и большую нищету и бесправие народные массы, не можем разглядеть простейших, лежащих на поверхности причин этого самоубийственного для народов явления, особенно для тех народов, которые так до сих пор и не смогли ни принять хищнический миропорядок, ни приспособиться к нему, и продолжаем верить, с одной стороны, в чудодейственные возможности церкви как некой народной защитницы, а с другой — в прогрессивную роль наук, вернее, ученых мужей, подвижнически якобы кладущих жизни ради достижения общего блага. Нельзя сказать, чтобы ни от церкви, ни от ученых мужей, работающих хоть в сфере гуманитарных, хоть в сфере точных наук, не было никакой отдачи для общества; у каждой из этих тронноприслуживающих ветвей есть свои заслуги как в охранительно-нравственном плане (церковь), так и в материально-жизнейском обустройстве (науки); да и без видимых причин для веры не было бы и самой веры, то есть церкви как наставницы истины и столь распространенных ныне наук как двигателей прогресса и процветания и не через кого было бы насаждать троннозаданную ложь, прикрытую догмами и аксиомами правдоподобия; мне иногда кажется, что не столько виноваты правители в насаждении во всех областях жизни обмана (разумеется, они виноваты, ибо не будь их, не было бы и обмана), сколько простолюдины сами изъявляют готовность принять обман, поелику в бесправном и подневольном бытие им на-

до же во что-то верить, на что-то надеяться, и кто, как не церковь со своим всемогущим Богом, может дать простолюдинам (по мнению одних) утешение и избавление от нищеты и кабальной зависимости от царствующих особ, и кто, кроме ученых мужей (по мнению других), может своими «великими открытиями» привести мир ко всеобщему благоденствию? Мне также кажется, что вслед за простолюдинами изъявляют готовность к восприятию обмана и те, кого принято называть интеллигенцией и кто так и не определился за века, с кем сподручней было бы существовать — с обездоленным ли простым людом, вызывающим сострадание и нуждающимся в поддержке (но с которого нечего взять и рядом с которым можно только нищенствовать и опускаться в невежество), или с лоснящимися от сытости и довольства правителями (от которых можно кормиться и с которыми процветать), — именно они в силу своей нерешительности оказались главнейшими проводниками и толкователями всех тронных (античеловеческих, антиобщественных) замыслов и свершений. Эта прослойка человечества, занявшая самое, может быть, выгодное, по их мнению, посредническое пространство между правителями и народами и в любую минуту готовая переметнуться от тронов к простолюдинам и от простолюдинов к тронам, и в чью искренность, думаю, давно уже не верят ни во дворцах, хотя и прикармливают их и используют в своих целях, ни в хижинах, хотя и заряжаются их популистскими призывами и идут на баррикады умирать за поданный ими призрачный свет свободы, — прослойка эта, то есть вполне вроде бы образованные люди, заполнившие собой академии, университеты, институты, всевозможные научно-исследовательские заведения и центры (они же верховенствуют в культуре, литературе, искусстве, живописи, музыке, и ими же оккупированы медицина, юстиция, суды, просветительство), как ни покажется это странным, пребывая в обмане, то есть в солидарности вроде бы с народом, одновременно служат тронам, как самые верные стражи и исполнители их воли: они и сегодня предстают вездесущими, всезнающими, всепонимающими, в том числе и творимый правителями над народом обман, хотя и не выступают против него, их ни в чем нельзя уличить, они вне подозрений как «двигатели прогресса» и «авангард человечества» (титуты, коими сии деятели так любят награждать себя), но если человечество кому-то и обязано тем, что по макушку увязло в хищническом мироустройстве, то во многом именно этой умеющей хамелеонно перекрашиваться (в зависимости от обстоятельств) прослойке, прочно занявшей, как уже говорилось, самое выгодное для своих подковерных деяний посредническое пространство во взаимоотношениях властей и народов. Таковой по крайней мере предстает сегодня перед нами их многовековая, определенная еще фараонами Египта миссия бесхребетности; бесхребетности, впрочем, если как следует разобратся, мнимой, обманной, для видимости, ибо в стержнейвой основе прослойка эта никогда не служила народу, но все делала только для ублажения тронов и укрепления могущества их власти, о чем неопровержимо свидетельствует горько-эпохальный итог всего нашего бытия. Между тем иерархи знаний (речь идет об иконостасно-пьедестальных, а проще, признанных и возвеличенных) редко когда ссылались на диктат правителей, а если и делали это, то спустя десятилетия, столетия или тысячелетия, когда историческая ложь и подтасовки настолько внедрялись в сознание людей (главным образом простолюдинов), что никакие разоблачения уже не могли или почти не могли ничего изменить в устоявшихся (канонизированных) взглядах на прошлое, тогда как правители во все времена, я подчеркиваю это, ссылались, как ссылаются и теперь на выпестованные ими же самими авторитеты «великих историков», «великих философов» да и вообще на науку как на нечто индугирующее (земное, но оттого не менее значимое), то есть оправдывающее в глазах непосвященных, пребывавших в невежестве масс тронноузаконенное со времен пирамид порабощительство.

XLIX

Принято полагать, что как материальный, так и духовный мир бытия лежит за пределами человеческого познания и что чем больше мы узнаем о при-

роде и о себе, тем яснее понимаем, что не столько приближаемся к истокам жизни своей и жизни вообще, сколько отдаляемся от них, и что соизмеримость непознанного с каждым новым открытием обретает все более и более неохватные масштабы. Полагают также, что утверждение это более приложимо к точным наукам, чем к гуманитарным, хотя если отбросить глубоко въевшиеся в нас общетрафаретные суждения и посмотреть на все реалистическим взглядом, то без особых на то усилий можно заметить, что и для гуманитарных наук характерно точно такое же явление: чем углубленнее и всестороннее вроде бы познается история, тем больше остается в ней неясного и непознанного, или, если сказать иначе, чем больше версий и измышлений, тем масштабней и гуще туман, заслоняющий не только свершения пращурных веков, но и события текущей жизни, происходящие вроде бы на наших глазах и с нами. Однако между развитием точных и гуманитарных наук все же существует различие, поскольку для первых растущая пропорция между познанным и непознанным есть явление естественное, ибо только через истинные познания можно увидеть степень непознанного, тогда как для вторых барьером на пути к познанию истоков общественных отношений и общественного бытия являются не истинные, а ложные «открытия» и толкования. Мы привыкли считать, и в этом нас заверяют соответствующие иерархи, что мир совокупен в своем развитии, таким и нужно принимать его к изучению и что мужи науки неотступно-де следуют именно этому разумеющемуся само собой правилу; но история, к сожалению (в изложении, я имею в виду), еще никогда не строилась на совокупном восприятии и толковании событий, а возводилась по типу параллельно бегущих линий, представляющих собой определенные направления в многогранной деятельности как отдельных личностей — царей, полководцев, отцов духовности, — так и людских сообществ, и при таком видении истории (чем облегчается якобы систематизация знаний) можно с легкостью изымать любое из направлений общественного бытия и рассматривать его уже не с точки зрения причастности или зависимости от исторических и текущих процессов жизни, ибо известно, что с появлением тронов все служило, служит и подчиняется им, а с точки зрения динамики самого этого направления, то есть научных открытий, происходивших будто бы лишь в рамках этого направления или, вернее, этой области человеческого проявлений, которые, если отвлеченно судить о них, и в самом деле предстают значительными, величественными, работавшими и работающими будто бы единственно лишь на прогресс и процветание людских сообществ. При подобном подходе к изучению действительности, сопровождавшей человечество во все времена его земного существования, когда от монолита общей жизни отсекается лишь некая часть, некое самостоятельно будто развивающееся направление в деятельности ума и воли личностей и сообществ, главная цель исследования, лежащая в русле целостного восприятия мира, а для исторической и философских наук, повторяю — в познании (прежде всего) становления и развития общественных отношений как стержневой основы жизни, — главная цель подменяется (и в большинстве случаев это происходит произвольно, ибо продиктовывается узковедомственной, позволительно будет так выразиться, заданностью) побочной, усеченной, ложной, поскольку внимание исследователя сосредоточивается уже лишь на динамике самого изучаемого процесса, то есть на том, что можно было бы определить как совершенствование, к примеру, орудий труда, охоты или убийства людей (от лука, стрел, изобретения пороха до современных скорострельных автоматов, пушек, ракет и ядерной бомбы, о чем я уже писал выше, но к чему, думаю, вновь уместно вернуться здесь) или средств духовного воздействия, а проще, оружия зомбирования масс (от шаманских речитативов под бубны, каменных и деревянных языческих идолов, церковных иконостасов и алтарей до всеглобального радио- и телевизионного вещания). В каждом из направлений, если оценивать их, скажем, лишь в плане научных достижений, не задаваясь при этом вопросами, кому и для чего нужны были эти достижения, поражает прежде всего динамичность развития научной мысли и технического прогресса (на фоне статичной, добавим, или даже усугубляющейся нищеты масс), и эта-то бьющая в глаза «ди-

намичность», воспринимаемая через призму академического достатка и сытости, как раз и подвигает ученых мужей к невольному, может быть (не все же они в одночасье становились тронугодниками), восхвалению столь торжествующей ныне хищнической — от древнеегипетского первородства — цивилизации. Можно привести еще несколько причин, подталкивавших иерархов знаний к подобному узкоколейному изучению истории, ибо, героизируя путь становления того или иного взятого направления, той или иной науки, а следовательно, и ее представителей, вернее, своих предшественников по стезе знаний, они, во-первых, возвышали науку в глазах современников и, придавая таким образом значимость ей, возвышали себя и значимость своих писаний, и, во-вторых, поскольку факты, которые использовались ими, действительно имели место и действительно оборачивались техническим прогрессом, хотя бы и в области силового и духовного притеснительства, — восседая на созданных и признаваемых всеми (по однобокости взглядов на подобные научные изыскания) пьедесталах, были в большинстве своем (по крайней мере так можно предположить, наблюдая за поведением современных академических светил) искренне убеждены, что не отступают от реализма, а если и служат кому-то или чему-то, то лишь всеобщему прогрессу и процветанию. Нельзя же, скажем, не признать величие того, кто изобрел порох, и не приписать народу значимость этого изобретения как величайшего научного открытия, изменившего картину мира, если, конечно, закрыть глаза на то, что принесло это открытие народам и какой кровью было затем оплачено и оплачивается поныне; да, совершенствованию оружия массового истребления и самоистребления, а в этой сфере как раз и были задействованы самые выдающиеся умы своих эпох, нет предела, еще недавно, казалось, кумиры порабощательства восторгались мастерами, ковавшими мечи, сабли, кинжалы из дамасской стали, а сегодня не только просторы Земли, но и небо, и воды океанов, да уже и околоземное космическое пространство настолько начинены современной смертоносным оружием, что уже ни рыбам, ни птицам, ни всякому иному существу на планете скоро не останется места для жизни. Но процесс совершенствования неостановим, имена создателей всего этого оружия, включая и создателей атомной и водородной бомб, не просто значатся в списках великих ученых мира, но, увенчанные славой, занесены в самые высокие правительственные поминальные, а истощенная в радениях за человечество плоть их в изваяниях из гранита и мрамора вознесена на пьедесталы вечности. В таком же искаженном виде по отношению к общему, целостному течению жизни, то есть к единому процессу бытия, отступившему от естественных закономерностей и отдавшемуся произволу человеческого разума, предстает и все, что связано с гуманитарной деятельностью людей, с проявлением их духовно-нравственных воззрений в области культуры, литературы, искусства, живописи, музыки, зодчества, просветительства и в первую очередь в верованиях и религиозных учениях. В самые древние времена шаманы всегда стояли рядом с вождями племен как равные по значимости, а во многом и по власти; тех же жизненных установок придерживались оракулы и правители в Древнем Египте, и взаимоотношения эти как эстафета взаимозащиты двух властей — духовной и светской — передались затем во всем своем почти первозданном варианте эпохе язычества, а в последующем — и эпохам фундаментальных религиозных учений: буддизму, христианству и мусульманству. Думаю, нет нужды повторять здесь, кем и для каких целей создавались и служили верования и религии, начиная от пращурных времен, от шаманских плясок и оракульских предсказаний, и почему коронованные особы прошлого, да и современные, посвященные в тайну сего троннозаданного обмана, столь бережно относились и относятся к культослужителям и их храмам; обоюдная привязанность их, как известно, зиждется на едином интересе власти, интересе господства над простодушными и доверчивыми массами простоллюдинов, но вопреки этой очевидной истине официальная историография всегда разбивала общую власть над людьми на светскую и религиозную и отводила таким образом верованиям и религиям самостоятельную роль в развитии человечества. На основе этого разделения затем возникла так называемая теологическая наука, то есть

наука о божественном происхождении Земли (твердь и хлябь) и всего сущего на ней, и именно эта «наука» во многом способствовала утверждению в сознании людей (главным образом простолюдинов) веры в незыблемость установившегося миропорядка и возвела фараоновский режим господства и рабства в разряд творений «промысла Божьего». Ведь религиозные учения с их бессмертными учителями Буддой, Христом, Магометом (чтобы не утяжелять повествование, привожу имена представителей только этих фундаментальных учений) предстают и сегодня перед нами совсем не в том свете, в каком должны бы представлять, в них заложены столь основательные и могущественные идеи (вот уж действительно зловещая мудрость веков), суть которых в общем-то самая простая из всех навязанных и продолжающих навязываться простолюдинам обманов, до сих пор остается загадочным образом неразгаданной; история же свидетельствует, что на протяжении веков только разрастались и тяжелели (под грузом золоченых окладов и риз) церковные иконостасы, приумножались, обрамляясь нимбами славы и святости, сонмы Божьих служителей и чудотворцев, тогда как жизнь большинства людей — жизнь народов и континентов — лишь приходила в упадок и отягощалась страданиями. Героизированная теологами, да и не только ими, духовность, которую мы по привычке, внушенной нам, отождествляем с верованиями и религиями, выделенная в самостоятельную составную развития, не только не прояснила, а, напротив, лишь усилила искаженное представление о едином процессе нашего исторического и текущего бытия.

L

В таком плане, думаю, следует рассматривать и работы по истории культуры, искусства, литературы, музыки, живописи, зодчества, просветительства, коими заполнены казематы книжных и архивных хранилищ, и если кто-то полагает, что они лежат там мертвым грузом, покрываясь пылью веков, то мнение это, распространяемое, возможно, с определённой целью, ошибочно и неверно; труды сии, не все, конечно, а только выдающихся авторов, чьи имена волею коронованных особ, умевших и умеющих блюсти свои монаршие в тысячелетиях интересы, были занесены в список ведущих мыслителей мира, — труды сии, как и священные писания, начиненные догматами воззрений и толкований, определяющих божественный будто бы смысл и божественные предназначения жизни, которым неизменно должны следовать люди (простолюдины, да, именно простолюдины, паства, ибо пастырское житие, как житие «доверенных» Бога, не может контролироваться ничем и никем, кроме Творца и Спасителя), хотя и не распространяются и не читаются в народных массах, но содержание их, как и содержание библейских заповедей, выдержанное в определенных тронноугоднических формулировках и передаваемое в изложениях, еще более усиливающих их иногда скрытую, иногда явную тронугодность (с оглядкой, разумеется, на действующих властителей), имеет свою силу воздействия, возможно, даже превышающую силу воздействия церковных проповедей, алтарей и иконостасов. Основой нашей хищнической цивилизации считается древнеегипетская государственность, суть которой легко укладывается в понятие «господство и рабство»; важнейшим же столпом государственности, кроме сил военного и духовного подавления, является культура (здесь и дальше позволю себе употреблять лишь сей обобщающий термин, вобравший в себя все направления в творческой деятельности людей), и тут, не боясь, что тень величия падет на фараонов, следует сказать, что они уже тогда, в те далекие пращурные времена, открыли и прочно, на века, вмонтировали третий опорный столп в основание своего, а затем и во всеобщем масштабе тронного долголетия. У меня нет здесь возможности в отдельности разбирать труды по истории литературы, искусства, музыки, просветительства (по нынешним временам можно было бы добавить историю так называемой «массовой культуры», вырабатываемой во дворцах для развращения масс и углубления невежества в них в противоположность камерной или салонной для себя); это всего лишь параллели единого процесса жизни, произвольно вырванные из него и героизированные — каждое на-

правление в рамках своих кумиров, которые, обозначившись веками столетий и тысячелетий, в свое время даже вроде бы противостояли властителям, но затем, что на первый взгляд покажется странным, да, именно странным, возведенные в разряд властителей душ, предстают сегодня самыми обыкновенными прислужниками тронов; как и в случае с точными науками, с изобретателями пороха, скорострельных автоматов, пушек, ракет, атомной и водородной бомб, видимость динамичности развития этих по отдельности разбираемых направлений иногда настолько поражает темпами своего внутривидового, можно было бы и так охарактеризовать, совершенствования, что без восторга, изумления и преклонения перед магистрами прошлого, выраставшими, казалось бы, из всеобщей, естественной, заданной будто бы природой темноты масс, а точнее, заданного престольным поводырством невежества и варварства, невозможно обойтись не только при поверхностном, но и при углубленном исследовании этих направлений в духовной сфере «народного» бытия. Слово «народного» беру в кавычки потому, что сия сфера деятельности никогда не была народной, да и не могла быть, поскольку творческое начало — стезя сугубо индивидуальная, и только по завершении или воплощении замысла может обретать либо подлинный, либо ложный, навязанный (чем и рождаются все разбираемые здесь направления культуры) так называемый общенародный смысл. Нас давно и настоятельно заверяют, что ни в какой иной сфере творческого проявления как личностей, так и людских сообществ не проступает столь явно стремление к свободомыслию, как в области духовных потребностей, и на основании подобных заверений, мало чем, в сущности, подтверждаемых (разве что надуманным, поверхностным правдоподобием), делается вывод об особой в жизни народов роли культуры и неоченимой ее миссии в деле духовного развития, то есть нравственного просвещения человечества. Так ли все обстоит на самом деле или опять только очередной обман, укорененный в нашем сознании в образе достоверного правдоподобия (вместо правды, как и во всем, к чему бы мы ни обратились в пределах человеческого бытия), — по крайней мере официальная историография даже не пытается задаться таким вопросом; этой же линии, линии пренебрежения к познанию истоков ныне установившихся общественных отношений, в формировании которых (формировании хищнической нравственности как хребетной основы миропорядка) активно участвовала и участвует культура, как ни парадоксально это звучит сегодня, причем в большинстве своем участвовала на стороне тронов и властных структур, так что о каком свободомыслии и вольнодумстве тут можно говорить, — да, именно линии пренебрежения к главнейшему вопросу бытия придерживаются историки, философы, искусствоведы, литературоведы и разные прочие исследователи подобного рода, сообразовавшиеся в сонм человековедов и твердо, видимо, убежденные в том, что культура во всем своем обобщенном понятии, как и точные науки и религии, изначально будто бы развивалась самостоятельно, как потребность в творческом выражении, и что именно в культуре (литературе, искусстве, живописи и т. д.), а не в философских трудах, не в социальных теориях, поднимавших простолодинов на борьбу с правителями (якобы на борьбу с правителями), заложен древнейший противовес насилию и порабощительству коронованных особ. Но, думаю, вряд ли сегодня можно согласиться с таким посылом, ибо свободомыслие, проявлявшееся в трудах литераторов, художников, других выдающихся в этой сфере деятелей, относилось, о чем лучше всего свидетельствуют дошедшие до нас их часто не превзойденные по своим художественным ценностям творения, как отнесется и сегодня, к противостоянию действовавшим режимам власти в рамках десятилетий, столетий, в лучшем случае эпохи; деятели культуры выступали против коронованных особ, а не против основ власти вообще, это из их писаний родилась и гуляет по свету среди простолюдия сказка о добрых монархах и добрых господах и о том, что без поводырящего начала мир тотчас обратится в хаос, перемалывающий судьбы личностей, народов, государств. Думаю, здесь надо еще раз подчеркнуть, хотя в первой книге подробно уже говорилось об этом, что я выступаю не против государственности вообще, но против возросшей на системе господства и рабства, то есть на ос-

нове фараоновской державности, и если мы не знаем иных форм общественно-го бытия, то это отнюдь не означает, что их не было и не могло быть; нет, отчего же, были и функционировали бы теперь, если бы не неумная агрессивность нынешней, хищнической цивилизации, подавившей, как я уже упоминал об этом, все другие, рождавшиеся на основах миролюбия и добронравия, следы которых (нравственные следы) и в наши дни четко просматриваются среди многих народов, не умеющих и не желающих приспособиться к хищничеству, к числу которых относится и страдающее в веках (по этой же возвеличивающей и убивающей нас причине) славянство. Но вернемся к теме. Свободомыслие вообще — понятие относительное; применительно к литературе, искусству, живописи и т. д. — относительное вдвойне; точно так же, как фантасты, старающиеся проникнуть в иные миры, лежащие в глубинах Вселенной, не могут выйти за пределы земных человеческих отношений (стремление к власти, любовь, вражда, ненависть, интриги, месть, убийства), так и в героизированном нашем свободомыслии никому пока еще не удалось вырваться за пределы обстоятельств окружающей нас жизни — политических, экономических, духовных, из угнетающего и живущего в нас миропорядка, или мироустройства, прогосподствовавшего сорок веков в Древнем Египте и вот уже более восьмидесяти веков господствующего в Европе и в мире; они, эти обстоятельства, как и все земное, окольцевавшее нас, настолько ограничивают наше художественное мышление (в смысле реального предвидения, реальных возможностей, а не в бесконтрольном, чтобы только удивить, напугать или озадачить полетом фантазии), что мы все, от гения до простолюдина, земные более, чем думаем об этом. Мы знаем хищническую цивилизацию и не знаем других, альтернативных ей, и потому все наше свободомыслие оборачивается не на поиск новых форм общественных отношений и общественного бытия, способных удовлетворить человечество (нам, в сущности, не на что опереться, у нас нет примера), а к тому, что чиним «тришкин кафтан». Философы, историки, археологи, поставившие себе целью изучить ход развития человечества, если повнимательней присмотреться к их научным трудам, стараются лишь найти источник могущества власти, который, впрочем, очевиден и зафиксирован в истории в образах трех основополагающих столпов державности; в таком же ключе работают литераторы, художники, создающие, казалось бы, бессмертные произведения пера и кисти, ибо и они, даже выступая против тиранов и диктаторов своих эпох, вольно или невольно, с одной стороны, вроде бы осуждают их, разоблачают их насильственные деяния, их порабощительские устремления, а с другой — столь же невольно возвеличивают их поводярьские свершения, восхищаясь их мужественными характерами, их умением стратегически (в свою пользу, разумеется) мыслить и вершить дела. Отсюда и всемирная история подана как история царств и царствований, а не история человечества. Но что более всего удивляет здесь, так это то, что подобный «научный» подход никого не смущает, и никто не называет его ни просчетом, ни оплошностью, хотя достаточно четко напрашивается тут куда более резкая оценка; ведь даже самая беспощадная критика властителей, какой бы разоблачительной она ни была, в итоге, спустя десятилетия или столетия, оказывалась учебным пособием для коронованных особ; произведения так называемого «свободомыслия» зачислялись в разряд классических и работали и работают не на народ, нет, а на троны, на их выживание, долготеление, бессмертие.

LI

Жизнь есть борьба, говорят классики, подразумевая под борьбой стремление народов (простолюдинов) к свободе, справедливости, равенству, братству и не отдавая, видимо, себе отчета в том, что истоком этой борьбы, ее изначальной и укоренившейся закономерностью была и есть навязанная фараонами Древнего Египта система господства и рабства, хищническая система порабощительства; литература есть отражение жизни, вторят те же классики, опять же полагая, что открывают величайшую истину и придают литературе, искусству, живописи, культуре в целом некое надзирательное, если можно так выразить-

ся, или, если точнее, зеркально-надзирательное начало, то есть своего рода поводырство (поводырство от народа), должное выявлять, поправлять и наставлять людей на добрые свершения. Что ж, цель благородная, тут ничего не возразишь, и если бы деятелям в этой сфере человеческих проявлений удалось достичь или оправдать ее, мир сегодня, наверное, имел бы другую окраску и хищнический беспредел над человеком, да и над природой вообще, средой нашего обитания, не разгуливал бы так вольготно по свету и не корежил бы судьбы личностей, народов, государств, не уничтожал бы столь варварски, как уничтожает теперь, основу основ нашего бытия — природу. Мы давно уже находимся под магическим воздействием слова «борьба» и воспринимаем смысл жизни не иначе как только через борьбу за светлые идеалы, и в основе такого восприятия, давно и прочно вбитого нам, лежат два странно не замечаемых нами источника или, сказать иначе, тронноугодных посыла; первый из них восходит к тезису о «промысле Божьем», как если бы и в самом деле Господь, создав Землю и населив ее человечеством, положил в основу нашего существования именно борьбу, постоянную, кровопролитную и, в сущности, безысходную, как показывают века, за свое благоденствие, тогда как за этим троннопродиктованным тезисом стоит отход от реальной действительности в мир определенных, целенаправленных сказок и символов, превращающих нас в исторических невежд, а второй полностью исключает самую возможность альтернативного уклада общественных отношений и строительства общественного бытия, словно без борьбы человечество никогда ничего не сможет достичь и словно не было «славных Гипербореев» с их идиллической самобытностью, и античные ученые, побывавшие на великой славянской равнине, не открывали ее. Но ведь совершенно очевидно, что если бы не было хищничества, не было бы и борьбы, а торжествовала бы просто жизнь — нормальная, мирная, добронравная, созидательная, действительно достойная человека и человечества. Но такой жизни нет; и не потому, что народы в силу, может быть, некоей неизвестной нам заданности не захотели иметь ее; их лишили самой возможности развиваться самостоятельно, в согласии со своими потребностями, своим восприятием и толкованием бытия и складывавшимися на их основе традициями, а теперь те же силы от древнеегипетского первородства, перенесшие в целях мирового господства свою сорокавековую державность с берегов Нила на просторы обетованных земель, просторы далеких от них и чуждых им континентов, обрядившись в одежде миротворцев, учителей и благодетелей человечества, поучают народы, как им жить, какому Богу молиться («золотому тельцу», естественно), кому служить (дремучей хищнической силе, конечно), кого славить и за кого умирать (за кумиров-поводырей, разумеется, приведших мир к преддверию упадка и хаоса и заполонивших собой пьедесталы, иконостасы, правительственные поминальнички, нынешние кабинеты и кресла премьеров и президентов). Если рассматривать литературу, искусство, живопись да и народное творчество — сказки, былины, саги, мифы, предания и т. д., и т. п., — которое, на мой взгляд, только при большой условности можно назвать таковым, ибо каждое «народное» творение, несомненно, имеет изначальное авторство, да и поправки и добавления, вносимые при наслоении столетий или даже тысячелетий, едва ли исходили от безгласых и бесправных людских масс, поскольку и в них четко просматриваются тронугодность и троннозаданность, — если эти бытующие жанры «творческой активности», «творческой необходимости» человеческого духа рассматривать с точки зрения сюжетной их основы, то все они, по существу, строились и продолжают строиться на одной и той же жизненной коллизии, на борьбе зла и добра, света и тьмы, насилия и свободы, на схватках за власть, богатство, славу, за господство человека над человеком, народа над народом или народами, будь то в религии (правоверные, неверные, с непререкаемым господством одного религиозного учения), в любви, в противоборствах со всевозможными драконами, опять же олицетворяющими власть и силу; наконец, вспомним драматические, кровавые поединки богов и богинь на греческом Олимпе. И разве все это не является зеркальным отражением жизни и не должно внушать нам, что человечество в устройстве общественных отношений и общест-

венном бытии идет не по той стезе, по которой следовало бы ему идти? Но мы слепы и глухи в силу именно навязанного нам исторического невежества и в силу тех проникновенных речитативов о величии культуры со всеми ее сферами и направлениями воздействия, которые исходили и продолжают исходить, с одной стороны (и главным образом), от властных структур, строжайше придерживающихся разработанных фараонами Древнего Египта традиций (ведь культура, не будем забывать, — третий столп в основании тронного долголетия), а с другой — от деятелей культуры, то есть от прислужников этих поводырствующих структур, упоенных, да, до предела упоенных, а вернее даже, самоупоенных собственным узкоколеиным восприятием монументальных и немонументальных шедевров древности и современности. Они находят свободомыслие в том, в чем его нет и вряд ли может быть, пока торжествует хищнический миропорядок, и возводят это «свободомыслие» на постамент величия и славы, приобщая тем самым и себя к этому величию, как знатоков и ценителей красоты, способных понять и истолковать не только вековое, тысячелетнее, но и многотысячелетнее (по крайней мере так пишут и говорят) наследие народов. Суть же такой оценки заключается в том, что она односторонне верна; верна лишь в том, что и в культуре, как и в религии и науке, четко просматривается динамичность развития, то есть то, что можно было бы назвать совершенствованием эстетических вкусов и потребностей; налицо здесь и свои кумиры, достойные прославления, двигавшие человечество вроде бы к прогрессу и процветанию (в своей, разумеется, сфере), но есть и гораздо большее, что далеко отстоит от сиюминутного и преходящего восхищения красотой, сотворенной человеком, и оно, это большее, настолько впаяно в нравственную, но прежде всего в социальную (политическую) жизнь людей, что заставляет поставить культуру с ее тронноугодной заданностью, изначально уже приданной ей, в один ряд со структурами силового и духовного (религиозного) порабощения. Опять же, хочу оговориться, что я выступаю не против культуры вообще, что по меньшей мере было бы смешно, глупо и неверно, но говорю лишь о той ее роли в хищническом мироустройстве, какую она выполняла со времен египетских пирамид и о которой человечество должно иметь ясное представление.

II

Да, готов повторить, что нам только представляется по привычке или скорее от желания иметь ее, будто свободомыслие есть; но если оно и есть, вернее, в чем-то проявляется, то носит лишь временный характер; оно краткосрочно, что достаточно подтверждено ходом истории, действие его ограничено, можно добавить, настолько, что в силу уже этой ограниченности оно не способно, то есть почти не способно, оказывать (если не считать воспринимаемых правителями уроков) воздействие ни на текущую, ни на грядущую жизнь людских сообществ, повязанных хищничеством, ни на отдельные аспекты этой жизни хоть в политическом, хоть в экономическом, хоть в духовном планах; «на-гора», позволительно будет сказать так, выдаются шедевры литературы, искусства, живописи, музыки, зодчества, совершенствуется исполнительское мастерство, технология изготовления этих в большинстве своем дворцово-заказных шедевров, по которым следующим поколениям будет предложено оценивать уровень культуры ныне живущих народов, хотя народы тут ни при чем, они с правящих веков отрезаны от созидательных начал жизни, как прерогативы правителей, ибо таковы условия хищничества, условия разработанной фараонами Египта системы господства и рабства, с триумфом ныне (навязанным триумфом) шествующей по Земле. Простой люд, если выразиться откровеннее, поставлен даже не в положение потребителя культуры, нет, а в положение наблюдателя за ее дворцовыми всплесками и упадками. Такова природа (система) хищничества, и только в рамках этого глубоко античеловеческого мироустройства способно было родиться, родилось и бытует выражение, из которого следует, что народ всегда жаждал лишь хлеба и зрелищ (да ведь тут и не пахнет творчеством!); одни правители все-таки хоть как-то старались удовлетворить эту ограниченную потребность и давали хлеб, прежде отобранный у этого же

народа, организовывали зрелища, разумеется, своего, дворцового изготовления; в России же — ни земли, основы жизни, ни хлеба для народа всегда либо недоставало, либо не было, но зато зрелищ, причем самых кровавых и унижительных (и не на подмостках театров, а на государственной арене действий), во все времена было предостаточно, как предостаточно их и теперь. Русский народ уже более тысячелетия пребывает в положении застоя относительно развития культуры, он ничего не творит, и не потому, что бездарен, неспособен или немощен духом, но настолько придавлен плитой духовного чужеродства, опрокинутой на него нескончаемым престольным чужеродством, что не может как следует осмыслить, что с ним сотворили, и подневольным восприятием этого чужеродства усиливает и подтверждает ложное представление о своих (якобы своих) творческих свершениях. Я не думаю, чтобы этот вопрос был настолько сложным, что в нем нельзя разобраться; все, что происходило и происходит в культуре со времен пирамид и до наших дней, все нанизано на одну нить, спаяно кольцами в одну неразрывную цепь, восходящую к периоду фараоновской державности, и перманентность (непрерывность, повторяемость) этого явления заключается в том, что, да, каждое столетие, тысячелетие приумножаются шедевры литературы, искусства, живописи, шедевры дворцовых и нательных украшений, чтобы затем, отслужив свое «богоизбранным» владельцам, занять дорогостоящие (в смысле обмана и влияния на простолюдинов) витрины и стеллажи исторических и прочих прославленных музеев мира, тогда как человечество, должное вроде бы нравственно очищаться от одного только сознания, что в мире существуют подобные шедевры (о, я и забыл, что простолюдины должны очищаться через страдания), как жило, так и живет либо в войнах, которые, как вампирствующие цунами, то и дело прокатываются по странам и континентам, то в нищенском застое, в который повергают безгласое простолудие властители и тираны. Так что же происходит на самом деле, что скрыто, упрятано, упаковано в глухие тайники дворцовых хранилищ из этого странно нераспознаваемого явления человеческого бытия, задуманного и осуществленного правителями Древнего Египта, которым мир так усиленно сегодня заставляют поклоняться за подаренную «цветущую» цивилизацию, и что в этом явлении или из этого явления представлено для обозрения, а попросту брошено на стол «ученых» споров, толкований, предположений, вымыслов и выводов, на стол героизирования не подлежащего героизации, а лишь условно признаваемого свободомыслия? Чтобы сдвинуть с отдели лодку, надо прежде вылезти из нее; чтобы обладать свободомыслием, вернее, получить простор для свободомыслия, надо прежде освободиться от окружающего нас хищнического миропорядка; но преемники фараоновской державности ни в какие века не позволяли людским сообществам сделать это, как не позволяют и в нашем столетии, и самые, может быть, гениальные умы поколений, понимавшие и понимающие весь драматизм исторического и текущего человеческого бытия и пытавшиеся хоть как-то прояснить истоки этого нескончаемого драматизма, так и не смогли ничего осуществить, ибо, с одной стороны, постоянно находились под зорким оком тронов, а с другой — под влиянием обстоятельств, сквозь паутину которых, о чем свидетельствуют века, эпохи, эры, ни у кого из них не хватило ни сил, ни возможностей прорваться. Свободомыслие в рамках устоявшегося миропорядка (ведь смена режима не означает отмены господства и рабства) — это не свободомыслие, это некий блестящий шарик, мечущийся в замкнутом пространстве и бьющийся о борта; он движется, прокладывает самые причудливые трассы, но его движение бессмысленно, тщетно, за ним можно только наблюдать, просчитывать его удары, повороты и составлять таким образом всемирную (царства и царствования) и отечественные («жизнь» Рюриковичей в России для нас) истории. Образность — конечно, не доказательство, но мир открыт для обозрения каждому, и я приглашаю всего лишь посмотреть на весь этот мир трезвым, реалистическим взглядом. Закономерности жизни, которым мы следуем сегодня, наслаивались веками; они наслаивались человеком против человека, и я не думаю, чтобы некоей революционной вспышкой, революционной борьбой (вот и я вынужден прибегать к слову «борьба») можно было бы ис-

править положение; все революционные движения, восстания, начиная от рабов Древнего Египта и завершая рабами двадцатого столетия,— все, все они не принесли никакого результата, если не считать разорений, нищеты, кабалы, крови; революции — это всего лишь язвы и язвочки на теле человечества; одни из них оставили рубцы, другие не оставили ничего, и в связи с их нулевым итогом едва ли стоит впрямь прибегать к ним. В Библии сказано: время разбрасывать камни и время собирать их; мудрость сих слов мне, например, не совсем ясна, ибо под этой мудростью кроется некий подтекст, безусловно, открытый посвященным и скрытый от непосвященных, но вместе с тем я глубоко убежден, что если мир тысячелетиями нагружался «мудростью» злых античеловеческих свершений, то теперь наступает пора освобождаться от этих «мудростей», то есть разгружать то, что нагружено и ведет всех нас к неминуемой катастрофе; сколько на это потребуется времени, не знаю, может быть, те же века, эпохи, эры, но приступать надо именно сегодня, и приступать со знанием истоков и путей всей нашей зловещей, иначе не могу назвать ее, истории. Путь ко всему — в познании; возможно, я ошибаюсь, возможно, есть еще что-то, что остается за порогом нашего постижения, но в таком случае, если мы согласимся с этим, то есть распишемся в беспомощности, то не заметим, как вновь окажемся в паутине известных догм о промысле Божьем и круг обстоятельств, сжимающих нас, не будет разорван; мне страшно от того, что и я со своим свободомыслием, как тот вышеобрисованный шарик, лишь прокатываюсь по неохватным просторам истории, набивая синяки, шишки, и не могу выйти за рамки ограничивающих нас условий существования, чтобы хоть что-то реальное предложить идущим вслед за нами поколениям; ясным для меня остается пока лишь то, что мир человеческого бытия есть мир высшей несправедливости, мир господства одних и угнетения и рабства других, что некогда захватившие власть личности и народы, да, сегодня можно уже говорить и о «богоизбранных» народах и государствах,— что «богоизбранники» сии, некогда узурпировавшие власть у людских сообществ, ни при каких условиях не выпустят ее из рук, даже если свершится всемирная революция; они найдут свой бессмертный стержень, чтобы продолжить престольное долголетие, базирующееся на престольном чужеродстве и смешении народов, и только понимание того, что произошло и происходит в истории и современности, может принести свои благотворные плоды.

ЛП

Выделение древа власти из общего древа жизни в самостоятельную единицу или самостоятельный организм насилия и подавления народных масс отдельными «богоизбранными» личностями, кланами личностей, опять же «богоизбранными», и народами, возникновение системы господства и рабства, иначе говоря, разобщение на классы, когда одним будто бы свыше дано верховодить, поводить, другим, массам, тянуть пожизненную (не в смысле, разумеется, одного поколения) лямку кабалы,— это явления одного порядка, одного истока, одной заданности, и ключевое значение их в истории людских сообществ неоспоримо. Жизнь не по видимости, а по сути обрела форму двух стержней, и к ней вполне можно приложить и понятие «господство и рабство», и понятие «классовость», и понятия «древо власти» и «древо народной жизни», так что дело не в том, как мы назовем это ключевое явление истории, а в том, насколько хватит у нас ума, сил, воли, мужества, знаний охарактеризовать его таковым и сможем ли мы наконец, оттолкнувшись от этого реалистического постулата истории, приступить к исследованию истинных истоков всегосподствующего ныне хищнического мироустройства, продолжающего угнетать человечество. Явлению этому, думаю, если рассматривать его в строгом соответствии с действительностью (естественно, как исторической, так и текущей), реально было бы придать значение двух организующих центров — власти, которая со времен древнеегипетских пирамид, это по меньшей мере, живет глухо-замкнутой в определенных для себя закономерностях жизнью, что неопровержимо подтверждено всеми известными событиями веков (давайте вспомним: ведь ни одна сме-

на социальных формаций не изменила ни сути, ни приемов, ни целей власти); и бесправия, что менее всего вроде бы подходит под понятие «организующего центра», однако, если разобраться, если посмотреть на эпохальную выживаемость простолюдинов, поставленных в нечеловеческие условия бытия, то общая картина, проступающая сквозь историческую тьму тысячелетий (ведь мы знаем только веховую гряду царств и царствований, но что касается судеб народов — только смутные мазки на фоне крошечной тьмы), — общая картина выживаемости простолюдинов в обстановке бесконечного насилия и порабощения открывает черты своей, горькой закономерности. Обе эти закономерности в стержневом их значении можно было бы представить следующим образом: активность и агрессивность со стороны властителей, которым надо быть постоянно начеку в отношении закабаленных масс, и странное, но, возможно, не такое уж и странное, пренебрежение масс к своим правам на свободу и самостоятельное развитие, ибо есть психология большинства (толпы, народа, народов), когда потенциал возможной деятельной силы воспринимается как некий скальный монолит, о который можно только разбиться, но который нельзя будто бы раздробить, обессилить, превратить в зыбучий песок. Чувство монолита, оно до сих пор живет в массах, хотя в реальной действительности никакого монолита в народной жизни давно уже нет; единство простолюдинов, некогда служившее гарантом их нелегкого в труде и заботах бытия, ныне обращено усилиями властителей-поводырей в зыбучий песок, и необратимость этого процесса столь очевидна, что едва ли нужно приводить здесь какие-либо доказательства, кроме разве что доказательства самой жизни; разрозненные революции, коими особенно пестрят последние столетия новейшей истории — это всего лишь наносные барханы, часто даже заданные, чтобы ослабить то или иное государство, дерзнувшее встать рядом по уровню развития с господствующими мировыми державами, и наказать, вернее, опустить поднявшийся было до определенного уровня достатка и осознания человеческого достоинства народ в нищету, как это ныне в очередной раз миротворствующие правители Запада поступили с Россией (разумеется, по сговору с нашим престольным чужеродством), — да, революции — это всего лишь наносные барханы, в большинстве своем санкционированные правителями и ими же оцененные как некие действительные преграды на пути «прогресса и процветания»; но ведь у фарисейства нет границ, и осведомленные в преднамеренном обмане правители (так ли, иначе ли, но рычаги революций в конечном счете всегда оказывались у них) если и бывают озабочены в годы подобных «потрясений», то лишь тем, чтобы как можно больше выгод извлечь для себя из создавшейся ситуации. Чтобы разгрести бархан и расчистить дорогу (дорогу фараоновской державности), достаточно ввести в дело самый обычный по нынешним временам правительственный «бульдозер» насилия, подкупа, устрашения, а то и прямого удушения экономическими санкциями, то есть тем бескровным, «цивилизованным» будто бы приемом истощения и умерщвления народов, коим так «нравственно» пользуются ныне Соединенные Штаты Америки. Однако вернемся к последовательности повествования. Беспримечная (на исторической арене свершений) активность и агрессивность правителей и беспримечное же, вьевшееся уже в плоть и кровь безразличие народных масс к своим интересам (конечно, я понимаю, не все так просто происходило и происходит в действительности, были достаточно серьезные исключения, о которых, тем не менее можно сказать, что они лишь подтверждают правило) — эти две определяющие общественного бытия, которые можно представить и как соотношение живости духа и безволия, почти в первоизданной своей неизменности и целостности дошли до нас, хотя, казалось бы, история должна была чему-то научить нас; но не научила, мы остаемся такими, какими были тогда, были всегда, и не что иное, как наше безразличие, наше ротозейство, наше неумение да и нежелание просчитать пусть даже на два хода вперед свое будущее является тем пахотным, образно говоря, полем, на котором властители всех эпох взращивали и продолжают взращивать важные для себя и вредоносные для человечества плоды общественных отношений и общественного бытия. Цивилизация — я говорю о нашей, хищнической — есть сис-

тема насилия людей над людьми, а не система достижения народных благ, процветания и прогресса; государственность в этой системе служит базовым инструментом, вбирающим в себя все рычаги воздействия на людские массы, а трон (правители), или престол, в рамках любой государственности — это та самая «высшая идея» на вершине пирамиды, если по Платону, которую нельзя распознать, но которая, пользуясь результатами народных усилий, дает понятие вещам и явлениям, и я глубоко убежден, что если бы все мы в такой очевидной простоте знали о сути своего общественного бытия, сути цивилизации и государственности (от древнеегипетского первородства, не могу не повторить этого), и если бы изначально на равных, то есть с одинаковой активностью и агрессивностью простолюдины вступили в открытое соперничество с властителями и заимели свои силовые и духовные структуры воздействия, то есть противовесы во всех сферах государственного устройства жизни, то чаша весов власти не посмела бы перевесить чашу весов народного бытия. Но произошло то, что произошло, инертность и безразличие людских масс к судьбоносным свершениям истории сегодня можно без преувеличения назвать «ахиллесовой пятой» многопохальной плоти людских сообществ. Возможно, не все согласятся с этим, кому-то захочется решительно возразить, дескать, а как быть с народными волнениями, бунтами, восстаниями, революциями, то есть борьбой, которую простой люд (якобы простой люд) вел на протяжении всей истории с властью предрешающими, и разве это не показатель активности масс? Выше я уже дал свою оценку бунтам и революциям и смею заверить: нет, не показатель. Не показатель уже потому, что все силовые попытки, урезонив власть, изменить мир к лучшему не дали за всю историю никаких результатов, кроме разве прецедентов, подвигавших простолюдинов на новые бессмысленные жертвы. Система господства и рабства так и осталась неизблемой со дня своего основания и, более того, адаптировавшись в условиях постоянного противоборства с поработанным простым людом, она только усилилась, обретя некие цивилизованные формы притеснений и устрашений (чем и утешают себя многие историки и философы современности), тогда как страдания, унижения, рабство, разве эти составные народного бытия могут измеряться «цивилизованностью» или «нецивилизованностью» осуществляемых насилий, и разве нищета в различные эпохи не воспринимается одинаково нищетой и не подавляет столь необходимое всем людям человеческое достоинство? К инертности масс, то есть к этой «ахиллесовой пяте» людских сообществ, еще никто из историков и философов всерьез не обращался и не углублялся в ее истоки, как, впрочем, и в современные проявления, и в этом странном игнорировании одного из главнейших вопросов истории нельзя не усмотреть определенной тронной заданности; мы не можем познать себя и ориентироваться в своих исторических (народа, нации) поступках, тогда как всему, в том числе и этому искусственно predeterminedному для простолюдинов явлению, есть вполне убедительное объяснение.

LIV

Правители и полководцы, бравшие города и завоевывавшие народы, прежде всего разрушали национальные святыни этих завоеванных народов. Для чего они делали это, что подвигало их на сей не поддающийся даже вроде бы объяснению вандализм? Обычная ли в таких случаях стихия разрушения, захватывающая властителей, или же достаточно определенная, пусть хотя бы и на примитивном уровне, заданность? Наверное, в каждом отдельном случае и у каждого правителя или полководца были свои аргументы, убеждавшие соплеменников в необходимости подобных действий, но если взглянуть на это же явление как на нечто стержневое, пронизавшее века и в неизменности — от фараоновских походов, азиатских нашествий и до мировых войн двадцатого столетия (не знаю даже, с чем можно сравнить злодеяния, творившиеся немцами на оккупированных ими землях) — дошедшее до нас, то можно прийти к выводу, что ничего стихийного, то есть безрассудного, в нем нет, а есть только жесткая закономерность, выработанная тронами и ставшая обязательной для всех, кто, взойдя на престол, брался расширить и укрепить свое могущество за

счет приращивания захваченных территорий и порабощенных народов. Изучение этой закономерности, ее методов, приемов, которые с нарастанием веков расширялись, совершенствовались, охватывая самые разные сферы бытия, могло бы многое и многое приоткрыть в главном вопросе истории — становлении и развитии общественных отношений и укоренении на основе этих отношений хищнического миропорядка (в конце концов когда-то и с чего-то все началось хотя бы и фараонами Египта, прежде чем сии их монархии «прихоти», выплеснувшись на обетованные земли, получили столь очевидную в своих античеловеческих деяниях завершенность), — да, изучение этой закономерности могло бы многое и многое приоткрыть нам в смысле познания природы власти, ее непомерных притязаний на господство над простым людом, а вернее, на единогогосподство, то есть на безраздельное и вечное владение миром (истина, ныне вроде бы лишь витающая в воздухе, но, по существу, почти получившая уже свое полное воплощение), и в смысле уяснения причин, породивших или скорее способствовавших порождению той «ахиллесовой пяты» на монолите народной жизни (инертность, безволие, безразличие к своим интересам и неумение защититься и от престольного чужеродства, сегодня ставшего уже бичом народов, и от наплыва чужеродной духовности, размывающей национальные основы бытия), которая делает людские сообщества уязвимыми и несправными. Но, к сожалению, и в этой области исторического и философского познания исследование истины подменено привычной, ставшей уже шаблоном героизацией личностей и явлений (царств, царей и их царских деяний), и этот узаконенный в академических кругах и, естественно, проштампованный во дворцах шаблон столь широко распахнул двери к искажениям и подтасовкам исторических фактов и предоставил такую неограниченную возможность произвольного их толкования (в пользу тронов, разумеется, иначе все было бы зарублено на корню), что вместо истории подлинной мы имеем историю вымыслов, историю пьедесталов и иконостасов, отдающую ложной славой и мертвым блеском ушедших веков. Как в сферах силового и духовного подавления, то есть в случае с наукой, религией и культурой, которые предложено воспринимать как составные народной жизни, но которые были и остаются тремя основополагающими столпами тронов, их опорой, защитой и инструментом долголетия, так и в случае разбираемой здесь закономерности, которую можно было бы называть закономерностью вандализма, человечество погружено в очередной беспробудный обман; все завоевательские походы, которые были связаны с массовым разорением народов и пролитием большой крови, так или иначе названы великими, а имена полководцев, составляющие гордость породивших их народов, внесены в нестираемые страницы истории. Мне не хотелось бы здесь вновь перечислять имена знаменитых царей, полководцев и говорить об их кровавых деяниях, поскольку они и без того все на слуху и на пьедесталах, как некие веши, знаменующие собой величие веков и призывающие новых правителей к новым злодеяниям, как если бы в массовых убийствах и грабежах и в самом деле таилось нечто заразительно-привлекательное, что способно поднимать и одухотворять людские массы на вседозволенность и беспредел; история, подаваемая с точки зрения победителей, когда одни народы ликуют, а другие с петлей на шее отправляются в рабство — это не просто история, то есть далеко не беспристрастное изложение событий, а мандат на новые грядущие безумства, гибельные не только для тех, против кого они будут направлены, но и для тех, кто пойдет исполнять очередную волю очередного кумира-поводыря. Атилла, вдохновивший сборище азиатских племен и народов, объединенных под именем гуннов, на «великий поход», мало того что залил кровью славянские земли и обратил в пепелище их жилище и святыни, но настолько густо усеял просторы Европы костями своих воинов, что от некогда бесчисленных гуннских орд осталось лишь страшное воспоминание. Однако историки и философы, которых всегда больше привлекали судьбы поводырствующих личностей, чем судьбы народов, сумели-таки и в чудовищных злодеяниях Атиллы найти смысл и величие, и это лишь благодаря их усилиям он чтится не только среди своих нынешних азиатских соплеменников, но и среди европейцев; среди европейцев, надо

полагать, потому, что стоял у истоков разорения славян, против которых только за многолюдство, да, да, за многолюдство, иной причины нет, правители старого континента, а теперь уже и правители нового ведут объявленную и необъявленную, то есть скрытую, коварную, что еще хуже, войну на уничтожение, как Рим против Карфагена только за то, что Карфаген позволял себе жить и процветать. Почти то же, что и с гуннами, повторилось затем с аварами, которых хан Баян по прозвищу Свирепый двинул на славян; прогосподствовав три с небольшим столетия, авары исчезли, как исчезают привидения с появлением света, а если что (кроме злодеяний) и осталось от них, то разве лишь поговорка «Исчезли, аки обры», ставшая характерной почти для всех являвшихся с подобными целями чужеземных завоевателей. Можно заглянуть и в еще более глубокую древность и обратиться ко временам Иисуса Навина или, скажем, Геракла, чей поход в Азию, овевянный легендами и, по сути, обращенный в миф, думаю, мало чем отличался от второго такого похода, предпринятого Александром Македонским, царем и полководцем, чей гений убивать и покорять народы (чего стоит только частокол распятий, выставленных им на песчаном побережье Красного моря) вознесен на такую вершину славы, какая, возможно, не снилась даже самому Творцу, обитающему на небесах и, как видно, позабывшему (о чем свидетельствует жизнь) о сотворенном на Земле мире человеческого бытия. Своими победоносными походами сей кумир и любимец историков, если положить мерой деяний не десятилетия, а эпохи, предвосхитил, а вернее, ускорил падение античной Греции; побив и пограбив чужие народы, греки давно уже сами пребывают в побитом и пограбленном состоянии; они не поднялись, истощившись людскими, да, прежде всего людскими, ресурсами, и вряд ли теперь уже когда-либо смогут подняться, но великий Александр по-прежнему остается для них великим и составляет (опять же благодаря обилию тронноугодных о нем исторических и философских риторик) национальную гордость. Цезарь добывал Европу для Рима, добыл, и Рима не стало; от некогда могучей державы остались лишь жалкие, обветшалые памятники былой славы, в то время как последствия от этих римских завоевательских походов однозначно просты и однозначно печальны: на две трети поубавилось коренного люда — франков, бриттов, населявших Западную Европу, — и над их забытыми могилами, как и над могилами римских легионеров, лишь веют атлантические ветры и льют атлантические дожди. Карл Великий, положивший делом жизни присоединение славянских земель к созданной им европейской Священной Римской империи (Рим Третий, не упоминавшийся у нас лишь в угоду российской короне), пришел несмотря на все усилия к тому же итогу, что и предшественники, а позднее и Карл XII, и Наполеон, и Гитлер (это со стороны Европы), и Чингисхан, и Батый, и Тамерлан (со стороны Азии); однако все они на пьедесталах — не только как великие благодетели своих народов, но и как кумиры-поводыри ротозейного, слов нет, именно ротозейного человечества. Мы погружаемся в мир безумств, читая таким образом изложенную и подающуюся нам историю, ибо все эти «великие», как их принято называть, свершения веков объединены, по сути, одним нескончаемым, дошедшим до нас трагизмом; сечи уносили людей, грабежи разоряли население, властители воздвигали цельнолитые из золота троны, и эти ликующие мгновения побед и страданий, как некая горькая эстафета, передаваемая от поколения к поколению, — для чего-то же должно было твориться все это, если творилось и продолжает твориться, поднявшись на новый уровень массовых убийств, грабежей и порабощательства, то есть что-то же лежит в основе этого вроде бы противного человеческому разуму явления, зримым итогом которого был и остается трагизм, а историческим — пополнение пьедестально-иконостасного ряда именами новых и новейших поводьрей. Наверное, можно было бы на этом поставить точку, как она поставлена во всех официальных и неофициальных историографиях, но я далек от мысли, что властители, опиравшиеся на сорокавековое правление фараонов и почти восьмидесятивековое постфараоновское престольное долголетие, могли ограничиться в своих деяниях лишь желанием войти в историю и закрепиться в ней; нет, какой бы воинственно-трубной бравадой ни возвеличивались кровавые побои-

ща, в памяти людей они все равно остаются кровавыми (разве мы можем забыть гуннов, аваров, татаро-монголов, французов, немцев, сколько бы и каких монументальных сооружений ни возводилось в их честь на их родных землях), и если бы за всем этим видимым победным трагизмом не стояло нечто большее, чем только исторический престиж личностей и народов, едва ли властители всех времен так оберегательно относились бы к свершениям своих предшественников и так пеклись о святости и канонизации их имен, как относятся и пекутся теперь, составляя и пересоставляя свои всевозможные дворцовые поминальники. За одним обманом, открытым (массовые убийства как победы, а массовые грабежи как узаконенные обретения, узаконенное право дикой силы), лежит скрытый и более глубокий, я бы сказал, долговременный и действенный обман, когда народы лишаются духовных корней своего бытия и обман этот прикрыт некой осуждаемой вроде бы тойгой вандализма, являющегося, по существу, стержневой основой всех известных на земле войн и нашествий.

LV

Мы осуждаем вандализм и вандалов за то, что они разрушали исторические памятники, разрушали красоту, создававшуюся на протяжении столетий и обретавшую, как правило, символическое или, вернее, свято-символическое значение для народа, народов, видевших в поклонении этим символам некое объединяющее (организирующее) начало их национального бытия, и почти не задумываясь над тем, что явление это и по горизонтали, то есть в смысле охвата текущей действительности, и по вертикали, то есть исторической глубине и перспективам на будущее, выходит куда дальше за очерченные «научным трафаретом», назовем это так, рамки и давно уже обращено властителями в один из могучих рычагов своего престольного (преступного) долголетия. История свидетельствует, что еще древнеегипетские фараоны хорошо знали (возможно, они были и открывателями этого явления, названного позднее именем одного из германских племен, которое особо отличалось в деяниях подобного рода и, захватив Рим, основательно порушило святыни Вечного города), что для того, чтобы покорить народ, обратиться в рабство, недостаточно только завоевать его, то есть побить, пограбить, устроить гибелью и разорением, но надо лишить этот народ национальных корней жизни, нанести опустошительный удар по основам его духовности, а поскольку духовность обычно материализуется в символах — храмах, усыпальницах, разного рода памятниках глубокой и глубочайшей старины, — то на разрушение их и направлялись в первую очередь властные устремления правителей. Завоеватели не просто сеяли смерть, разрушали жилища, грабили, угоняли людей в рабство, то есть не просто прокатывались одноразовой (можно и так сказать) волной насилий и бед, после которых, пережив их, людские сообщества были способны еще, сообразовавшись, восстановить свой национальный — политический, экономический, духовный — потенциал, свою исконную самобытность, но они словно бы накидывали многотысячелетнюю удавку на ослабленное тело народов, лишая их исторической памяти и национальных святынь, точнее говоря, лишая стержневой основы, соединяющей людей в единую национальную общность, без которой любой народ уже не народ, а скопище безродных особей, легко поддающихся на обман и не способных защитить свои интересы. Тронно-продиктованный прием этот, как свидетельствует история, столь же древен, как и сама власть, уходящая истоками далеко за пределы фараоновского господства, и если в пращурные времена целенаправленное духовное ограбление народов не было наречено определенным и емким, как, скажем, господство и рабство, понятием, то это лишь подтверждает предположение, что властители в своих деяниях никогда не были откровенными ни перед историей, ни перед народом, ни даже перед собой, особенно если деяния их могли бросить порочащую тень на их высокородную тронно-безоблачную (тронно-непогрешимую) воплощенность. Первое широкомасштабное духовное ограбление восточнославянских племен (как и престольное чужеродство, когда все мы оказались под властью Атиллы, то есть подданными Гуннской империи, и были поименованы гуннами) началось с наше-

ствия именно этих азиатских орд; затем со всеразоряющим вандализмом являлись к нам авары, татаро-монголы, варяги, немцы, вожди «победившего пролетариата»; для Передней Азии подобными «миссионерами» от вандализма были древнеегипетские фараоны, двинувшиеся на захват обетованных земель, для Западной Европы — Рим с его завоевательскими (цезарскими) походами, а для современного мира людских сообществ — Соединенные Штаты Америки, диктующие народам и государствам свои условия бытия и навязывающие им свою, сработанную во дворцах и названную массовой (в смысле народной) культуру, которая, во-первых, ничего общего не имела и не имеет с культурой в том понимании, в каком она воспринимается в народе и творится им, и, во-вторых, основанная на принципах разврата и хищнических (волчьих) отношений между людьми и сообществами, представляет собой разве что слегка завуалированный вариант вандализма, направленного на подавление национальных основ бытия народов. Я вообще не могу понять, почему одни нации и народы считают своим правом навязывать свое бытоустройство, свое видение и толкование жизни другим, живущим по иным законам бытия; почему эти «озабоченные» чужой жизнью народы полагают, что все должны жить так, то есть по тому шаблону, по какому живут они сами, и кто вообще дал право им судить о преимушествах тех или иных самобытных культур, самобытных укладов жизни, наконец, самобытных цивилизаций? Подобное сердобольство или, вернее, силовая благотворительность по меньшей мере выглядит странной, ибо — отнюдь не бескорыстие лежит в основе таких устремлений, а желание верховенствовать, господствовать, и путь к такому господству прокладывается, по существу, все тем же вандализмом, то есть очернением и изничтожением самобытных и навязыванием усредненно-ошаблоненных (в русле прислуживания тронам) основ бытия. Вообще-то вандализм как явление можно разбить на три периода развития: разрушительный, когда во время войн и нашествий национальные святыни народов обращались в прах, в пепел, в небытие; музейно-собираТЕЛЬНЫЙ, когда те же святыни, названные культурными ценностями, просто-напросто вывозились как археологические находки в столицы развитых стран и укладывались на полки как экспонаты древности, тогда как народы и государства, лишившиеся в результате подобных «научных» ограблений своих духовных святынь, своей духовной (да и материальной) истории, пребывают и ныне в состоянии безродных племен, не способных к сплочению и защите своих жизненных интересов; и завуалированный, скрытый, ползучий, когда под словоблудие о движении к прогрессу и процветанию опять же чернятся и ниспровергаются остатки сохранившихся еще самобытных культур и внедряется единая, замешанная на разврате, то есть на полном размывании нравственности, так называемая массовая (в смысле «народная», позволю себе повторить сей обманый постулат) культура, о которой выше уже говорилось, что она ничего общего не имеет с творческим проявлением духа и воли народов, но зато имеет прямое отношение к стратегии престольного долголетия и престольного чужеродства. Этот хамелеонствующий (в трех степенях развития) вандализм, порождаемый алчными потребностями тронов, нанес такой невосполнимый урон человечеству, что его нельзя сравнить по итоговой значимости ни с какими самыми кровопролитными побоищами и социальными взрывами отгремевших веков; под воинственной поступью азиатских и европейских орд (к европейским я прежде всего отношу походы крестоносцев, вдохновлявшиеся олигархами церковной — папской — и мирской власти и стиравшие, подобно азиатским варварам, все на своем пути) оказались похороненными величайшие духовные и материальные богатства народов, величайшие духовные ценности, коими определялась если и не идиллическая, как это было у славян, то по крайней мере альтернативная хищничеству, как это было у большинства народов, система мироустройства. Конечно, теперь, когда альтернативные (идиллические) цивилизации обращены в прах (что особенно характерно для нас, восточных славян, ибо трижды под корень подрубались все наши исторические основы бытия, а сегодня с помощью ползучего вандализма, напускаемого на нас, да и не только на нас, известной заокеанской супердержавой, претенденты на фараонское господство вообще пытаются поставить точку на всей нашей исконной духовности и окончательно превратить нас в скопище безродных особей, способных

лишь на рабский труд, покорство и все терпение), — именно теперь, когда альтернативные хищничеству цивилизации обращены в прах, законно, да, вроде бы законно раздаются голоса, дескать, а была ли у славян хоть какая-либо своя самобытность, своя цивилизация, и мог ли этот варварский, я подчеркиваю, варварский народ дать миру хоть какие-нибудь культурные ценности? Ответ известен, он зафиксирован как во всемирной, так и в отечественной историографиях, и на основании такого ответа столетиями уже вокруг нас складывается унижающая национальное достоинство славян аура отторжения. Между тем участь эта, постигшая нас, не может считаться только славянским явлением, подобному оскопительству на протяжении веков подвергались и продолжают подвергаться многие народы, и главным инструментом этого оскопительства был и остается вандализм. Он сопровождал человечество всегда, как сопровождает и сегодня, то откровенно предстая в одеждах силового воздействия, о чем более чем говорят войны и революции двадцатого столетия, то облачаясь в тогу музейщины, как будто археологический грабеж под скрежетание механических ковшей и лопат и в самом деле отличается от грабежей под разрывы бомб и автоматные очереди, то хамелеонно перевоплощаясь в плоскость ползучего и вроде бы бескровного по видимости итогов подавления национальных культур и национального достоинства закабаляемых (по какому уже кругу!) народов. Функции вандализма, если посмотреть на них в разрезе эпох, то есть в разрезе поводырствующих деяний правителей, можно сравнить разве что с функциями таких столпов тронов, как историческая и философская науки, перетасовавшие подлинную историю народов в лжеисторию, в героизированную историю царств и царствований, которая, в свою очередь, оказавшись под охраненным колпаком науки, то есть проштампованной академическими светилами, лишь приумножила одновременно и могущество тронов, и нищету, и невежество простолюдинов; как религии, главным образом христианская, мусульманская, буддизм, иудаизм, создавшие божественный (в оправдание земным) образец все той же фараоновской со стержнем господства и рабства державности и поставившие человечество перед выбором тупика или смиренной, на фоне возрастающего могущества властных структур рубашки; и как культура с ее возможностями эмоционального и политического зомбирования масс, переводя эти массы со стези творческих проявлений духа и воли на стезю бездумного и губительного по своим итогам потребительства инстинктов разврата и ненавистничества. Да, функции вандализма столь же широки и столь же губительны как для отдельных людских сообществ, так и для человечества в целом, как и все другие главнейшие механизмы государственной, если по нынешним временам, власти, государственного насилия и порабощения, ибо работают не на сиюминутные, а на многовековые стратегические интересы тронов; чтобы осознать это, мне кажется, не требуется великого ума, а нужно только иметь совесть, стремиться к основательности и обладать мужеством, чтобы реально взглянуть на исторический ход развития, включая и деяния современных президентско-премьерско-вождистских поводырей; но ведь все мы находимся под колпаком обмана; приняв первый обман, мы вынуждены были принять второй, третий и уже не можем остановиться в тысячелетиях, нагружаясь убийственным грузом лжеистин, подаваемых от дворцовых позолот в хижины; мы знаем героизированную историю, героизированную религию, героизированную культуру и знаем вандализм, противостоящий будто бы всем этим атрибутам власти, и нам и в голову не приходит, что никакого противостояния между названными явлениями нет и что вандализм, отторгнутый будто бы от главнейших прислужников тронов, действует, по существу, в полном, если не сказать больше, согласии с ними как равный среди равных по лакейской значимости, и самым опасным вариантом, что следует еще раз подчеркнуть, был и остается вандализм нынешний, ползучий, запускаемый, как червь, в организм духовной жизни людских сообществ и изнутри разъедающий (развращающий) их; он поражает прежде всего нравственную, а затем политическую и экономическую основы бытия, и, к сожалению, этот главнейший источник людских бед пребывает, как и прежде, за бортом внимания ученых мужей, сонмом облепивших кафедр институты, университеты и академии.

LVI

В поведении людских сообществ есть нечто обобщенно-странное, напоминающее человека, который настолько озабочен будущим (не в том смысле, чтобы продумать и подготовить его, а в смысле хотя бы разглядеть его весьма и весьма смутные и в большинстве случаев обманные контуры), что, считая происходящее с ним и вокруг него уже отжившим явлением, не удосуживается даже понять, что всякое будущее вытекает из настоящего и только изменив настоящее, можно ожидать перемен в грядущих веках. Истоком же подобного простофильства является то, что нас тысячелетиями приучали лишь вглядываться в даль, то есть питаться несбыточными надеждами и довольствоваться миражами благоденствия, и не смотреть под ноги, то есть на ту грязь, в какой и поныне от рождения и до смерти толчется простой люд, тщетно старающийся пробиться сквозь нимб опоясывающих его страданий к вечным и желанным ценностям бытия. Все правители, начиная с фараоновских, а может, с дофараоновских еще времен, всходившие на престол или добивавшиеся его, непременно хоть что-то да обещали народу в смысле улучшения или облегчения жизни, то есть одаривали надеждой, которая, в свою очередь, трансформируясь в веру, вольно ли, невольно ли отрывала людей от текущих тягот и заставляла вглядываться в те контуры обещанного благоденствия, которые затем, по мере приближения к ним, растворялись и таяли, как растворяются и тают миражи в пустыне (точнее не скажешь, если в образном выражении), оставляя в душах лишь горечь жесточайшего обмана, горечь рухнувших надежд и еще более жгучую потребность в новых обнадеживающих посулах, которые уже не окажутся миражами и не принесут разочарования. Круг выдаваемых правителями несбыточных обещаний превратился в конце концов для народов в столь замкнутое кольцо психологического воздействия (в один из рычагов или механизмов зомбирования), что, пройдя через испытания веков, оно только еще плотнее обхватило нас своей обручной хваткой, и мы из десятилетия в десятилетие, из столетия в столетие лишь мечемся между надеждой и миражом, то есть от надежды к миру и от миража к надежде, тщетно впляываясь взором в туманный горизонт наступающих эпох и не удосуживаясь посмотреть под ноги. Думаю, каждый понимает, что любые рассуждения на историческую тематику, если они не опираются на достоверные источники, не могут иметь ничего общего с действительным ходом исторического развития человечества; достоверным же фактом, подтверждающим высказанное здесь мною предположение, является то, что ни в официальных историографиях, достаточно открытых любому для ознакомления, ни в неофициальных, тоже не менее широко известных в изложениях, не зафиксировано ни одного случая (может быть, за малым исключением, да и то в многократно усеченном варианте), когда бы посулы правителей были воплощены ими в жизнь; более того, чем сильнее с наслоением веков разгоралась борьба между династическими и нединастическими претендентами на престолы, вернее, чем острее в этой борьбе возникала у претендентов потребность во вмешательстве народных масс, тем щедрее они расточали им свои посулы и тем коварнее обращали затем свои обещания в новые для народа закабалительные ошейники. Все мы (я имею в виду людские сообщества, начинавшие исторический путь в условиях идиллического или близкого к этим условиям уклада жизни) давно и основательно погружены в многоэпохальный тронный обман, сопряженный с беспробудным невежеством и беспросветной нищетой, словно бы узаконенных для простолюдинов, в каких удерживали и продолжают удерживать нас достославные наши пьедестально-иконостасные поводыри, и если в такой оголенной стержневой основе, то есть в строго реалистическом раскладе, посмотреть на исторический ход развития человечества, то можно увидеть, что все рассуждения о великой цивилизации, основанной фараонами Египта, и о достигнутых в результате торжества этой цивилизации «прогрессе и процветании», — рассуждения эти предстанут лишь тем правдоподобным покрывалом, сотканным, надо признать, с истинно муравьиным трудолюбием историками, философами, теологами, действовавшими от тронов и кор-

мившимися от них, как и служителями культуры и просвещения, точно так же действовавшими и действующими от тронов и кормящимися от них, под которым и по сей день лежит скрытый от людских глаз нетронутый пласт реальной истории человечества. Тысячелетиями восходили на престолы и сходили с них в небытие кумиры-поводыри, менялись (вроде бы менялись) режимы их власти, именуемые в официальных историографиях социальными формациями; тысячелетиями короновавшиеся и претендовавшие на короны «богоизбранники» оглашали посулы, обнадеживающие простолюдинов миражами грядущих перемен, то есть, иными словами, обращали наш взор к небу, отрывая его от земли, от насущных (повседневных, текущих) проблем жизни, требовавших решения, и, пока мы старательно вглядывались в обманно-прельстительные контуры, поглощенные ожиданием обещанного благоденствия, мир вокруг нас только плотнее окольцовывался фараоновской системой господства и рабства, подвигаясь к той тронно-заветной черте необратимости, за которой никто уже не посмеет даже подумать, что общественные отношения в том варианте, в каком они узаконены, отнюдь не являются догмой жизни и что хищнический миропорядок, старательно поддерживаемый тронами, происходит не от естества природы и не от промысла Божьего, а от произвола поводырского разума царствовавших и царствующих особ. Веками нас водили в сражения за «светлые идеалы», и если бы все войны и нашествия, завершавшиеся разбоем, разграблением и порабощением, удалось хотя бы мысленно свести в единую картину действий, то она прежде всего ошеломила бы нас не горами солдатских (в обобщенном восприятии) трупов, не океаном пролитой крови, а обманом, приняв который или, вернее, поверив в сей поданный в соответствующей упаковке мираж, коим простолюдины и ныне зомбируются на самоотвержение и смерть, предки наши были настолько упоены надеждой и верой в будущее, что их ведут к славе великих побед, а не по бедам себе подобных, что у них, мне кажется, не было даже времени, а скорее не хватило ума оглядеться вокруг себя, во что они втянуты и что это даст им, то есть опустить очи долу, и было не до прозрения, как и нам сегодня, что никакими «светлыми идеалами», исходящими от тронов, невозможно исправить ни настоящего, ни будущего. Хочу обратить внимание еще на одну ударную, позволю себе так назвать ее, силу, которая в полном согласии с мирской властью, но со своей, божественной стороны, воинственно внедряла миражепоклонство в сознание людских масс; уже в шаманстве и язычестве ясно проглядывал сей мирской отвлекающий (в пользу правителей) маневр, до такой степени затем усовершенствованный иудаизмом, буддизмом, христианством и мусульманством, что у простолюдинов уже не оставалось выбора, куда и на что смотреть; жизнь земная была объявлена преходящим явлением, ибо давалась человеку вроде бы только для спасительного очищения души, которое достигается через смирение и страдания; нищета, бесправие, муки провозглашались святостью, открывающей дорогу в рай, то есть к вечному блаженству, а власть, слава, богатство, церковное и дворцовое барство — пороком, ведущим в ад, что в переложении на язык житейщины выливалось в самую простую и оттого, может быть, предельно действенную (по степени нашего исторического да и житейского невежества) схему поведения людских масс, которым просто-напросто предписывалось не смотреть под ноги, вернее, не обращать внимания на муки земной (преходящей) жизни, ибо «царствие Божие», где верховенствует справедливость, не на земле, а в небесах, куда и надо устремляться всеми своими помыслами, и — чем это не мираж грядущего благоденствия? Нам прививалось отвращение к богатству, славе, роскоши, ко всему, что составляло и составляет дворцовую жизнь, полагая, что наш удел рождаться «рабами Божьими» и «рабами Божьими» умирать, и пока простолюдины двадцать веков в молитвах и упованиях дожидались обещанного (именем Бога) благоденствия, система фараоновского господства и рабства почти вплотную подошла к пику своего всеохватного могущества; да мы и по сей день все еще никак не можем понять, что наши смирение и послушание — это индульгенция, выдаваемая церковниками правителям за сотворенные и творимые ими пре-

ступные деяния против человечества. Миражи благоденствия для нас, кем бы и с какой бы «благотворительной» целью ни готовились и ни подавались, являются не больше не меньше, как тотальным приговором на вечное, унижительное рабство; а между тем суть этих миражей, изготовленных во дворцах и храмах, предельно проста — смотрите в небо, питайтесь надеждами и не касайтесь земных дел, то есть не мешайте нам творить творимое. Миражемания, о чем опять же свидетельствуют века, привела нас к еще более глубокому обману, о котором многие даже не догадываются; а ведь мы не случайно оказались отторженными от реального восприятия истории, как и от реального восприятия повседневной текущей жизни, тогда как именно из прошлого и текущего бытия, что уместно повторить здесь, только и может вырастать и вырастает грядущее человечества. Мы хорошо знаем (согласно древнейшим и новейшим изложениям и пересказам) героизированную историю царств и царствований, героизированную историю всевозможных захватнических нашествий, походов и войн, в результате которых гибли цивилизации и поработанные народы; героизированную историю научных открытий, озаменованных изобретением пороха, автоматов и ядерных бомб, или, скажем, открытий, подобных открытию Америки; героизированную историю фундаменталистских религий, обогативших и продолжающих вроде бы обогащать человечество спасительными учениями творцов жизни, сотворивших ее, однако таким образом, что в ней не только простолюдины, но и могущественные владыки мира, бросающиеся истреблять друг друга в междуусобных боях, не всегда чувствуют себя уютно под защитой замковых стен и дворцовых охран; знаем о героизированной роли культуры, обслуживавшей сперва только фараонов Египта, а затем двинувшейся из страны пирамид вслед за своим хозяином и кормильцем (стержнем господства и рабства) на захват мира,— да, да, мы знаем историю человечества в ее параллельно, как уже говорилось, бегущих линиях или направлениях, исследования которых как раз и являют нам и динамизм развития, и неподдельный вроде бы героизм (все, все есть, и порох изобретен, и автоматы, и ракеты, и ядерные бомбы, и, подобно пирамидам, высятся небоскребы — современные выразители могущества власти, создавались и создаются шедевры литературы, искусства, музыки, живописи, зодчества), но соответствует ли эта героизированная история направлений целостному восприятию прошлой и настоящей жизни? Нет. Хоть в материальном, хоть в духовном измерении жизнь нашу нельзя назвать ни динамичной, ни героизированной; только из дворцов и только глазами правителей — современных «богоизбранников», — готовых вновь и вновь тиражировать для простолюдинов свои ставшие уже шаблоном миражи благоденствия, ее можно увидеть такой, но не из хижин и не глазами бесправных и бедствующих народов. Многие виднейшие деятели современности, однако, склонны считать, что это необъяснимый парадокс истории; такая трактовка, думаю, сегодня вряд ли может кого-либо удовлетворить, ибо в явлении этом нет никакого парадокса, тем более необъяснимого, а есть только целенаправленное действие, тщательно отработанное в веках и открывающее фараоновской державности дверь к мировому господству.

(Окончание второй книги будет опубликовано в первых номерах следующего года.)



ДЫМ ДОЖДЯ

* * *

Хотелось снегу выпасть в сентябре.
Свинец копился в окоемах неба.
Холодный шар кровавил корку хлеба,
и ветер выл, как черт в печной трубе.
К концу тащился високосный век,
от нелюбовных и любовных акций
захлебываясь, словно человек,
с самим собой желающий сквитаться.

Венеция

Иосиф прекрасный с прекрасной Марией
венчались Венецией ультрамариновой,
чтоб после вернуться, скрепленными браком:
Марии — с ребенком, Иосифу — прахом.
Осталось: в пустыне своей человеческой
был нервен и весел, красив и невечен.
Останется: в мире навечном, незримы,
ему его песни поют серафимы.
Васильевский остров, Васильевский остров
его не дождется, все было так просто:
балтийская прорва, холодная просинь,
увенчанный славой изгнанник Иосиф.
Лечу, и плыву, и шагаю, и еду
землею, и морем, и небом — по следу,
чтоб венецианского и венценосного
тайно коснуться духа Иосифа.
В Венеции дождь. Проливную залиты
водою каналы, ступени и плиты,
и бедной паломнице мокро и худо,
и не происходит желанное чудо.
Но в церковь Вивальди сторожко заходит,
в Сан-Марко глазищами своды обводит
и смотрит, как остров вокруг обтекла
вода из бутылочного стекла.
Сан-Джорджо на той стороне возникает,
мелькая над кладбищем, тень промокает,
и Победоносец Георгий живой,
Москвы покровитель, витает, как свой,
Москвы, а не Питера и не Нью-Йорка,
где эта же тень от Иосифа-Иорика,
где этот же дух, что при жизни любил
Венецию лодок, мостов и могил.
Да я-то не в духе. Мой спутник, как дож,
как венецианский назойливый дождь,

и вот уж сгущается в сумерки вечер,
и ясно уже, что случилась невестреча.
Последняя лавка. Витрина блестит.
В ней ультрамариновой смальты летит
крыло в виде маленькой брошенной броши.
Мечтанье об ангельской броши до дрожи.
Каким-то неведомым образом Гамлет,
Иисус, и Иосиф, и здешние камни,
и я, и мой спутник, и тыщи Марий
связались в одно через ультрамарин.
И дух торжествует в изяществе вещи,
и вещи Творца, даже тени их, вещи,
и я забираю с собою коллекцию,
и слезы с дождем омывают Венецию.

Священная война

Ты выходишь на улицу: снег — а это огонь.	огонь, не упрятанный в фонари, кровавый пот с лица оботри.
Ты садишься за трапезу: хлеб — а это огонь.	Через обугленные глазницы, через выпавшие ресницы,
Ты выводешь животное в хлев — а это огонь.	через огнедышащий рот сожженный, пахнет войной кислород.
Ты включаешься в новый бег — и это огонь.	Никому извне не видна эта священная война.
Огонь, выжигающий изнутри, огонь, горящий с зари до зари,	На условиях на любых просит пощады мой грешный стих.

* * *

Была отчетливо красива
и безотчетно влюблена
в любовь. И злая светосила
в зрачке косила допьяна.
Никто не знал ее уродства
замеса на больной крови,
лишь тень глубокого сиротства
лежала на ее любви.

* * *

Гонит дым дождя над деревьями ветр тугой дугой с завываньями, и ландшафтами сопредельными мокнем ликами в нем и дланями. Погружаемся в одиночество, вод завесившись занавескою, захохочется, если захочется,— отзовется грозою небесною.	Не захочется — так заплачется, а заплатится сердцем порванным. И за это Господь расплатится сокровенным словом дарованным. Кто услышит, в ознобе и свежести,— о себе подумает заново. Кому шепчет невеста нежности — будет занят. И ухо занято.
---	--

* * *

Девочка — лужица, сооруженье из лужицы,
через окошки-глаза до потери дыхания
изливалась,
набираясь женственности и мужества,
сохранялась
в режиме непросыхания,
набухала переживаньями важными,
изживанья жизни выпадали в осадки,

и все сущности, будучи влажными,
составляли нечто в сухом остатке.
Женщина плакала в промежутке
от любви и до смерти, без остановки,
прерываясь коротко на дружеские шутки,
работая под небом без страховки.
Влажные сущности в глазах блестели,
лужица с океаном переливались вместе.
Говорили: душа в божественном теле,
мокрые глаза на мокром месте.
Высохли веки навек, и пересохла глотка.
Сухой остаток вспоминает влагу
в каменной пустыне. Простая тетка
сухим пером в горле царапает бумагу.

* * *

Ну вот, исчавканная местность,
колодца ржавая бадья,
как бы последняя окрестность,
последний очерк бытия.
Оскомины дрянная сила
сжимает челюсти в замок,
чтоб западник славянофила
смог одолеть в условный срок.
Фасет, фальцет, фальшивый заяц,
флажки и обморока мрак,
в условный срок преображаясь,
иной пейзаж вплывает в зрак.
Охота, дивная охота
смотреть на кочки без конца,

на все болотца и болота
как часть необщего лица.
А там дубы, березы, ели —
прикрыты милой стороны,
как в эту сторону глядели
с обратной стороны Луны.
Восток ли, Запад — все едино,
Европы скромный идеал,
Китай, Япония — все мимо,
видал их или не видал.
Мы космонавты. Наши души
уходят в небо, не спеша,
ничем порядка не нарушит
моя славянская душа.

* * *

Молодые волки, молодые,
рвут пространство жизни,
рвут кусками,
выгрыз, выкусил волчара, выел
острыми, без жалости, резцами.
В этом месте, в этом самом месте,
о подножье низкий голос бился
и взлетал высокий в поднебесье,
существуя, стало быть, и мысля,
мысля о тебе, тебя, тобою,
выводя в иное измеренье,

волчий аппетит само собою,
свет, и звук, и мысль —
само, отдельно.
Клавишных вопросы и ответы,
мнение альтов, сомнение скрипок —
род составленной нездешней сметы,
алгебра с гармонией на выкуп.
Но Акела старый, но Акела,
вымысел, сюжет, молва из мифов,
выдумка, пока не околела,
раны зализав, — прошу на выход.

* * *

Меланхолия по четвергам,
по субботам — пустоты,
пожелаем того же врагам
от зимы до субботы.
В среду дружеский жест по врагу:
информации «звезды»
совокупно устроят в мозгу
сотрясение мозга.
А во вторник сосуды кровят
и измучена лимфа,
хорошо, коли яд вогнан в ряд —

получается рифма.
На дворе тыщелетья конец,
все вибрации — в деле,
и разносит в куски юнец
дух в душе и теле.
От нуля до весны все не так,
я зову в воскресенье:
загляни,
мой любезный друг,
мой враг,
посидим во спасенье.



Юрий КАРЯКИН

Дневник русского читателя

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК. ПЕРЕДЕЛКИНО. 1996.

22 июля.

У меня сейчас крайне, предельно выгодная позиция... Дождался, дожил, ничего не надо, кроме, разумеется, как... умереть достойно. Что значит умереть достойно?

- 1) Успеть отдать нажитое.
- 2) Успеть рассказать о своем правдашнем и неправдашнем.

Что я могу (стало быть, должен) делать, сделать **сейчас**?

Сейчас, когда... мне уже шестьдесят шесть, когда позади (т. е. внутри меня) три инфаркта, а впереди... Финал.

Что я могу — может быть, лучше всех (пока)? Что?

То, что я знаю лучше всех. То есть? Себя. То есть? Рассказ о себе. О своем пути духовном (тем самым — о своем поколении).

Уникальность нашего поколения

Небывалость сумбура, хаоса. Небывалость неожиданности, «вдругов», смены мировоззрений, не мировоззрения, а мировоззрений, если угодно...

Вот то, к чему я пришел. К счастью, пришел, пусть хоть в конце жизни, пусть на выходе из жизни. К несчастью, не в начале. Эх, с такого бы старта да начать полет... Но полетят уже другие (то есть главный адресат — подростки, юнцы, молодые — то, что Достоевский писал в черновиках об Аркадии: «Другого не исправило бы...»).

А мне... мне хотелось бы не только отчитаться за свой путь, но и помочь другим — непосредственно помочь в начале их пути, помочь не проповедью, не притчей, а исповедью, но не прямо в лоб, а исповедью «растворенной».

О «перемене убеждений»

Я не принадлежу, к сожалению, к тем людям моего поколения, кому с самого начала было все ясно насчет марксизма и коммунистического режима. Думаю, число таких крайне преувеличено. Даже Мераб Мамардашвили... Ну не из-за цинизма же умственного был он в рядах КПСС.

Я принадлежу к тем, кто «проснулся», очнулся, прозрел (точнее — начал просыпаться, прозревать) с XX съезда (предпосылки, конечно, были: искусство, беспорядочное и запойное чтение русской и мировой литературы, консерватория). Но я очень долго оставался Маугли. Если хотите, другой образ: свинцовая заслонка...

Почему так долго прозревал, да еще при наилучших условиях?

Первое. Все-таки — отсутствие, незнание фактов, марксистская прививка к незнанию, к отторжению фактов, прививка — не мыслить, не искать, а подтверждать. Ситуация абсолютного «знания». Прививка отторжения от ситуации незнания.

Второе. Очень личное. Неподкупность, честность, совестливость отца, вообще — родных. Это казалось едва ли не решающим аргументом (не казалось, а чувствовалось) за истинность коммунизма — не «искривленного», не искаженного, а «чистого».

Третье. А тут еще — Завещание Ленина, скрытое Сталиным, завещание, за чтение и распространение которого сажали, убивали (а там, в «Завещании», прямо говорилось, что Сталина надо отстранить от власти).

Вот эти факты сыграли роль того железа, которое положил возле компаса герой-злодей из романа «Пятнадцатилетний капитан», и... корабль поплыл не туда.

Так вот, мое освобождение от марксизма, ленинизма шло мучительно, долго, и это — при наилучших условиях, в которые я был поставлен: влияние, «облучение» Достоевского, Солженицына, Сахарова, Высоцкого...

И то — сколько лет прошло, пока, наконец, «капитулировал». Перед чем капитулировал? Перед жизнью. Так что это не капитуляция никакая, а запоздалое, слишком запоздалое **возвращение от смерти — к жизни**.

Что отсюда следует?

Прежде всего — **терпимость**. Если я в среду прозрел, а во вторник еще был **там**, если мне удалось это сделать так поздно при **наилучших** условиях, если, если я только и делал лет двадцать, что сознательно прочищал свои мозги, если у меня были идеальные предпосылки — и профессиональные — для этого, а другие остались **там**, во «вторнике», то какое право имею я их **изобличать**?

Разрыв с коммунизмом у всех происходит по-разному.

Профессионалы-ученые.

Идеологи-политики.

Рядовые послушники...

Как разывают с коммунизмом? Из-за карьеры? Искренне? По-видимому, здесь-то и критерий главный.

Сегодня объективный ученый — да еще под небывалым напором фактов — не может быть за коммунизм.

Все зюгановы — небывалое сочетание тупости и цинизма. Цинизм, конечно, отвратителен, но все-таки до сих пор он был связан с умом: мир, дескать, омерзительен, из этого надо исходить, нельзя прекраснодушничать, а надо найти свое — наилучшее — место в этой жизни. Какой-никакой, но ум. А здесь — тупость. Коммунизм зюгановых без:

- 1) атеизма,
- 2) уничтожения частной собственности,
- 3) диктатуры пролетариата,
- 4) однопартийности,
- 5) запрета фракций внутри одной партии,
- 6) интернационализма, уничтожающего национальность.

Какой же это коммунизм? Что от коммунизма осталось? Не больше ни на грамм, чем все то, что есть у социал-демократов, а еще основательнее — у либералов и консерваторов, которые к тому же осуществляют на деле свои принципы.

В этом смысле Анпилов и Андреева куда как более последовательны, оставаясь на позициях «монолита». Ведь марксизм — это такой монолит, из которого если вынешь хоть один кирпичик, да хоть и молекулу одну, атом один — сразу и рассыплется.

Очень давно тревожило меня (полуосознанно, полутрусливо): Ленин — ниже, слабее Маркса — Энгельса, что уж говорить о Сталине! Напал (начал предчувствовать) на **закон** — на **закон понижения качества, понижения уровня** = т. е. выявления сущности (не возвышение, а именно понижение). Напасть-то напал, а поверить даже испугался: не закон, дескать, а просто искажение Идеала. Стало быть, надо его — Идеал — восстановить. И много лет затратил на бесполезные попытки «восстановления» идеала.

В моей жизни, как и в жизни многих «шестидесятников», был целый период подборки хороших цитат из Маркса—Энгельса—Ленина и отчаянная борьба за них, за эти цитаты, которые считались «ересью». Дурачки! Мы хотели цитатами пробить каменную — не каменную — железную стену.

Любили Ленина за антисталинское завещание, любили Ленина за нэп, за мирное сосуществование...

Году в 60-м я придумал аргументацию (она мне казалась гениальной!): нэп = мирному сосуществованию внутри России, мирное сосуществование = нэпу во вне... Ах, как жаль, что Ленин не возвел эти установки в принципы стратегические и мировоззренческие, а остался на уровне тактики...

Недавно прочитал, кажется, в «Известиях», о том, что делается, что делали с трупом Ленина в Мавзоле. И тут — всё ввали (как статистика вся, как со Стахановым, с «Челюскиным» — баржа с заключенными, которую потопили). Оказывается: давным-давно труп гниет, его маскируют, начальству врут, премии получают, конкурентов сажали...

В сущности, это и есть **образ марксизма-ленинизма**. Рано или поздно **проступают трупные пятна...** Что это? Искажение идеала? Да нет его, марксистского Идеала. Есть лишь долгое выявление его сущности.

А вот еще об одном из первых моих главных «прозрений» (сначала пронзило, потом заглохло, потом возродилось):

Есть точные науки — физика, химия, астрономия...

Ну, можно ли физику называть ньютонизмом, химию менделеевизмом, астрономию — коперниканством? А науку об обществе, о человечестве, о человеке, т. е. науку, совмещающую в себе все науки, уже известные и еще неизвестные, втиснуть в учение, тоже названное одним именем. Это же полный абсурд: марксизм, ленинизм...

Подумал, обожгло очень давно, но тогда еще боялся высказать публично.

А как же Христос? Христианство? Не наука, но все равно — мировоззрение, мироощущение, долговечнейшая эпоха... Как тут быть? Тоже по имени же названное...

Мучился. Понял вдруг: христианство потому-то и неискоренимо, что в самой закваске, в зачатке своем, имеет **личность**, конкретнейшую личность с детальнейшими деталями, а не абстрактнейшую идею (заметьте: чем более гениален марксизм-ленинизм, тем меньше должно нам знать о конкретной жизни этих гениев).

Обаяние, нет, неправильно, неотвратимая притягательность именно **личности Христа** — вот в чем тайна неодолимости христианства.

Уничтожение личности — во мне, в тебе, в нас и даже в «основателях» — вот в чем **секрет обреченности марксизма-ленинизма**. Личность уничтожена не только в подданных, но и в «отцах-основателях».

Достоевский: пусть мне докажут, что истина вне Христа, а Христос вне истины, а я скажу: останусь с Христом, а не с вашей истиной.

Спрошу: а мог бы Христос поступить как инквизитор? Нет? Ну, так значит...

А я спрошу: а могли ли так поступить Маркс, Ленин, Сталин? Ну, так неужели не ясно, что сразу все и рушится.

Вся суть дела в том, что **духовно-нравственного авторитета у Маркса, Ленина нет**. А что есть? Обратная фальсификация от якобы абсолютно истинной идеологии, науки, стало быть, к абсолютно «непорочной» личности.

Но, может быть, главная молния, которая меня пробила, была мысль, ко-

торой я долго боялся. От кого она ко мне пришла? Немножко от себя (немножко от начитанного), а главное, наверное, от Бахтина — «солилоквиум», минуя пространства и времена...

Усадить всех гениев — умерших, живых и будущих — за один стол. Пусть дискутируют.

И вдруг меня ударило: а что, если бы Пушкин, Гоголь, Достоевский и Толстой, Чехов дожили бы до Октября или воскресли бы во время Октября? Что бы они сказали?!

Мысль эта долго наклеывалась, проклеывалась во мне, я боялся ее, я любил ее, снова боялся. Все равно взорвалась, и отступить было некуда: отрезались и проклинали бы. Значит? **Тут уж выбор окончательный.**

И: что бы с ними **мы** (марксисты) сделали?.. «Если бы»...

Ахматова, Пастернак, Мандельштам — не Пушкин?

Вернадский, Вавилов, Павлов — не Коперник?..

«Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза... Мы всякого гения потушим в младенчестве...» — неистовствует Петруша Верховенский в «Бесах».

«Если бы...» Все это и осуществилось. Когда, кто подсчитает, сколько гениев было задушено в младенчестве?..

26 июля.

По-видимому, через все тернии, заблуждения, самообман я все-таки выхожу на какой-то главный путь.

Этот путь — **возвращение к самому себе, к людям, к Богу.** Ложный путь — от самого себя, от людей, от Бога. Наверное, все это началось с мысли об **эволюции художника, об эволюции мыслителя, об эволюции политика.**

Эволюция художника — очень по-разному: писатель, живописец, музыкант, скульптор... У каждого — по-разному.

Гойя. Главное, что я (пока), кажется, понял, то ли первый, то ли сильнее других, до меня это открывших:

Во-первых, **контрапункты** «Сан-Исидро» как знаки, вехи, общей эволюции, как «снятие»...

Во-вторых, вдруг осенило: в «Капричос» последнее — автопортрет — стало первым: спиной творец к персонажам...

В-третьих (еще не совсем продумано и прочувствовано), эволюция всех его автопортретов. Надо бы сопоставить автопортреты всех художников; сравни Пушкин-живописец, «саможивописец» и его автопортреты лирические, поэтические.

Эволюция Микеланджело: Адам — это и есть Христос. Открыл я это не сам, а с чьей-то подсказки. Кто-то сказал: Пьета первая и Пьета последняя (тоже знаки-вехи). К счастью, Микеланджело, по-своему, можно перепроверить не только по рисункам, но и по сонетам, по этическим автопортретам.

Эволюция Эрнста Неизвестного — это, конечно, особь статья (все записано в дневниках).

Итак, я выхожу, кажется, в миллиардный раз на ту же самую дорогу, по которой суждено следовать каждому человеку от мгновения его рождения, может быть, и зачатия, до последней секунды его жизни, а именно: **возвращение блудного сына.**

Вся Библия — в этом, весь Достоевский, весь Толстой.

... Ну не смог бы я сегодня, 26 июля 1996 года, вот так спокойно, «безмятежно», обо всем этом думать, не будь 3 июля 1996-го.

3 августа.

О судьбах России

Россия как человек, отдельный человек, потерпевший поражение... Как выпутываться? Искать причины в себе. Выкарабкаться, а не вопить всем остальным, что я всех вас лучше и всем вам укажу дорогу к счастью.

Говорят: у нас «дикий рынок». Да. Только у нас еще и дикий рынок идей, полемики...

Достоевский: у меня, у нас, у **России** — «две родины»: **Запад и Восток**.

Во-первых, это гениальное преувеличение гениального человека, который всегда меряет на свой аршин.

У кого, у нас — две родины?

А у науки? А у культуры? Сколько *родин* у них?

Мы одновременно загнаны в два тупика:

1) абсолютное якобы самообнаружение своей неповторимой индивидуальности (личной, племенной, национальной, расистской, религиозной, социально-политической, мировоззренческой),

2) абсолютной безвыходности человечества в целом.

Русский человек — то Обломов, то Рахметов: то на диване, то на гвоздях.

17 сентября.

Творец и его создание

Странно: бывает то, что названо «маленькими радостями», бывает, ну уж, если продолжать, «средними радостями», но бывает... бывает озарение...

Сейчас, может быть, такое. Может быть.

Несравнимость «героя» и создателя.

Все, почти все знают Дон Кихота, все, почти все помнят Гамлета, но почти никто не помнит и меньше всего интересуется Сервантесом и Шекспиром. Но ведь тут-то и вся загадка, вся тайна. Не Дон Кихот родил Сервантеса, не Гамлет родил Шекспира. Наоборот все! В этом-то и тайна.

Эта мысль обожгла меня лет 20—30 назад, потом полтора года назад я ее высказал в какой-то телепередаче. Но мало кто ее заметил, а кто заметил, был поражен. А я, пожалуй, был сам поражен больше всех.

И вот снова она, эта мысль, меня сверлит.

Ну не мог Достоевский не знать, не мог не думать, не одухотвориться простой мыслью: не мог он не знать, что Сервантес, покалеченный, был продан на долгие годы в рабы — и что же? Что же он там в рабстве думал? Что же он думал, чувствуя себя создателем будущего «Дон Кихота»?

Это же почти одно и то же — то, что думал, не мог не думать, не чувствовать Достоевский, — он и был таким Сервантесом, покалеченным и безнадежным.

Достоевский — Сервантес... Князь Мышкин — Дон Кихот...

Все равно тут какое-то противоречие: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...»

Вроде бы получается, что «творение» выше «творца».

Не так.

Не так, «по определению».

Не было Дон Кихота — был морской калека, наемник Сервантес, создавший Дон Кихота.

Не было князя Мышкина, был калека сухопутный — Достоевский, создавший князя Мышкина.

Но Дон Кихот (идеал, мечта творца) спас самого творца, спас Сервантеса, а князь Мышкин (тоже идеал, мечта) спас Достоевского.

И у Анны Андреевны тот же вопль, мольба, обращенная к своей поэме:

Спаси меня, как я тебя спасала,
И не пускай в клочкущую тьму.

Да, Микеланджело, Гойя, Достоевский... Все это для меня навсегда неотторжимо (почему — другой вопрос)...

Ну, почему так случилось, что однажды на выставке в нашем московском Эрмитаже — Пушкинском музее (никогда об этом не забуду) — я вдруг «прилип» к портрету «Неизвестного» Эль Греко (не во времени дело, а именно в неотвязчивости, он меня просто не отпускал)? Подошел ко мне какой-то человек, странный, вовсе вроде бы не моего круга, и сказал, сам ошеломившись: «Боже, как вы похожи». При этом присутствовал Элем Климов, который был еще больше поражен, чем я.

Так вот: почему — на самом деле — этот Неизвестный мне действительно роднее всех моих соплеменников? Микеланджело, Гойя, Достоевский — почему? Почему я — так остро и навсегда — почувствовал и понял: он — это я, я — это он?..

15 октября.

Время Достоевского
(время — художественное и обычное)

В чем отличие времени — художественного от обычного?

Здесь, наверное, не обойдешься без сравнения с музыкой, с нами, религиозным откровением (да и просто откровением).

Сны: за сколько секунд (минут?) реального времени — сколько видишь! А ведь можно сказать и так иногда: за сколько секунд сколько видишь часов, дней, лет даже! Во сне ведь ты тоже живешь *во времени, в художественном времени*, вмещенном в обычное. Не случайно определение Достоевским снов («перескакиваешь через пространство и время и сосредотачиваешься на точках, о которых грезит сердце») — это же и есть, в сущности, **определение искусства вообще (особенно искусства Достоевского), определение религиозного откровения.**

Время в романах Достоевского (буквально): в какое историческое, конкретное время происходят события: сколько лет, месяцев, дней. «От... до». Время, когда действие развивается собственно художественно, т. е. «сценами, а не словами», хотя без «слов», по крайней мере в прозе, тоже обойтись нельзя. Его, Достоевского, «перелеты».

Сколько страниц уходит на рассказ «сценами» («сценами» часа, дня, месяца, года), сколько — на рассказ «словами». Особенно в эпилогах. (См. эпилоги романов «Преступление и наказание», «Подросток».)

Итак, посмотрим на «реальное» время в романах Достоевского.

«Преступление и наказание»

Реальное время: 1865 год (середина 60-х).

Время действия = 13 дней (сценическое — всего семь дней), а о шести днях только сказано, что Раскольников «был в бреду».

Однако: 13 дней и потом. еще полтора года (имеется в виду эпилог, который — здесь нельзя согласиться с М. М. Бахтиным — написан не одним «монологическим словом», здесь есть «сцены», свои контрапункты, да какие!).

Здесь в снах тоже снится время...

«Идиот»

Начало — 27 ноября (среда). С девяти утра до полуночи. Всего один день (двести страниц!).

Продолжение через полгода. Еще девяти дней.

Один день в ноябре и 9 в июне следующего года...

«Подросток»

13 дней. 19 сентября — 3 декабря (при этом: «пролетаю два месяца» — уточнить цитату; да еще — девяти дней беспамятства).

«Братья Карамазовы»

Реальное время — 1866 год (середина 60-х), отсюда, кстати, следует, что

Раскольников и Иван Карамазов примерно в одно время были в Петербурге, писали свои статьи и, стало быть, могли встречаться и читать друг друга.

Эпилог — первая декада ноября.

Всего — десять дней.

Просчитать под этим углом зрения все до единого произведения Достоевского. Какая здесь закономерность?

Получится, как с «вдругами». **«Вдруг»** — ведь это своего рода единица художественного времени.

Сравнить — под этим же углом зрения — Достоевского с другими писателями от Пушкина до Толстого. Сравни эпилоги у Пушкина («Пиковая дама»), у Толстого («Война и мир»).

Довести, нет, не довести — разогреть, разжечь, раскалить! — все **«до степени мгновенной музыкально-поэтической памяти»** (моцартовско-пушкинско-достоевской), **когда все ясно в одно мгновение.**

«Кувшин Магомета» — один из любимейших образов-легенд Достоевского.

Магомету явился Архангел Гавриил и забрал его с собой. В этот момент опрокинулся кувшин...

Магомет и Архангел Гавриил облетели весь мир. Были у Бога, а когда вернулись — кувшин все еще падал и его можно было подхватить...

Вот, вероятно, **образное предчувствие, чувственное художественное открытие будущего закона относительности — зависимость растяжения времени от скорости движения.**

В примечаниях к тридцатитомнику Ф. М. Достоевского довольно убедительно говорится, что источником этой легенды для Достоевского послужил В. Ирвинг.

Но Достоевский читал и сам Коран. Не мог ли взять прямо оттуда?

Главнейшей предпосылкой *начала* работы над пониманием художественного произведения (наверное, любого и, кажется, над произведениями Достоевского в особенности) является такое его прочтение, прослушивание, проглядывание, такое его *знание*, при котором достигаешь **предельной скорости облета, когда в одно мгновение можешь увидеть, услышать, прочесть, можешь обозреть и все целое, и все до единой малейшей детали — абзацы, мазки, ноты, когда время как бы расплывается в пространстве** и даже как бы исчезает, так что можешь опрокинуть свой кувшин, все увидеть, услышать, прочесть и, вернувшись, успеть поставить кувшин на место.

Сравнение с музыкой, с музыковедением очень плодотворно. Именно **музыка особенно наглядно демонстрирует таинственную природу времени**: в ней, музыке, как бы «по определению», отсутствует пространство, но в ней же — тоже особенно наглядно — демонстрируется превращение времени в пространство, расплывание времени в пространстве: ведь когда знаешь наизусть, любишь какое-нибудь музыкальное произведение, то при первом звуке его (а иногда даже при одном названии) мгновенно представляешь себе его и в целом, и в мельчайших деталях, заранее знаешь развитие каждой ноты, все переходы, контрапункты... Начинаешь как бы уже не просто слышать его, но и видеть. (См. об этом у Малера, Вагнера, К. Кондрашина.)

Вероятно, что-то можно найти на этот счет, особенно у **Чюрлениса**: у него, может быть, как ни у кого из художников, **живопись кажется «переводом» с языка музыки и наоборот**; у него, как ни у кого, видишь музыку и слышишь живопись.

Какому другому виду искусства ближе всего музыка? Какому писателю роднее всего какой композитор, живописец? (Даже если они друг друга не знали, тем более если знали.)

Данте — Микеланджело... Микеланджело — Моцарт (Страшный суд — Реквием)...

И не случайно же буквально страстная тяга Достоевского к прозаическим рассказам о замыслах картин, опер...

Каким счастьем, наверное, для Пушкина было узнавание себя в Моцарте. Думать, вспоминать... Советоваться с людьми знающими...

21 октября.

Пространство — время

Достоевский: на каком расстоянии, *пространстве* — кто вычислил? — начинается, а на каком кончается — *совесть (со-весть)*.

Осмелюсь добавить: на каком *времени* — кто вычислил? — начинается, а на каком кончается — *совесть (со-весть)*?

Метр? Минута?

А если два метра? А если две минуты? А если — тысячу, сто тысяч километров?

А если десять, сто, тысяча веков?

То?..

Религия и искусство уничтожают пространство и времена, делают нас всех *единосущными и в пространстве, и во времени*.

Система не может быть понята изнутри.

Только извне.

Из *надсистемы*.

Нужен *инопланетянин*.

Нужна «точка зрения» *оттуда, извне*.

25 октября.

О поэтической антологии Евг. Евтушенко...

Спорят. За — против...

А у меня предложение: ну, пусть каждый художник, поэт, просто человек составит *свою* антологию, пусть, ежели не хватит энергии для пробования, для работы просто пусть хотя бы составит свой список любимого, «опись» (имена, фамилии, стихи конкретные...). Пусть это же сделает и ученый, да и просто каждый — кто захочет.

9 ноября.

Кажется, я попадаю в собственную ловушку, когда методология превращается в методiku. Думал, что открыл, откопал себе выход, а на самом деле **открыл западню...**

Открытие всегда угрожает «закрытием». Мировоззрение превращается в методологию, методология — в методiku, а это — методика — крайне важно, но чудовищно скучно и непродуктивно.

Нет, конечно, я не прав: именно методики-то («скучной» и «непродуктивной») нам, русским, подчас и не хватает. Недаром из положительных литературных героев только один чеховский Лопухин имеет русскую фамилию, а другие — то немец Штольц, то гоголевский Костанжогло... Хотя нет, я не прав: есть еще один, никем до сих пор не понятый — Разумихин у Достоевского. Самый надежный человек в русской литературе, а стало быть, в русской жизни. Никто не помнит, что на самом деле его всамделишная фамилия (которую открыл и, вероятно, испугался сам Достоевский) — Вразумихин. Никто, даже Порфирий Петрович, не понимает Раскольникова так глубоко и нутряно, как Разумихин.

Но все-таки есть западня: как только открытие, искреннее, сердечное и умственное, «затвердевает», так оно тут же превращается сначала в методологию и сразу почти — в «методiku»... А тут уж и работать не надо, трудиться не надо: ответ заранее известен, и просто нужно все — на самом деле неизвестное тебе — к этому ответу подогнать.

На этом построено почти все, насколько я знаю по личному общению и чтению, не только западное, но и наше так называемое литературоведение: берешь две-три категории из Бахтина ли или из кого другого — и подгоняешь под них... Что? **Жизнь подгоняешь!**

Егго: **литературоведение большей частью двойное убийство — и живой литературы, и самой жизни.**

Снова перечитываю Достоевского: о «выделке» художественного произведения (в письме Майкову); «поэт» — «художник» (запись в черновиках к «Подрастку» об этом же) и о выделке, о самовыделке человека.

Жизнь человека как художественное произведение. Жизнь народа, жизнь всего человечества... А ведь человечество — художественное произведение Творца, Бога.

Конечно, из этого можно сделать и пародию: взять какого-нибудь мерзавца, человека-мерзавца, взять народ-мерзавец или даже вообразить все человечество как мерзавца... Вот вам «художественное произведение».

И что тогда? Еще один всемирный потоп учинить, что ли? Всемирный потоп — это ведь что? Сожжение, точнее, утопление, уничтожение «черновиков» Божьего дела! Сколько оставил он Божьих тварей «набело»?

К сравнению Творца жизни и Художника, религии и искусства, богословия и искусствоведения.

Из последней, 22-й главы Апокалипсиса.

Подзаголовок: «Последнее предостережение...»

«18. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей.

19. И если кто отнимает что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей».

Но ведь все это можно отнести и к книгам Достоевского, ко всей мировой литературе.

Какая поэтическая, смысловая, контрапунктная, музыкальная «игра слов»:

если кто *приложит* — на того *наложит*

и если кто *отнимает* — у того *отнимает* Бог.

«...он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог» (К евреям. 11; 10).

Бог — как художник!

Жизнь — как художественное произведение Творца!

Ср. еще:

«...не будет уже в тебе никакого художника, никакого искусства...»

Отказ человеку в художественном даре как наказание за грех его!

Художник познает Бога.

Бог познает, признает человека как художника. Художник — не только как «профессионал», но и просто как человек: в каждом человеке есть художник.

«Найти человека в человеке» (Достоевский) еще и значит: найти в человеке художника. Убить в себе художника — величайший грех. Убить в себе человека — тоже. И наказание за это — лишение художественного дара.

«Что задерживает пришествие Господа». (Второе послание к Фессалоникийцам Святого Апостола Павла. 2; 1).

«Да не обольстит вас никто никак: ибо **день тот не придет**, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели...». (Там же, 2; 3).

Но не об этом же и Достоевский: «Бытие есть только тогда, когда есть небытие. Бытие только тогда и начинается, когда ему грозит небытие».

«Сократить временные сроки» — о **Спасителе**.

А у Достоевского не то же ли самое — в связи с тайной Пушкина (не умри он так рано, сократил бы времена и сроки).

«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». (Первое послание Святого Апостола Иоанна Богослова. 4; 8).

Познание = любовь
Любовь = познание
Ад = неспособность любить
Рай = способность любить

Гении и дети

Неужто случайно?..

Пушкин, перед смертью, — об истории для детей...

Достоевский, в конце жизни, — посещение приютов, письма студентам, вероятно ускоряющиеся, увеличивающиеся количества выступлений перед молодежью. Речь Алеши у Илюшиного камня в последнем его романе («Братья Карамазовы»).

То же Лев Толстой.

И я — маленький — почему-то испытываю (точнее, понимаю — из-за любви к ним) те же чувства и мысли.

Христос — к кому обращается? **К детям земли.**

Надо же понять, прочувствовать, пережить, вжиться:

почему гении умеют играть на струнах нашей души, простых смертных, т. е. почему мы вдруг оказываемся им — таким недостижимым, непостижимым, — оказываемся вдруг конгениальны.

Да именно потому, что они и сконцентрировали в себе все-все предыдущее. Были современниками самих себя, и ранних, и поздних, и нынешних, т. е. и выразили общее, что присуще человеку.

Есть три пункта во всяком творце:

1) Чем, как он «запрограммирован», кто его «запрограммировал». Это познаваемо, более или менее, чем ближе к нашему времени, тем более.

2) **Результаты** его творчества. Они всегда налицо: читай, смотри, слушай, постигай.

3) Главный, самый таинственный, самый чудесный пункт этот: **что, как, почему** там, внутри этого «черного ящика», первое преобразовалось в третье.

Что мы знаем о Достоевском по первому пункту? По второму?

Почти все...

А что по третьему, по самому главному?

Мы еще, наверное, не понимаем того, **что нам — «дано», даровано**, а именно: ведь «второе» есть не что иное, как «точка пересечения» первого и третьего.

Значит? Значит: у нас всего одно неизвестное и два известных...

Но в том-то и дело, что тайна, «Икс», все равно остается неисчерпанной...

И — слава Богу!

Достоевский — Белинский

Любовь-ненависть Достоевского к Белинскому. Что тут? Смена абсолютно безудержных похвал на абсолютно безудержную хулу? Да, да, да... Но вот в чем дело. Все это — категории вне-эстетические, вне-художественные, то слишком «политические», то слишком личностные.

Но надо же понять Достоевского как художника. И вот тут у меня возникает гипотеза, которую невероятно трудно подтвердить (хотя я думаю, что столь же невероятно и трудно опровергнуть).

Не кто иной, как Белинский, сказал ему, Достоевскому: не пишите драм, драматурга из вас, Шекспира не получится...

А начинал-то Достоевский (начало юношеское — всегда или почти всегда предчувствие своей судьбы) с состязания не с кем иным, как с Пушкиным-драматургом и Шиллером-драматургом. И не потому ли он возненавидел Белинского, что тот его «сбил с дороги», не столько с дороги социальной, с дороги тщеславия, нет, с дороги «профессионально-профетической», с дороги истинного призвания его, Достоевского, как драматурга?

И вся *драматургия Достоевского ушла в подполье, растворилась в романах, но не исчезла. Спаслась, преобразовавшись в прозу.*

Великий драматург Достоевский «ушел в подполье». Я хотел бы конкретизировать эту фразу.

Драма — это если не прежде всего, то больше всего — ремарки.

Перечитайте всего Достоевского с этой точки зрения.

Ремарки — это:

1) Знак сжатости или растягивания времени (кто замечал, кто исследовал Достоевского под таким углом зрения). Вот пример: молчание между ними (Свидригайлов — Раскольников) продолжалось десять минут.

2) **Как кто что сказал...** «Пусть потрудятся сами читатели...» В сущности, эта фраза значит: превращение читателя, читающего книгу, в зрителя, смотрящего драму.

Все романы Достоевского и все повести, рассказы внутренне заряжены драматургией, которая еще только-только начинает взрываться, т. е. осуществляться, проявляться.

Вдумаемся: кто отец современной, за пять последних веков, прозы — кто? Конечно, Шекспир. Что сие значит? А значит: проза современная родилась из драматургии, из слова театрального, звучащего на людях и к людям — слушающим, а не только смотрящим — обращенного (это мы сейчас читаем драму Шекспира, а те, счастливыцы английские, их слышали, слушали).

Проза вообще родилась из поэзии — звучащей, произносимой, слушаемой (Данте).

И то превращение классической прозы в драматургию (звучащее слово, через новейшую технологию, кино, телевидение) и выявляет свою природу. И дело вовсе не в том, чтобы сетовать на эту неумолимую тенденцию, а в том, **как** ее достойно осуществлять. Она неизбежна. Это — второе пришествие Слова.

Проблема понимания, проблема понятливости.

Человек пишет для того, чтобы быть понятым. Это самообман, что пишешь для себя. Даже если и в самом деле пишешь для себя (дневник, например, чтобы уяснить себя, вернувшись к нему позже, а потом можно и сжечь), то все равно — прямо или косвенно, так или иначе — ты **разговариваешь**, разговариваешь с **другим**, с другим человеком вне тебя или с другим «Я» в тебе, а главное — наивысшее «Я», **соединяющее в себе все «Я»** на свете, прошлые и будущие, — разговариваешь с Богом. (Высшая форма разговора = молитва-исповедь.)

Всегда — **диалог. А монолог?** А монолога, к вашему сведению, никогда не было и не может быть.

Не было, нет и не может быть — именно по природе самого **языка**, по природе **человечьего слова**.

«Монолог» — это всего лишь условно-литературное обозначение звучащей или нев звучащей речи **одного** человека, разговаривающего с другим, с другими, с Богом.

Кстати, отсюда пересмотр всей концепции М. М. Бахтина (я давно подозревал это) — **монолога нет вообще!** Только сейчас, кажется, начинаю догадываться, в чем тут дело: не было никогда «монологического романа». Полифонический роман Достоевского лишь обнажил тайну, тайну небытия монолога...

Слово и родилось из непреодолимой и спасительной потребности в **другом**. Из потребности дать о себе **весть**. Слово родилось как **совесть**. Или: **совесть и родила слово**.

Монолог (ср. «монологист», монологичный человек, который только говорит и не слушает) — это скрытая, скрывающаяся от самой себя, боящаяся самое себя, заговаривающая самое себя и других **совесть**.

Совсем просто, вроде даже обыденно: чем более говорлив человек, чем более монологичен, болтлив, тем очевиднее, что что-то там с совестью — сильнее беспорядок.

«Раскусить» такой монолог как бегство от совести — задача психологии и искусства (литературы). «Раскусить» как скрытую **жажду совести**.

Такой монолог только **кажется** бесконечным убеганием от точки совести. На самом деле человек привязан к этой точке, и нить, ветвь, цепь, связующую его с этой точкой, как бы он ни старался порвать, обрубить, разорвать нельзя. Человеку только **кажется**, что он убегает от этой точки (и чем дальше, тем лучше, надежнее), а на самом деле он на привязи; как бы ни была длинна эта привязь, он не убегает от точки совести, а лишь **вращается** вокруг нее, и чем **дальше** он, такой человек, хочет убежать **от**, чем **скорее, быстрее** убежать, тем **ближе** он к ней, к этой точке, оказывается, тем скорее, быстрее сокращается его «привязь», и в конце концов он возвращается к этой точке, падает в нее — и погибает (Свидригайлов, Ставрогин, Смердяков даже) или спасается (Раскольников, Иван Карамазов, Аркадий из «Подростка». Первые два — по-своему, Аркадий — особо). Представить себе будущего Ивана Карамазова, после безумия, в которое он убежал от совести.

Вернусь к понятности и понятливости. Если нет слова в никуда, слова ни к кому, если слово обязательно к кому-нибудь (к своему «я», к другим «я», к большому «Я», к Богу — все вместе это и называется **совесть**), то?.. То оно, слово это, должно озаботиться быть понятым. Тут есть одно «но»: слово устное и письменное, слово мысленное и произнесенное, тем более написанное. Я говорю сейчас о слове письменном, о литературе. К кому обращено литературное слово? «Адресат», «адресаты» все те же: сам я, другие, Бог. Все те же, хотя каждый из них реализуется, пишется, направляется по-разному, хотя «доля» разговора, «доля» диалога с самим собой, с другими и с Богом, конечно, всякий раз разная и реализуется по-разному.

И все же, кажется, литература — это преимущественно (внешне на девять десятых, а может быть, и на все сто процентов) **письменный разговор именно с другими**.

Однако отсюда вовсе не следует, что «доля» разговора с собой и с Богом должна остаться вне литературоведения.

Я бы даже сказал, напротив. **Конечной целью литературоведа** и является нахождение, открытие именно этой «доли», этих «долей» (разговор с собой и с Богом), но лишь одним путем — **через анализ разговора с другими**.

(Совершенно неожиданно для самого себя вдруг вынырнула старая любимая мысль, вынырнула в совершенно неожиданной форме мысль о том, что меня интересуют не столько герои Достоевского, сколько он сам, его отношение к себе и к Богу, но в том-то и дело, что эта главная цель недостижима без понимания героев.)

И опять возвращаюсь к проблеме — понятности и понятливости. Тут целый клубок перепутанных нитей-мыслей.

1. «Элитарность» и «общедоступность», народность.

2. Не противопоставлять, не отождествлять. Движение гениев к «неслышанной простоте». (Особенно ярко, убедительно это видно у Пастернака, автора этих слов, у Толстого — от романов к притче, у Достоевского — своего рода борьба между трудом романским, так сказать, и писательским дневником.)

3. «Доступность» гениального произведения для простого смертного. Не побоюсь предельного обострения вопроса. Начать с грамоты. Знание букв, умение читать, связывать, сопоставлять прочитанное (а тут еще различие между прозой и поэзией). Такая вот аналогия. Такое вот сравнение — Резерфорд, Эйнштейн, Планк, А. Пуанкаре... доступны первокласснику, десятикласснику да и студенту даже? Может ли «арифметический» человек стать сразу «алгебраическим» человеком, «интегрально-дифференциальным» (единственное, что я помню из высшей математики, — то, что она, говорят, есть). Между прочим, тут надо быть поосторожнее, тут есть какая-то грань, которую нельзя переходить, но которая не меняет существа дела, грань такая — нынче, кажется, малышей обучают математике прямо с алгебры... Но я не о методике...

В. И. Ульянов-Ленин: «...неграмотный человек вне политики». Ленин на самом деле имел в виду грамотное прочтение народонаселением большевистских приказов и грамотное их исполнение.

Итак, «доступны» ли гении для простого смертного? Каков тот минимум (грамотности, образованности, развития «слуха»), без которого нечего и говорить ни о какой доступности?..

Забегаю далеко-далеко вперед: как так получилось, что **вместо прямого разговора с самим собой и с Богом, вместо прямого разговора с другими людьми человек — художник = писатель перешел на разговор «обиняковый», «намечный», на разговор с нами — через героев.**

Вдруг обескуражило: привыкли-перепривыкли: «Вначале было Слово...» «Слово плоть бысть» (материализм, какой угодно, от Демокрита ли, Моле-шотта, Фейербаха или Энгельса, идет от «материи» — пощупать можно, увидеть, потрогать). «Материализм» означает, что инструмент появился раньше звука, раньше музыки...

«Бытие определяет сознание» = инструмент определяет музыку... Ну и ну... Орган раньше религии. Балалайка раньше частушек...

Итак, не могу понять, почему не было сказано: «Вначале была музыка...» Пусть она была мычанием, но мучительным мычанием, ищущим и нашедшим наконец слово.

«Бытие определяет сознание...» Тоска. Ну, конечно, сознание. Но тут свои глубины, свои спектры, свои уровни, свои грани. Не слово определяет музыку, а музыка определяет слово, а еще точнее: музыка есть жажда слова. (Ну, неслучайно, конечно, М. М. Бахтин сто раз оговаривается, что он вводит не категории, а категории-образы, когда говорит о полифоническом романе, о полифонии... Вероятно, он и стоял на этом пути противоречивого и плодоносного (нерасчлененного) единства музыки и слова.) Вся тайна этого нерасчлененного единства — в чем? В **звуке**. Музыка (как я это раньше не понимал?) — стон радости, наслаждение, крик счастья, крик страха, крик об опасности... — это и есть **звук, сигнал, звуковой сигнал.**

Музыка и есть первое слово, абсолютно не дифференцировавшееся внутри себя (нерасчлененное), совокупное, т. е. содержащее в себе абсолютно все-все: все звуки, все фонемы, фонетики, грамматики, синтаксисы.

«Бесконечность». Бесконечность пространства и времени

Не входит, не вмещается в наш «эвклидов разум». Бесконечен макрокосмос. Бесконечен микрокосмос. Первое понятнее, чем второе... Якобы, якобы понятнее... Но второе — **еще** непонятнее, чем первое. Макрокосмос... Кант. «Звездное небо над головой...» Бесконечность — «верх»... Все увеличивается-де, т. е. как и — виднее вроде. Микрокосмос...

Все наоборот (вроде бы). Все невидимей, и невидимей, и невидимей. И вдруг: Земля, Океан на Земле, горы, скалы, озера... Оказывается, также неисчерпаемыми и бесконечными — «вниз». И эта неисчерпаемость почему-то не уступает неисчерпаемости «вверх».

Макрокосмос. Вселенная. Бесконечно неисчерпаемы — точно так же... как и микрокосмос...

Тут-то, наверное, и главная загадка. Тут-то родство обоих. Что такое музыка — «Музыка»? Что такое слово — «Слово»?

Его: **музыка и есть первое слово**. Слово... Ну не родилось же оно с Гутенбергом. Не родилось оно письменным. Криком боли, криком о помощи, криком радости родилось... **Криком = звуком = музыкой.**

Как радостно, счастливо видеть, когда ты только начал мысль, а другой уже догадался...

В этом, если угодно (ну, конечно, это — мечта, мечта), и есть моя методология книги о Достоевском...

Вести, вести, запутать, запутаться, подвести и отпрянуть и, наконец, подвести и оставить (читателя, чтоб сам догадался), а потом вернуться (а он уже сам догадался... как ему кажется!) и удивить, и удивиться самому его новой неразрешимой проблемой, «завести» его так, чтобы он меня и обогнал...

Да, я ведь все начал, если честно говорить, с малюсенькой мысли (которая не отпускает меня уже лет тридцать) — о том: как же это так у Пушкина:

И не был убийцею создатель Ватикана...

Не побоюсь вот к этому свести вопрос. Ну, кто в самом деле из читателей обязан знать, кто такой создатель Ватикана? Почему читатель обязан знать историю создания Ватикана? Историю споров о том, убивал ли — для наглядности — Микеланджело свою модель или нет?..

Ведь весь вопрос сводится к тому: о, читатель! Кто ты в самом-то деле — кто? Младенец, которого надо кормить грудью, кашкой ложечкой в рот, паразит, единственная самостоятельность которого — сосать любое тело, на котором живешь, к которому прилепился или...

Христианство впервые разбудило в человечестве, в человеке — **личность**, «наклеивалось» еще у поздних римлян, у т. н. стоиков — Сенека, Эпиктет, Аврелий.

Т. е., по моей модели, **Христос — первый «писатель», который воззвал «читателя» к сотворчеству.**

(Сейчас не побоюсь «нарушения стиля». Подхожу к самому страшному просу.)

Христос — «писатель»? Христос — музыкант, композитор... Он не писал. Он говорил. Только говорил. А его только слушали, слушали. Наконец (когда?), стали записывать. Христово слово — **произнесенное, звучащее.**

7—9 ноября.

11—12 ноября в Москве состоится международный конгресс «Достоевский и мировая культура». Обдумать выступление. Тема? Наверное, все-таки:

Достоевский и апокалипсис.

Есть четыре способа исследования, познания:

I. Когда неизвестно «дано» и неизвестен «ответ».

II. Когда известно «дано» и неизвестен «ответ».

III. Когда неизвестно «дано», зато известен «ответ».

IV. Когда известны и «дано», и «ответ».

Обычно мы имеем дело с тремя первыми задачами (особо: искусство, литература и наука); художник делает для себя неизвестными и «дано», и «ответ», и чем больше ему неизвестны то и другое, тем сильнее он нас поражает. Самый классический пример — тот же Достоевский: работа над «Преступлением и наказанием», над «Бесами», над «Подростком»... И, может быть, самый сильный пример — над «Идиотом»...

Ср.: А. И. Солженицын. «Красное колесо».

Когда в 1992 году я был у него в Вермонте, заметил ему не без некоторой опаски: «Достоевский никогда не знал «ответа», а вы здесь — знали... Отсюда: абсолютно неизбежна подгонка решений под ответ...»

Его ответ: «Вы сами не знаете, как правы. Я знал, что Россию не спасти, поэтому запустил Верховцева... в быт».

Но в том случае, который я хочу предложить вашему вниманию, абсолютно особый, четвертый: нам известны и «дано», и «ответ». Но мы... мы вопиюще не считаемся ни с тем, ни с другим...

Есть два главных факта, факта небывалых, чудовищных — каждый по своему:

1. Человечество стало смертным (не только человек, но и человечество). При том, каким оно нам дано, при том, каким мы даны себе, человечество обречено, если оно не совершит подвига духовного спасения.

2. Но это-то и не осознается. Это-то и не доходит... Осознавалось, осознается только единицами (Леонардо, Ламарк, Достоевский...).

Но главное, самое главное «дано» и самый главный «ответ» давным-давно нам известны — по Апокалипсису.

Достоевский сумел это известное «дано» и этот известный «ответ» снова сделать неизвестными и решить — художественно — эти две взаимосвязанные задачи.

Только сейчас нас поражает, начинает обжигать его мысль = молния: «Бытие есть только тогда, когда ему грозит небытие, бытие только тогда и начинается быть, когда ему грозит небытие».

Я почти не знаю людей (а политиков еще меньше, чем художников и ученых), которых беспрерывно сверлила бы эта мысль, которые ложились бы спать с нею, спали бы с нею и с нею бы просыпались...

Но пока мы это не осознаем, пока мы этим не обожжемся, пока не обуглимся — спасены не будем...

У всех, кого коснулась эта мысль, у всех, кого она обожгла, отныне есть только одна задача: отдать ее всем другим, заразить ею всех других...

Надо, чтобы человечество испугалось самое себя, чтобы вызвать в нем отвагу, отвагу спасения...

Мировоззрение, мироощущение истинное и начинается со встречи со смертью... Без этой встречи не может быть никакой нравственности вообще...

Мы упускаем — с каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой — свой последний шанс: знаем свое «дано», знаем «ответ», к которому оно должно привести, если мы останемся прежними, и... остаемся прежними.

Почему это не доходит? (Я думаю о своем личном опыте, о нашем совместном опыте с Алесем Адамовичем.)

Почему не доходит?

Да просто нельзя ни на кого сваливать: это предусмотрено в «Братьях Карамазовых»:

«...и поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям даже как единый безгрешный и не светил. Если бы светил, то светом своим озарил бы и другим путь, и тот, который совершил злодейство, может быть, и не совершил бы его при свете твоём...»

Никто в этом не виноват, кроме нас самих, которым это стало известно...

Значит: **мы не нашли еще настоящих слов или устали их повторять.**

Христианство родилось как апокалипсис, как апокалипсическое мироощущение, мировоззрение.

Первохристиане жили в апокалипсисе. Жили в свете апокалипсиса, в свете *последней книги Библии, последней главы Нового Завета.*

Жили в свете конца, в свете финала, в свете эпилога...

Потом начали постепенно забывать. Особенно после эпохи Возрождения, во многом *благодаря ей.*

Схема.

Сначала Бог *прямо разговаривал с людьми*, пусть избранными из них...

Потом — *несколько опосредованно, но устно, через Апостолов.*

А еще потом — *через Библию, Книгу книг, которую, впрочем, читали только единицы на миллионы.*

«Переводчиками» становились все больше — церковь и Августины Блаженны, Фомы Аквинаты...

Наконец, едва ли не главным секуляризированным переводчиком стало искусство.

То, что в Европе растянулось на века (искусство как «перевод» Библии, Нового Завета в первую очередь), в России в XIX веке сжалось, сконцентрировалось, сфокусировалось всего в несколько десятков лет.

А ведь: мир — весь мир — духовный *взрывается* от крика униженных и оскорбленных, от их глаголющего самосознания.

...Вдруг вспомнилась «Кроткая».

Никто, кажется, не осмелился «грубо, прямо, зримо» сопоставить «Кроткую» с потрясением-открытием самого Достоевского, записанным 16 апреля 1864 года: «Маша лежит на столе. Увижу ли с Машей?»

«Намёчно» — да, было, но тут же — *прямо* — прямо просится. Не просится — *даруется* — для понимания и героя, и самого Достоевского.

Я и сам стеснялся: уж слишком казалось явно.

Действительно, явно — куда уж явнее, и нельзя явнее, невозможно просто:

1) Достоевский записывает это, когда Маша лежит на столе.

2) А герой «Кроткой», когда *его Маши* лежит на столе. Такое же, *предельное, запредельное* — состояние, соотношение между героем и творцом — в «Сне смешного человека».

Что такое запись Достоевского 16 апреля 1864 года?

Достоевский — в апокалипсисе. Апокалипсис Достоевского

Что такое монолог героя «Кроткой»?

Он, герой, в апокалипсисе. Это его апокалипсис.

А все-таки: есть какой-то грех в самосознании, в самопознании, особенно в самонаписании.

Они, может, мертвые. А я пишу, и даже очень красиво пишу.

...Но вернусь к мысли о том, что люди перестали жить в ожидании конца, финала, эпилога...

Предупреждение религиозно-художественное (или, если угодно, художественно-религиозное) угасло и начало восстанавливаться лишь после Хиросимы и Чернобыля...

Русское христианство — православие — вообще родилось как нечто вне-апокалипсическое и даже как антиапокалипсическое (в основном).

Это выразилось особенно в расколе: не в двух-, трехперстном крещении дело, а в расколе по апокалипсическому признаку: официальное никоновское православие стало еще более мирским, еще более антиапокалипсическим, а «раскольники», «старообрядцы» — еще более духовными, апокалипсическими...

На Руси до середины XIX века было лишь «устное» усвоение христианства.

«Новое христианство» (термин Бердяева; сюда входят Бердяев, Булгаков, Франк, Мережковский) насквозь апокалипсично.

Рад, что слово «перевод» — и именно в таком контексте — нашел недавно у С. Булгакова («Апокалипсис»).

Официальная церковь и сегодня живет вне апокалипсиса (мои наблюдения 80-х годов — встречи с Вазгеном, православными пастырями, мусульманскими).

М. М. Бахтин и апокалипсис

Вдруг задумался: почему у Бахтина нет ни слова об апокалипсисе?

Мое объяснение:

Во-первых, в те годы, когда Михаил Михайлович писал свою книгу, сам «предмет» (апокалипсис) был запрещен.

Во-вторых, вижу в этом своеобразную реакцию его на идеологизацию искусства вообще, Достоевского в особенности.

В-третьих, сам-то Бахтин был (никогда об этом не забуду по нашим с ним беседам в Саранске в 1965 году) насквозь христианский человек. А потому у него все христианство, все православие, весь апокалипсис «растворены» во всех его работах, в каждом его слове: апокалипсис у него просто «переведен» в другие, «легальные», «полулегальные», непонятные для марксистов-атеистов 20-х годов термины.

Я это вначале только почувствовал, но не понял. Понял только сейчас.

Гойя и апокалипсис

Что вызывает это сопоставление в чувствах, мыслях читателя?

Ну, конечно, прежде всего апокалипсические ужасы: Страшный суд у Гойи... Да нет же! Это просто значит: *откровение Гойи, откровение*, которым он поделился с нами.

Не устану повторять: **апокалипсис не только и не столько Страшный суд**, не только и не столько казнь, сколько надежда, помилование и не столько помилование («сверху», «даровано»), **сколько — самоспасение** — добыто, а не даровано.

В сущности, же все очень просто, до ужаса и до радости.

Во-первых, ощущение, предощущение, чувство своей греховности, своей порочности.

Во-вторых, страсть — избавиться от этого греха и порока, надежда на это избавление.

Вот и все. Всего-навсего два «пунктика»: жуткий страх и ни на чем не основанная, но и ничем не истребимая надежда.

Понять надобно: вся надежда не на помилование Высшего судьи, а только на остатки твоей совести, твоих сил: **встань, восстань — и спасешься!**

И даже тут неправда: **встань, восстань, чтобы спасти другого** или хотя бы чуть-чуть ему помочь,— вот тогда и спасешься, спасешь-ся.

В общем, это, конечно, прозрение. С этой «точки зрения» кое-что становится яснее, прозрачнее: всякий человек, простой смертный или гений, и состоит из этих двух пунктов: греха, порока и надежды их искупить. Кто как кается и искупает — это уже другой вопрос.

Скажу еще проще: **люди живут в апокалипсисе** — и не знают, да и знать не хотят, что они живут в апокалипсисе.

И апокалипсис вовсе не только и даже не столько Страшный суд, месть, высшее наказание, сколько — ваш, наш! — шанс на спасение. А вы — мы — превратили все наше спасение, весь наш последний шанс в «Бобок».

Апокалипсис?.. Замутились — запутались мы совсем. Апокалипсис и откровение. О чем? Если уж совсем просто, то — о гибели и спасении...

Еще короче: о Тайне, большом «Икс».

Не может жить человек без апокалипсиса, да и никогда не жил, даже проклиная его, даже отрицая сам предмет. По природе своей не может.

Но эта путаница (апокалипсис — только возмездие, только Страшный суд, без понятия света, одна тьма без света) порождает, порождает и еще долго будет порождать абсолютную безнадежность.

Апокалипсис как надежда.

Апокалипсис как последняя надежда.

Апокалипсис как анти-«Бобок».

Человек, человечество, народ *должен, обязан* увидеть свой «Бобок», но только для того, чтобы его избежать, его победить.

Не могу избавиться от мысли: «Бобок» наступает, побеждает, добывает нас, *последних*. Имею в виду не какую-то «иерархию», а просто людей, сие чувствующих и сознающих. Стало быть, вот и вся задача, вот и вся недолга — победить «Бобок», который кажется уже себе победителем.

Пушкин и апокалипсис

Пушкин...

Такой свет в такой тьме! Непредставимо ни то, ни другое, особенно непредставимо это сочетание. И вдруг понимаешь или чувствуешь, точнее, что действительно Достоевский прав, когда все эпитеты, принадлежащие по праву лишь Богу, относит вдруг к Пушкину.

Гегель и апокалипсис?

До сих пор никогда не задумывался, но ощущение такое: Гегель вне апокалипсиса.

Вне?

Почему? Да потому: Гегель, «немецкий клоп» (так в сердцах называл его Достоевский), все хотел примерить на логике...

А Логика и Апокалипсис — несовместны.

Гегель прямо-таки враждебен морали в Истории, низводит мораль до «бессильного морализаторства» (потом это особенно понравится Марксу и Энгельсу), а апокалипсис — предельная концентрация «всей морали», «всего морализаторства» (ср.: «Мысль злодея выше всяких моралей...» — Гегель).

Но: Гегелю же принадлежит мысль об «**абсолютном господине**», об «абсолютном господине — смерти».

Разобраться: «абсолютный господин» над человеком или и над человечеством?

Тысячи книг написаны после 1945 года на тему — Бог, Библия, Христос, христианство после Холокоста, после ГУЛАГа, после Хиросимы...

Никуда не уйдешь от этих вопросов. Стало быть, нужно, не струсив, идти им навстречу: все религии, все пророки, все мыслители и художники — перед этими вопросами, после всего свершившегося?

Уже давно для себя определил: плохая память = чистая совесть; чистая совесть = плохая память.

В сущности, у памяти есть еще одно имя (*alter ego*) — совесть.

А у совести есть еще одно имя (*alter ego*) — память.

Совесть = память.

Память = совесть.

Их зависимость от времени и пространства.

Если есть зависимость, то их нет.

Если нет зависимости, то они нашлись, есть.

18 ноября.

Сегодня ночью я был совершенно счастлив. Это произошло ровно в 2 часа 10 минут.

Читаю «Второе послание к коринфянам святого Апостола Павла» (12; 1—5):

«Не полезно хвалиться мне; ибо я приду к видениям и откровениям Господним.

2. Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет, в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает,— восхищен был до третьяго неба.

3. И знаю о таком человеке, *«только не знаю — в теле или вне тела, Бог знает,—*

4. Что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать.

5. Таким *человеком* могу хвалиться; собою же не похваюсь, разве только немощами моими».

Вот та искра из «Нового Завета», которую Достоевский разжег в (пламя) — написал «Сон смешного человека»! Вот зерно, из которого Достоевский вырастил этот сон.

«...он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать...»

Смешной: «После сна моего потерял слова. По крайней мере все главные слова, самые нужные. (...) я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел».

Ищут, нашли и будут еще искать и находить (это правильно и это очень нужно) многие, уже десятки параллелей, источников «Сна смешного человека» (см. замечательные комментарии В. Туниманова к «Сну смешного человека»).

Но истинный первоисточник, праисточник, архетип «Сна» — Библия.

И непонятно, читая «Сон», «восхищен» был Смешной на другую планету (на *райскую* планету) «в теле или вне тела» (т. е. живьем или только душа улетела).

«...я приду к видениям и откровениям Господним...»

Но если апокалипсис = откровение, если откровение = апокалипсис, то, стало быть?..

Стало быть, во-первых, надо выяснить, не стоит ли в самом первоначальном тексте Библии апокалипсис вместо откровения, выяснить *все* слова, образы, понятия *откровения* — как переведено? И тогда? И тогда выходит, что везде или в большинстве случаев апокалипсис «переведен» на откровение и толь-

ко в одном случае дан в первоначальном виде. (Проверить это на переводах на разные языки.)

Апокалипсис от Иоанна — гениальный финал гениальной симфонии, лейтмотивом которой и является откровение, которая и сама *вся* является апокалипсисом.

Во-вторых, *все* творчество Достоевского — апокалипсис, *все* — откровение. Но «Сон смешного человека» — даже у него — откровение — апокалипсис — небывалой, невиданной концентрации.

Тут ведь вот еще что, не забудем: «Сон» — *последнее, законченное* художественное произведение Достоевского, тоже гениальный финал гениальной симфонии. (Эта формулировка по отношению к Библии и собственно к «Апокалипсису», конечно, некорректна с точки зрения религиозной, да и не только религиозной: нельзя все-таки в терминах земных говорить о предметах небесных, нельзя «наградить» — «гениально» — силы высшие нашими земными наградами, хотя: не понимаю, почему нельзя рассматривать Библию и как небывалое *художественное* произведение?..)

И опять сверлит меня старая моя мысль о том, что первоначальное литературоведение, первоначальное искусствоведение есть не что иное, как богословие, комментарий к Библии, интерпретация ее, и здесь давным-давно открыты и развиты **все орудия, средства, приемы, методологии, методики** будущего литературоведения, будущего искусствоведения.)

Удивительно еще одно: не припомню никакого другого (разве кроме «Бобка») художественного произведения Достоевского, написанного столь быстро и свободно, как «Сон смешного человека». Но перестаешь удивляться, когда понимаешь, что это именно финал, эпилог всего его творчества. Все-все уже выстрадано, все-все уже пережито, а тут «просто» сконцентрировано, сфокусировано, десятилетиями выстрадывалось и в секунду, в минуту — вдруг родилось (как рассказ Ф. М. Достоевского о романисте — признание в любви Анне Григорьевне).

Религия и искусство

Не доходит до нас, что две тысячи лет все европейское искусство, литература, вообще культура (а русская — семьсот) коренились в христианстве, питались духовно им...

Да что там культура — *вся жизнь, вся, вся жизнь*. Люди жили в координатах, в масштабах, по ориентирам — христианским. Из века в века, из десятилетия в десятилетие, изо дня на день, с утра до вечера. Утренняя и вечерняя молитвы, религиозные праздники, посты... Быт был бытийствен, христиански бытийствен. Знаменитые итальянские зеркала — это ведь в быту. А церкви, храмы? Тоже ведь «модель» христианского, апокалипсического мира, тоже ведь зеркала духовные (соединить с темой зеркал), в которые люди во время богослужения смотрят все вместе. Смотрят и по отдельности... И что такое икона, как не духовное зеркало и как не духовное окно, открытое в Божьи тайны?

Так вот, и все люди, а может быть, особенно художники, жили в этих координатах, в этих масштабах, по этим ориентирам. И все это имело такое же значение (понимаю, сравнение хромает), как то, что все они, люди, разговаривали между собой по законам, модусам, формулам логики (даже пусть не зная того, осознанно или неосознанно). Из этого «гравитационного поля» *никто не мог вырваться*, даже атеисты, а если, как им казалось, вырывались, то кончалось это катастрофой — разбивались...

Библия.

Книга всех книг. Слово всех слов. Азбука азбук.

Откровение всех откровений.

Образ всех образов («Библия — все характеры». Достоевский), прасюжет всех сюжетов, прафабула всех фабул...

«Таблица Менделеева»...

Божья «таблица».

И все искусство — вовсе не «иллюстрация», бесконечные повторения, а каждый раз *личное откровение, личное проникновение* в Книгу книг — через прочтение «Книги жизни», через «живую жизнь», через страдания.

29 ноября.

Надо обдумать мой доклад в Милане. Тема семинара — посткоммунистическая культура. Поедем с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым.

Что значит **посткоммунистическая культура**? Вздор. Есть культура до, во время, после коммунизма, есть культура как единственный способ спасения, самоспасения, единственный способ сопротивления смерти и победа над нею. Только культура спасет.

Что значит «посткоммунистическая культура»?

Реально это значит только одно — культура постсмертности человечества.

Вот это-то главное и не осознается.

Коммунизм (больше, быстрее, нагляднее, чем фашизм) и привел человечество на грань жизни и смерти... Не только он: он «лишь» *ускорил* это движение к самоубийству, ускорил действительно радикально...

А поэтому: проблема совсем не в том, что названо здесь и сегодня «посткоммунистическая культура», а в том, как нам спастись, всем человечеством спастись — и коммунистическим, и некоммунистическим.

Поэтому-то я и считаю (прошу меня извинить за это), что весь вопрос поставлен неточно.

Итак...

Культура как единственный способ одоления смерти

Существуют многие (десятки, если не сотни) определений культуры. Не претендуя ни на какую особенность, я бы определил **культуру как единственный способ одоления смерти**.

XX век превратил «абстрактную» возможность смерти (самоубийства) человечества, возможность «мифологическую», «метафизическую», «художественную» в предельно реальную, в предельно конкретную, т. е. в технологически-практическую. Человечество действительно оказалось перед выбором между жизнью и смертью, подойдя к пределу пределов, к порогу: впервые оно как род стало практически смертным в условиях ядерной и экологической угрозы.

Фактически человечество вступило в зону своей смертности, в сущности, задолго до 50-х годов XX века, но начало осознавать это именно в 40 — 50-х годах. Правда, тогда это сумели осознать лишь отдельные личности: об этом свидетельствовали Манифест Эйнштейна — Рассела (1946), известное письмо Нильса Бора, документы Римского клуба и др. Для большинства же людей весть о том, что человечество стало смертным, оказалась засекреченной. Род человеческий продолжал существование как практически бессмертный... Да и сейчас в полной мере большинство людей еще не осознали грозящую опасность — не только ядерную, но, что важнее, — экологическую. Это как заболевание раком: болезнь началась, углубляется, а диагноз, как правило, слишком запаздывает (проблема раннего диагностирования).

В предчувствии смерти, в понимании смерти человек (и человечество) либо вдруг рождает, выковывает, чеканит новые точные понятия, выявляющие смысл жизни, либо вдруг осознает прежние понятия, усвоенные им платонически, формально, либо, не вспомнив и не осознав того и другого, бросается в омут, в прорубь — а, пропади все пропадом!..

Ни одно из коренных понятий нашего бытия и нашего познания не может быть определено вне таких трех категорий, как:

- 1) **Жизнь,**
- 2) **Смерть,**

3) Великий «Икс» (последний может быть назван Провидением, Судьбой, Богом, христианским, мусульманским, буддийским, любым).

Вне этих категорий любая наука обречена оставаться не просто внечеловеческой, но и в конечном счете античеловеческой. Без координат: **жизнь — смерть — икс** — литература, философия, социология, история, психология будут бессмысленны. Может быть, особенно наглядно это видно на психологии, которая вне этих категорий обречена стать механической.

Культура противостоит небытию. Культура утверждает и спасает бытие путем его одухотворения. Благодаря культуре человек не был истреблен животными-соперниками на первой стадии своего существования и благодаря этому же не самоистребился (пока). И весь прогресс человечества — не в цивилизационном смысле конечно, — это непрерывное его самосохранение от нарастающей смертельной угрозы путем самовозвышения, одухотворения.

К этой мысли я пришел после того, как совершенно случайно в черновиках Достоевского нашел такую строчку, написанную им незадолго до смерти: «Бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие».

Я был очень рад, когда нашел подтверждение этой мысли в статье Вяч. Вс. Иванова, невероятного эрудита, мыслителя, — «Категории времени в искусстве и культуре XX века» (статья была опубликована в 1973 году в американском журнале, у нас до сих пор не напечатана). Вот что он пишет: «В основе человеческой культуры лежит тенденция к преодолению смерти, выражающаяся, в частности, в накоплении, сохранении и постоянной переработке сведений о прошлом... Эта тенденция особенно обостряется благодаря теоретической и практической постановке проблем, касающихся временных границ цивилизации, локальной и общечеловеческой, в какой-то мере вся человеческая культура до сих пор остается протестом против смерти и разрушения, против увеличивающегося беспорядка или увеличивающегося однообразия, энтропии».

Культура не просто «в какой-то мере» является протестом против смерти и разрушения, а именно во все **большей** мере становится этим протестом, во все более нарастающей мере осознает себя единственной жизнеспасительной силой. Культура становится, в сущности, **единственным** способом спасения жизни человечества путем ее одухотворения. Другого пути нет. Все другие пути — самоубийство.

Известно, что за последние десять лет в естественных и точных науках накоплено больше знаний, чем за всю предыдущую историю человечества. Эти знания передаются непосредственно.

Совсем по-другому обстоит дело со знаниями духовно-нравственными. Главным фундаментом этих знаний человечество владеет, быть может, уже пять тысяч лет. И прибавки к этим знаниям — через святых отцов церкви, мыслителей, художников — можно измерить лишь «граммами» к уже нажитым за тысячелетие «тоннам». Основные нравственные постулаты и духовные заповеди на три четверти, если не на девять десятых, одинаковы во всех мировых религиях. Они общеизвестны. Секрет только состоит в том — в отличие от естественно-научных знаний, — как претворять их в жизнь.

Еще недавно нас пугали «реакционностью» «мракобеса» Мальтуса, который доказывал, что число людей в мире растет в геометрической прогрессии, а количество продуктов питания — в арифметической. Я бы «добавил» к Мальтусу: человечество настолько быстро развивается, что ему не хватает прежде всего пищи духовно-нравственной. Похоже, что пища эта даже убывает.

Известны данные о том, как росло население Земли: в 1800 году оно составляло 1 миллиард человек, в 1900-м — 2 миллиарда, в 1961-м — 3 миллиарда и скоро составит 6 миллиардов человек. Этот рост человечества «по экспоненте» происходил одновременно с процессом своего рода обезрелигиозивания его. В годы средневековья и крестовых походов (при всех издержках этих мрач-

ных времен) скрепы нравственности все-таки держали общество. В России атеистов еще почти не было даже в XVIII веке, а тех, кто был, потаенных и колеблющихся, можно было по пальцам перечесть...

Ну а потом наступило господство атеизма, к тому же еще вульгарного, означавшего снятие всех духовно-нравственных скреп и подмену их суррогатными, так или иначе в своей сущности иезуитскими. Оказалось: все средства хороши... После диких войн, которые пережило человечество и которые никто не смог остановить (все дубасили друг друга, перекрестясь), трудно было не стать атеистами.

...Вначале существовало нерасчлененное, синкретическое знание, в котором совершенно органически сочетались и наука, и искусство,— и было оно подчинено критериям жизни и смерти, именно этим масштабom измерялось, именно этими ориентирами руководствовалось (этот синтез нерасчлененный не мог не быть религиозным). Но, вероятно, начиная с XV—XVI веков, началась и все более ускорялась дифференциация знаний, которая привела к тому, что наука, в сущности, оторвалась от критериев, масштабom, ориентиров жизни и смерти человеческого рода (наука стала нерелигиозной и даже антирелигиозной).

Важно и другое. Духовно-нравственные заповеди в отличие от естественно-научных знаний действуют, только будучи воплощенными в личностях. Но людей, их воплощающих и как бы олицетворяющих культуру как победу жизни над смертью, современных праведников все меньше. У нас в этом отношении совершенно выжженное поле. Да и в мире положение не лучше.

Путь овладения культурой и постижения нравственных ценностей происходит в самом человеке, и в этом его самоспасение. Нужно быть беспощадным к себе, чтобы пережить муки этого пути.

Такой трудный путь прошел Солженицын, который начинал с того, что славил революцию и даже на Лубянке, во время первых допросов, защищал ленинские идеи. Я знаю, что у него на этот путь внутреннего освобождения ушло около десяти лет. И каких! Война, лагерь, болезнь — встречи со смертью.

У Достоевского на «освобождение» от увлечения социалистическими идеями ушло лет восемь — десять (с 1849 года, когда его не расстреляли, до 1856 — 1858 годов).

В каждом человеке происходит либо осознание факта смертности и ответственности перед лицом смерти, пока еще индивидуальной, либо непрерывное бегство от этого факта. В предельных формах это выглядит так: «однова живем», «хоть день, да мой»... Но именно здесь происходит завязь всех форм самосознания человека — развитых, полуразвитых и недоразвитых.

Культура и цивилизация

Мне кажется, есть рациональное, плодоносящее зерно в противопоставлении, в дихотомии — **культура и цивилизация**.

Цивилизация есть специфически человеческий способ убийства всего живого и в конечном счете способ самоубийства человечества.

Культура есть способ самоспасения человечества и спасения всего живого. Грубо говоря, цивилизация — губит, культура — спасает.

Особая сложность вопроса в том, что если не отрываться от реальности, то есть от реальных конкретных людей, то эти понятия, столь резко противопоставленные, на самом деле переплетены. В жизни и одного человека, и народа, и общества, и человечества в целом обе эти тенденции взаимодействуют. То берет верх одна, то другая...

Культура — не просто способ «выживания» и уж тем более не выживания в смысле «спасения животишек», что, по мысли Достоевского, «самое последнее дело». Культура есть спасение и самоспасение путем духовного возвышения. Культура — система, совокупность всех знаний, ориентированная на спасение жизни вообще и человечества в частности, в особенности путем прежде всего духовного возвышения.

Цивилизация есть бесконечное совершенствование способов убийства и самоубийства, это — совершенствование технологии смерти, замаскированное прелестями (в библейском значении слова «прелести», «прельщение») всяческого облегчения жизни, когда «комфорт» становится самоцелью.

Иначе говоря, цивилизация есть ускоряющееся экспоненциально развитие, совершенствование технологии: технологии «комфорта» и технологии убийства.

Именно ради такой технологии и выработалось у людей такое отношение к природе и друг к другу, которое и поставило в середине XX века весь мир перед угрозой его смерти.

С этой точки зрения история человечества должна в первую очередь рассматриваться как: 1) история убиения природы и 2) история войн, история прогресса орудий убийства.

Количество войн... Количество убитых, раненых...

Другие последствия войн — голод, эпидемии. Падение цены человеческой жизни... Вообще: реальная история человечества — это и есть история падения цены человеческой жизни. Мало что почти до нуля, но даже до минусной величины.

Никогда ни одна форма жизни — от самой simplestейшей, от самой первоначальной до самой наивысшей — не могла сохраниться, укорениться без встречи со смертью. Простое самоповторение самоубийственно. Это все равно как спутник, вращающийся как бы на одной заданной орбите, но обреченный рано или поздно рухнуть, сгореть.

Именно при встрече со смертью жизнь вдруг находит в себе новые силы не просто сохраниться, а сохраниться путем возвышения, развития, путем новой мутации.

В этом смысле гениальные люди человечества, в первую очередь религиозные мыслители, пророки, художники, — это и есть спасительная мутация человечества.

Ничего сколько-нибудь серьезного, что могло и должно было остаться на века, навсегда, люди не могли создать без встречи со смертью. Культура и начинается с самосознания, т. е. с самосознания о жизни и смерти, с самосознания тайны.

Главнейший вопрос культуры сегодня как спасения (исходя из определения культуры) — экология.

Сегодня экологи спорят лишь о сроках гибели земной жизни. Но самое угрозу гибели не отрицает никто.

Ясно, что прежде чем мы разобьем друг другу черепа атомными или другими «дубинками», мы просто все вместе задохнемся в нашем общем доме, который уже начал гореть. Чернобыль пока нас не научил. Дом горит, а мы все еще занимаемся мелкими кознями, пакостями на почве ли национальных, религиозных отношений, движимые тщеславными, карьеристскими амбициями и т. д.

Но культура должна помочь нам прозреть перед угрозой смерти... Существует, правда, какое-то странное заблуждение: ничего, инстинкт самосохранения спасет человечество. Да, инстинкт самосохранения был у человека, как и у животных. Но дальше вся история человечества состояла в потере этого инстинкта.

Итак, впервые человечество стало практически смертным... И впервые мы благодаря культуре сознаем это и сознаем, кто мы такие. Каждый по-своему, на языке своей национальности и на уровне своей индивидуальности, открывает, что все мы прежде всего **земляне**. Вот в этом еще одна природа культуры.

Если культура — спасение от смерти, то приоритет всех приоритетов — экология. Именно сюда сходятся все нити, все направления, все вопросы. Именно осознание этого, как ничто другое, отсутствует сейчас в мире, а у нас особенно. «Общечеловеческое» оказалось или кажется дискредитированным так же, как демократия. На этот счет во всех президентских, правительст-

венных и общественных декларациях экология на отшибе, нечто досадное, на десятом плане, почти неприятная оговорка (так же, как и культура вообще, образование в частности).

Предстоит осознать две вещи: *незамедлительность* выработки программы, но программы — *долгосрочной*.

А для этого прежде всего опять-таки незамедлительное, но уже *решение*, во-первых, *сохранения* нажитой культуры, а во-вторых, развитие, т. е. посев и выращивание новых носителей культуры, т. е. проблемы *детей*.

А. И. Солженицын как-то «поймал» Б. Н. Ельцина на этом: ведь первый указ президента — все об этом забыли — был об образовании, т. е. о школе, т. е. о детях и юношестве.

Все наше последнее десятилетие, все наши реформы, так сказать, *безмолдежны* в двух смыслах: молодежь не стала движущей силой реформ — явление уникальное! — а реформы не целенаправлены на молодежь, в первую очередь безадресны.

Сегодня есть только один, но самый-самый главный конфликт — между человеком и природой, т. е. ускоряющееся нарастание экологической катастрофы, и только на этой основе, на основе разрешения этого конфликта, на основе разрешения этой катастрофы, могут и должны быть разрешены все остальные конфликты (социальные, национальные, политические, религиозные и пр.). Только на этой основе возможно истинное единство как внутри стран, так и между ними.

Особо: превращение всех вооруженных сил, всех высочайших военных технологий, всех армий — в армии *экологического спасения*.

10 декабря.

Достоевского, как и всякого большого художника, надо видеть в большом контексте: национальной и мировой культуры в целом.

А еще: в контексте малом (одно произведение писателя — в свете всех его произведений).

Легенда о Великом инквизиторе. Пожалуй, никто, насколько помню (кроме Розанова), «в контексте» — мировом и национальном — ее не видел, не слушал, не изучал. Вырывали. И даже чем больше вырывали, тем больше и восхищались...

Но: у Достоевского нет «Легенды».

Есть Легенда о Великом инквизиторе **Ивана Карамазова**, а не Достоевского (общее-особенное — другой вопрос). А у этого Ивана свой контекст: ну, прежде всего «Легенда» — это одно из того «устного» томика «Избранного», что он насочинял.

А дальше: «Легенда» *произносится* (!) — в трактире, между чаем с вишневым вареньем и ухой...

А что было в живой связи композиции *до* этого? Что — *после*?..

Или «Бобок»?!

1873 год.

А точнее? 5 февраля 1873-го.

А контекст? Что — до, что — после?

31 января 1873-го — солнечная запись в дневниках.

20-е числа января — выход «Бесов» отдельным изданием. Это же тоже надо понимать!..

Понимать... Не логикой, не умом, а сначала душой, сердцем сначала.

Сердце, душа сразу подсказывают ответ...

А ум уже ищет доказательства...

(Не противопоставлять.)

Сегодня утром я второй раз посмотрел экранизацию гениальной повести Л. К. Чуковской «Софья Петровна»...

Очень просто сказать (к сожалению, я сам давал такие слабости), что, дескать, дело совершенно не в «банальности», «открытости». Все очевидности со-

циально-политически-идеологических параллелей с нашим и прежним временем.

Почему? Потому что, видите ли, это очень «поверхностно», «неглубоко», а все значительно глубже...

Ну, да: Достоевский написал: будет за каждым стоять шпион, будут все друг друга продавать...

Осуществилось!..

Какая банальность!

А вы спросите единицы сохранившихся... А вы спросите миллионы несохранившихся — они что, подголосят, подпоют вам? «Ах, какая банальность?!»

Вы, вы! Были, бывали в такой «банальности»?

Права не имеете об этом говорить даже, не то что судить.

Все-таки: моя вина, наша вина (даже А. И. Солженицына) в том, что не сумел я, не сумели мы довести до всех остальных одно: **что с нами произошло за эти 70 лет: список, список.** И оптовый (меньше всего доходит), и розничный (больше всего доходит). Задача остается невыполненной.

«Скверный анекдот» и есть самая общая формула всех наших реформ.

Говорят и, возможно, не без основания: «прямые» политические параллели Достоевского с сегодняшним, со вчерашним — это, дескать, «поверхностно»...

Согласен. Сам отдал этому дань.

Но еще и еще раз: а если он, она, мы, я — *прошли через эту параллельность*, через эту «аналогию»? А вы, ты, он, они проходили через нее?

Самое лучшее, что в себе я знаю, — это то, что я дал зарок лет двадцать назад, что я буду каждый год читать «Архипелаг ГУЛАГ». И я выполнял это всегда...

Ахматова:

Боюсь позабыть громыхание черных марушь.

Старею. Кажется, уже два-три года не перечитывал «ГУЛАГ». Это грех, это больше, чем грех.

Вообще-то все просто: либо ты себя в жертву приносишь другим, либо других — себе. Только вокруг этой оси мы все и крутимся.

Самые простые и главные вещи, какие только есть на свете:

**христианство,
мусульманство,
буддизм,
иудаизм.**

Будда: 563—483 до нашей эры.

Христос — начало нашей эры.

Мухаммед: 570—632 нашей эры.

Чисто интуитивно (когда-то, наверное, много читал, не понимая, сейчас всплыло: невероятно много в христианстве от буддизма — существенного, от-кристаллизованного), и невероятно много в мусульманстве от христианства — исковерканного, искривленного кровью войн.

12 декабря.

Перечитываю Достоевского (после возвращения из Рима, где видел восстановленные фрески «Сикстинской капеллы»).

Запрет главы «У Тихона» в романе «Бесы» абсолютно равен тому, как какой-то кардинал приказал Микеланджело «одеть» все фигуры обнаженных. Этого кардинала так и прозвали — «одевальщик»...

На открытии реставрированной стены Сикстинской капеллы в Ватикане папа Павел Второй произнес гениальную речь и, в частности, сказал о духовности обнаженного тела, изображенного Микеланджело.

Запретить главу «У Тихона» = «одеть» персонажи Микеланджело...

Реставрация росписей Микеланджело в Сикстинской капелле — действительно великое событие. В работу вложилось столько любви! И — вот знамение! — на реставрацию фресок капеллы ушло ровно столько же времени, сколько на их создание.

Небо Сикстинской капеллы можно было еще очистить. А настоящие небеса?

Пока рассматривал восстановленные фрески, не покидала мысль: а какво было Микеланджело снова войти в Сикстинскую капеллу, четверть века спустя, после его первой работы в ней? Дело было не только да, может, и не столько в соревновании с самим собой, в необходимости превзойти самого себя, молодого, но и в том — главное, — чтобы *увязать все это композиционно*. Увязать не просто «содержательно» (потолок, свод, «небо» = Старый Завет, стена = Завет Новый, эпилог всей Книги), но и «формально».

Вошел мастер нехотя. Сопротивлялся. Отнекивался (как и в первый раз). Решился наконец. Год расчищал стену, готовился. Бесконечно все продумывал. Рисунки, рисунки... Как сочетать?.. И — уверен — при всей «азбучности» этой мысли, этого чувства мысль, чувство родились у него вдохновенно, мгновенно, озарением, откровением.

Первый взгляд на свод и на стену...

«Увязано», не знаю как — игрой цвета, красок, какой-то античной красотой мощи тел...

Не могу оторваться от картины Страшного суда. Подсчитал: не меньше **трехсот** персонажей.

И вдруг ударило: *сравнение Адама и Христа. Божественное происхождение человека и человеческое происхождение Христа?..*

Откуда-то вдруг всплыло, из каких-то недр памяти: Христос — второй Адам... Выдумать — не мог. Значит, где-то у кого-то когда-то вычитал (тоже вот странные загадки памяти, беспомыслия: мобилизация мыслей, чувств вокруг какого-то «пунктика» и...).

У кого мог вычитать? Гипотеза: наверное, у Бердяева.

Христос — второй Адам.

А если это так (а это, конечно, так!), то есть: если первый Адам — рукотворение, духотворение Божье... Тем более, тем более второй — все становится яснее ясного, а именно: неизбежное, неминуемое, необходимое сходство — у Микеланджело лиц, тел Адама и Христа, первого Адама и второго Адама.

Уверен, есть или найдутся такие, совершенно точные научные способы, методики, благодаря которым можно будет, тоже совершенно точно, «идентифицировать» **образы Адама и Христа**: прототип был общий! (Когда помру, спрошу у Микеланджело на том свете: сам-то он знал?)

Почему, почему Микеланджело так упорно, неотвязчиво, так долго хотел сделать гробницу Юлию II?.. Тут какая-то тайна. Какая?

40 (сорок!) скульптур хотел поставить. Сделал, кажется, шесть. Почему?

Наверное, в замысле было — вовсе не памятник именно Юлию II, а просто — человеку, грешному, как и мы все, **человеку**, но человеку *еще* не погубившему мир, но — *уже* готовому, предуготовленному, готовящемуся погубить его.

Для скульптора, как ни для кого, тело = душа. Это просто его язык.

А если оскульптурить героев Достоевского, то я их вижу в скульптурах Микеланджело, а если олитературить скульптуры Микеланджело, то это — герои Достоевского.

Старая мечта (сейчас обострилась): увидеть бы такую картину, на которой — все персонажи, все герои Достоевского (даже только замысленные)...

Все-все — на одном «пяточке».

Но ведь этот «пяточок» и есть апокалипсис, и есть Страшный суд Достоевского.

Разница, обусловленная не только и не столько спецификой творчества каждого из этих художников (живописец — скульптор, писатель), но и эпохально разным подходом к человеку (несравненно большая индивидуализация у Достоевского.

Страшные суды:

Босх 1460—1516,

Дюрер 1471—1528,

Микеланджело 1475—1564,

Брейгель 1525—1569.

«Страшные суды» до них, после них, в их время?

В католичестве, в православии, в протестантстве?..

Имею в виду не только изобразительное искусство, но и вообще все искусство, литературу тоже.

Нет, все-таки, наверное, Достоевский в Сикстинской капелле не был.

Если б был, не мог бы не откликнуться.

А мог ли Достоевский видеть Босха, Брейгеля, Дюрера? (Дюрера, навёрное, мог:)

А видели ли они друг друга? Могли ли видеть?

Рисунок Микеланджело — записные книжки Достоевского.

Искусствовед В. Дажина в своей книге «Микеланджело. Рисунок в его творчестве» приводит слова Микеланджело, слова, которые больше всего меня поразили и обрадовали: «Рисунок, который иначе называют наброском, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры, рисунок является источником и душой всех видов живописи и корнем всякой науки».

Она, Дажина, по-моему, замечательно точно, тонко пишет: его рисунки — это как бы «перевод» его сонетов. (Какое счастье, что есть эти сонеты и эти рисунки, — какое несчастье было бы, если бы не было черновиков Достоевского.)

Итак, сам Микеланджело «переводит» свои линии в слова, а слова (мысли) — в линии.

Вот так я и понимаю «рисунки» Достоевского, т. е. его записные книжки, наброски, черновики. У Достоевского, если угодно, — рисунок рисунка... У него — **рисунок не линиями, а словами.**

Скажут (а я и сам говорю себе это беспрерывно): так ведь это просто невозможно, невозможно для нормального читателя, и почти невозможно для исследователя?!

Ответ: для нормального — да, но для исследователя?

Исследователь и **обязан** совершить эту работу, адски-райскую, **чтобы** «сократить времена и сроки» для нормального читателя (а он, в свою очередь, сократит какие-то «времена и сроки» и для меня — в другом).

У М. М. Бахтина есть гениальная мысль: Достоевский «мыслил целыми мировоззрениями».

Лет 25—30 тому назад мы с Э. Неизвестным сами додумались: если каждое произведение (да и все творчество) великого художника — это как бы храм, то в отношении Достоевского можно сказать так: **он строит свой храм из храмов других. Храмы «чужие» он делает своими, своими «кирпичиками»...**

Все так.

Но: чтобы так мыслить, чтобы так строить, надо? Надо в совершенстве знать эти «целые мировоззрения», надо знать эти «храмы» как чужие-свои, и только тогда можно так мыслить, можно так строить.

Ну вот, к примеру, — **о «Шиллере».**

Еще в юношестве Достоевский прочел *всего Шиллера*: «Я вызубрил всего Шиллера, бредил им...»

Для *тогдашнего* читателя эти чувства и мысли Достоевского были родны, понятны (как и для его героев).

Автор, герои, читатели — *говорили на одном языке*, слушали друг друга на одной «волне», понимали друг друга с полуслова, с полунамека.

Вот что значит конкретно мыслить «целыми мировоззрениями», строить свой храм из храмов-кирпичиков.

Может ли так мыслить, строить, сотворчествовать читатель современный (да и даже большинство исследователей)?

А еще вспомним: что значила для Достоевского та же «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, «Христос» Гольбейна.

То же самое и с музыкой, которую слушал, любил — не любил Достоевский...

Короче, то же самое со всей его «библиотекой», литературной, изобразительной, философской, музыкальной...

Странно все-таки (к вопросу о самосознании, о самопознании), почему «притянуло», «примагнитило» меня к Достоевскому, а потом — к Гойе, Микеланджело, Босху, Брейгелю, Леонардо, Э. Неизвестному... Тут какая-то неизбежность. Такое чувство, что это не я выбирал, а как-то само собой выбиралось.

Многое — *накоплено*, и хочется — *отдать*.

Скрытая формула творчества: *все — из ничего*.

«Взрыв точки»... породил всю вселенную.

30 декабря.

Чувства не врут.

Да, знаю-знаю, что скажете, что все перепутал, что чувства врут, сплошь и рядом врут.

В отношении чего? В отношении того, что, когда глядишь — куда? — да хоть на небо, на солнце, все не так, как нам кажется. Что не солнце крутится вокруг нас, а мы вокруг него. И наука доказывает, что все наоборот...

Да я не об этих чувствах говорю. Я говорю о другом, абсолютно о другом — о чувствах между людьми, человеками. Не между... предметами, бильярдными шарами (стукнулись — раскатились, не проникли друг в друга). А между людьми, душами. Души — это тебе не бильярдные шары: проникают сразу. Они сразу проникают и — уж проникнувши — либо уж действительно отталкиваются, либо жаждут друг друга...

А беда настоящая, когда вы врзаетесь в него, вы — действительно «бильярдный шар», с тем или иным «измом», а он-то? А он-то — нет. И это уже — не познание. Это уже убийство.

...Когда я бываю счастлив?

Общая формула: когда — ненатурно, а радостно — *отдаю и* — вижу хоть отблеск счастья в других глазах...

Когда я бываю лжесчастлив? Когда нравится награда как самоцель... Еще когда? Когда победил. То есть? То есть унизил кого-то, пусть под аплодисменты, но все равно — оскорбил, убил...

Тут никого — ни себя, ни другого — не обманешь, даже если ты убьешь.

Все, что я делаю, — это мучительнейшее воспоминание какого-то сна, который я видел и никак не могу вспомнить, рассказать, передать. Человек — это воспоминание о самом себе, свершившемся или несвершившемся.



Сергей ПЕТРОВ

Спиной к былому...

Петров Сергей Владимирович, уроженец Казани (1911—1988), учился в Ленинграде, был арестован — о счастье! — еще до убийства Кирова (если бы после — не посадили бы, а просто к стенке поставили), сидел в «советской одиночке» (это такая одиночка, в которой сидят 10 — 12 человек и где филолог Петров выучил латышский язык со слов неграмотного сокамерника-латыша), в общей сложности провел в тюрьмах, лагерях и ссылках больше двадцати лет, переехал в Новгород, был принят (как переводчик) в Союз писателей СССР.

Его охотно печатали как переводчика: делался том Кеведо — ему отдавали прозу, которую не брался расшифровать ни один испанист, делался том «Жизнеописания трубадуров» — Петрову заказывали вставные стихи со старопровансальского, от которых прочие переводчики бежали как черт от ладана, и так далее. То он вдруг писал стихи на шведском, то на исландском. А в принципе всю жизнь писал стихи на драгоценном, только-петровском русском, который и без словаря-то в его исполнении не всегда поймешь, ибо русский язык Петрова — не боюсь завратиться с преувеличением — самый богатый в XX веке, сопоставимый лишь с языком Ремизова.

У Петрова не было учеников, хотя состоял он в Ленинградской писательской организации. Зато были — есть и теперь — ученики у его поэзии. Созданная Петровым самостоятельная поэтика — сразу и Рильке, и протопоп Аввакум, и Мандельштам — как хороший чернозем: нравится, не нравится, а поучиться у нее, получить живых соков всегда можно. Он почти ничего не напечатал из собственных стихотворений при жизни, да и после смерти не очень ему везет. Может быть, повезет теперь, на страницах «Октября».

Е. ВИТКОВСКИЙ

Август

Я смерть как не люблю природы показной,
и не поймут меня ни молнии, ни громы.
Но я попал под августейший зной
и в рыбы жидкие хоромы.

И, как зеленые воздушные шары,
кусты на берегу раздулись постепенно,
и от медвежьей лапчатой жары
крушу с размаху водяные стены.

На грудь всей грудью прет ордастый лес,
и в августе густом я — как букашка в травах.
Сквозь дебри месяца я вскользь пролез.
Но дальше легче ли, скажи, о Боже правый!

1971

Новогодняя фуга

Я под боком живу у новогодья,
 не то задумчиво, не то навеселе,
 и все солено-горькие угожья —
 как скатерть-самобранка на столе —
 разостланы. И пробки из бутылок
 не выбивает старая судьба.
 Сижу спиной к бывшему, а в затылок
 бабахает безмолвная пальба.
 И пробираюсь я сквозь дебри января —
 седые ледяные громоздины.
 И кажется, что стал я пьян, варя
 во ржавом котелке мыслительные льдины.

Природа восстает со сна, как древле ода,
 а скатерть-самобранка на столе
 и стелется все дальше год от года,
 и перебранка сыплет по земле
 метелицей, и телятся коровы —
 галактики в божественном хлеву...

Вопросы, как послед, сизо-багровы,
 и как-то боком я еще живу.
 Пусть боком, но зато и избоченясь.
 Стучу и падаю — ну что из бочки гром.
 Еще живу, что квас шипучий, еле пенясь,
 и, из последней мочи ерепенясь,
 я боком выхожу, и оком, и нутром.

1974

* * *

Что же ходишь ты возле жизни?
 Ах, не думай и не гадай!
 Хоть единой слезинкой брызни
 или слово, как руку, дай!

Протяни! (Не на отсечение!)
 Ну а я тебе поручусь
 за торжественное мученье
 всех пяти оголенных чувств,

за святое четвертованье,
 за изломанный костный хруст
 и за то, что я, как сознание,
 всеобъемлющ и, значит, пуст.

1967

Веселый поселок

Ей-богу, вид убогий за окном,
 и около коробки иль колоды
 идет с портфелем ежедневный гном,
 пустосердечный и густобородый,
 весьма разумный выкидыш природы.
 И вот, как при Бианте, все при нем:

желудок, мозг, получка и покупки,
и постѹпъ человечья, и поступки.
Хотя в нутре он малость и поломан,
но отдавать себя в починку лень,
и, может статься, вовсе и не гном он,
а сам себе полузабытый гномон
и на несуществующий плетень
наводит он невидимую тень.
А хмурый городской бездомный день
стоит вокруг, как ультразвучный гомон,
и к беззаботным гномовым ногам
не пристают ни грязь, ни шум, ни гам.

С людьми связавшись, время веселилось,
и вот история проистекла:
деревья из бетона и стекла
во град Петров переселились.

Настаивает глупо зодчий черт
на тошной точности и праве линий
прямыми быть, и красоте аборт
он делает, а воздух так же сперт
и заперт, как в великом равелине.
Да и не черт! А так себе, бесенок,
под стать ветришке В-Ус-Не-Дую,
который вертит хвостиком спросонок
и в кубики играет врассыпную.

И вижу я поселок невеселый,
где не гнездятся даже воробьи,
где чахнет зелень и в кругу семьи
чирикают безбедно новоселы,
глядят по телевизору кино,
пьют водку, пиво, иногда вино,
мурлычут и играют в домино,
козла, как Азазелло, забивая,
«Шумел камыш» квартетом запевая,
и беды, и обиды забывая
и про себя легонько забывая.

Ох, мужики и наломали дров!
И все еще летят швырки косые,
кривоколенные. Красуйся, град Петров,
и стой в истории упрямо, как Россия!

1977

Сорок лет со дня смерти Андрея Белого

*Лазурь черна...
О. Манделъштам*

Жизнь — костлявая катастрофа.
Лодкой плавает в глине гроб.
Словно вспученная Голгофа,
чуть не лопнул от муки лоб.

И лазурь в замогильном воске —
как захлопнутая веком ширь.
И вздувается на повозке,
на последней — булыжный пузырь.

Был рунист и жирел, как валух.
А экран был — как ранка к ранке.
Жизнь, заверченная на штурвалах,
колесованная на баранке.

Распят был на себе, как Бог.
Молодец посреди богородиц.
О буддический скоморох,
изнасилованный юродец.

Во взошедший над веком лбище,
как в огромную полусферу,

когтем вписывала судьбища
и отчаяние, и веру.

Как малиновый куст, кипел
шут атласный в багровой рясе
и кровавые сгустки пел,
уходя навек восвосяси.

В три пространства, как бес, свища
вдоль по осени оробелой,
мозгу ярого был свеча,
только мозг был белый-пребелый.

1974

* * *

Когда живется мне, и я тогда живусь,
переживаясь от стены к обрыву.
А то скачу себе, не дуя даже в ус,
зато уж — до горы, и в хвост, и в гриву!
И, погоняя своего коня,
без шапки, без креста, без чекменя
я еду от меня ко мне через меня.
И, каждой Божьей вере изменяя
и ничего вокруг не присеня,
я думаю, как бы остаться живу.

Воистину, я круглый дурачина
посередине своего ума!
А жизнь — одна сплошная кортома.
Срядилась жить — готова котоме,
и догорай, моя лучина!

Сильней всех истин — смерть. Но то-то и кручина,
что истина сама и есть кончина,
иначе ведь она и не сама.

1972

Публикация Александры ПЕТРОВОЙ



Л. В. СКВОРЦОВ

Общество и насилие

Наше общественное сознание привыкло к тезису, согласно которому **насилие является повивальной бабкой всякого развития**. Крупные общественные изменения, коренные реформы мы обычно связываем с неизбежностью серьезных разрушений, больших потерь. «Лес рубят — щепки летят», — утверждает и популярная русская пословица. Соответственно в общественном сознании утвердилось представление о революции, революционном действии вообще как об истинном в своей сущности деянии, торжестве справедливости и социального блага. Привычность такого представления обычно связывают с доминированием марксистской ментальности. Опыт последних лет, однако, убедительно доказывает, что «революционный дух» составляет стержень идеологических установок противников марксизма и социалистической идеологии.

Революционность — это привычная для нас форма избавления от социальных проблем. В общественном сознании присутствует скрытая вера в то, что любую социальную проблему можно и нужно решать хирургическими методами. И первые же шаги на этом пути создают новые проблемы, которые вновь подталкивают к хирургическому вмешательству. «Перманентная революция» — это отражение определенной социально-политической практики, которая может быть относительно терпима лишь в определенных условиях.

Формирование **информационного общества** коренным образом изменяет эти условия. Демократические процедуры, утверждающие **компромисс** как основание принятия фундаментальных социальных политических решений, становятся не просто желательными, а необходимыми для того, чтобы общество вообще могло нормально функционировать. Это связано с тем, что сегодня **любое** фундаментальное социальное решение требует всесторонней научной проработки и определения возможных последствий, а также выбора **оптимального** для данных условий решения.

Это значит, что все идеологические доктрины, основанные на признании единственной социальной истины в качестве **абсолютной**, заключают в себе разрушительный для общества потенциал. Без уяснения этого мы не можем рассчитывать на то, что революционная ментальность и социальное насилие испарятся из нашего общественного сознания.

Другой симптоматичной проблемой нашего времени стала очевидная связь утверждения демократических принципов в обществе с ростом **уголовной преступности**. Социальные теоретики даже утверждают, что на данный момент нет общепринятого социального критерия для отделения нормы от криминала, бизнесмена... от бандита¹. Это может лишь означать, что все общество начинает пронизывать система межличностных и социальных отношений, основанная не на законе, а на конкретном соотношении физических сил. В этом случае демократия начинает отождествляться с **саморазрушающимся обществом**. Государственная машина, пытаясь противопоставить миру уголовной преступности все более совершенные средства контрнасилия, становится составной частью этой **саморазрушающейся системы**.

Оказавшись перед этими проблемами, мы все более отчетливо осознаем, что как прославление революционного насилия, так и осуждение насилия уголовного сами по себе мало что дают. Мы оказываемся в некоем тумане, пытаемся бороться с противником, которого отчетливо не видим. Мы начинаем осознавать недостаточ-

Лев Владимирович Скворцов, доктор философских наук, руководитель Центра гуманитарных научно-информационных исследований, заместитель директора ИНИОН РАН. Статья подготовлена при содействии Дома наук о человеке (Франция).

¹ См., например: Фурсов А. И. Колокола истории. М., ч. 2, с. 191.

ность нашей собственной интерпретации истины жизни и необходимость обращения к **теории**, которая может помочь нам разобраться с феноменом насилия и связанными с ним парадоксами.

Что же нам говорит теория, как она объясняет мотивы насилия? Как она связывает перспективы применения насилия со становлением информационного общества?

Мотивы насилия

Процесс становления информационного общества дал толчок для переоценки ценностей, новой интерпретации ряда природных и социальных явлений. Так процесс информатизации в эволюции ноосферы оценивался как ключевой этап, означающий резкое повышение интеллектуального потенциала цивилизации², гуманистическую перестройку всей жизнедеятельности человека. Информационное общество нередко рассматривается как особое гармоничное коммуникационное состояние человечества, которое позволяет решать ключевые глобальные проблемы, в том числе и экономическую.

Очевидно, однако, что гармоничные отношения всюду сталкиваются с насилием, которое пронизывает общество сверху донизу. Насилие — это явление, которое характеризует отношение человека и к природе, и к другому человеку. Человек постоянно мечтает о гармонии, но совершает действия, разрушающие гармоничные отношения. Он пытается создать локальную гармонию на базе общей дисгармонии.

Гармония на основе дисгармонии — парадоксальное явление. В нем соединены идеал, к которому субъективно стремится человек, и реальность его жизненных позиций, которым, как ему кажется, он вынужден следовать.

Эта парадоксальность бытия человека требует своего объяснения.

Сложились три типа теорий, объясняющих истоки насилия. **Первый тип** объединяет те концепции, которые выводят насилие из **природы** человека. При этом предполагается, что существуют **врожденные** склонности, инстинкты (инстинкт смерти, сексуальный инстинкт), которые подталкивают человека к насилию. К этому типу можно отнести и философские концепции, объясняющие насилие присущей человеку волей к власти, **господству**.

Второй тип теорий выводит применение насилия из экономических и социальных условий жизни общества. Экономическое и социальное неравенство порождает дифференциацию общества на группы, общественные классы и соответственно противоречия и борьбу между ними. Преодоление этой борьбы лежит через установление социального равенства или, во всяком случае, смягчения неравенства. Соответственно определяются допустимые пределы разрыва в уровне жизни различных классов для обеспечения стабильности общественной жизни.

Третий тип теорий связывает насилие с динамикой конфликта. В любом обществе возникают конкурирующие группы — экономические, политические, духовные. Первоначальное состояние конкурирующих групп и личностей — это потенциальный конфликт. Он становится реальным, когда конкурентное состояние персонализируется, когда друг другу начинают противостоять конкретные индивиды. Это именно та стадия, когда насилие становится весьма вероятным.

Конфликт находит свое разрешение в победе одной из конфликтующих сторон. Утверждается новая иерархия. Наступает период адаптации к ситуации. Это период, когда формируются новые конкурирующие группы. История разрешения конфликта повторяется вновь и вновь.

Все три группы теорий исходят из того, что в основе насилия лежит действующая в настоящем времени и поэтому реально фиксируемая **причина** или совокупность причин. Такой подход продуктивен для объяснения многих феноменов насилия в жизни общества, в том числе и войн.

Теории насилия, отталкивающиеся от понимания его конкретных социальных причин, проложили путь к созданию механизмов смягчения социальных конфликтов, направления массового социального протеста в русло рутинных демократических процедур. И это дает свои результаты. Вместо побоищ, кровавых столкновений с полицией происходят мирные шествия с теми лозунгами, которые отражают настроения общественности, реальные требования. Полиция не подавляет эти шествия, а гарантирует их спокойное прохождение. Демократы и полиция как бы оказываются «в одной лодке», на страже соблюдения демократических конституционных принципов. Такая согласованность позиций достигается переговорами, во время которых проявляется законность требований и уясняется порядок их предъявления в соответствии с действующими общественными правилами.

² Урсул А. Д. Информатизация общества (Введение в социальную информатику). М., 1990, с. 174.

Это требует обучения полиции и постоянной работы с лидерами общественных движений.

«Невидимые» причины насилия. Существуют, однако, формы насилия, которые не имеют видимых социальных и экономических причин. Эти формы становятся особо значимыми в условиях информационного общества. Традиционно внимание теоретиков обращено к анализу причин войн между государствами, обострения классовых конфликтов. В условиях открытого общества складывается тенденция резкого сокращения межгосударственных военных столкновений. Центр тяжести конфликтов переносится внутрь государств.

Анализ показывает, что нередко причиной этих конфликтов становится некая **«скрытая» от глаз информация**, которая толкает к применению массового насилия. Одним из первых описанных в Библии примеров такого рода можно считать скрытые указания египетского царя об изнурении израильтян тяжелыми работами и умерщвлении их сынов при рождении. Египетский царь считал необходимым перехитрить выходцев из Израиля и предотвратить в случае войны их союз с потенциальным неприятелем Египта.

Многие парадоксы в развитии цивилизации в XX веке, в том числе «странные» массовые убийства, связаны с этой скрытой информацией. Как она возникает и как воздействовать на нее? Вот в чем вопрос. Такая скрытая информация может возникать стихийно, как некий предрассудок, воспринимаемый общественным сознанием, как не требующая доказательств истина.

Но она может формироваться и вполне целенаправленно возникать в результате усвоения определенных идеологических постулатов.

XX век выявил связь между такого рода информацией и идеологическим внушением. Здесь ключ к объяснению целого ряда явлений массового насилия. С помощью идеологического внушения формируется самосознание, воспринимающее социально-историческую действительность в черно-белом изображении: свое есть квинтэссенция Добра, чужое — концентрация Зла.

На этой почве, как правило, и возникает **двойной стандарт**: насилие оправдывается и даже прославляется в отношении «чужих», жертвы же насилия воспринимают его как преступление.

Двойной стандарт становится понятным, когда выясняется, что противостоящие друг другу субъекты вступили в некую игру, в которой проигравший лишается условий своего существования и самой жизни. Подобно тому как в ходе дуэли смерть одного дуэлянта является условием жизни другого и это действие совершается по определенным правилам, так и в общественной жизни соблюдается видимость следования цивилизованным нормам, но вместе с тем ведется игра, направленная на **устранение** потенциального противника.

Информационное общество создает все более совершенные технические механизмы и средства массового идеологического воздействия. Однако собственное развитие делает такое общество все более уязвимым. В этой связи необходимо обратить особое внимание на **эволюцию терроризма**.

Терроризм обычно определяют как применение насилия или угрозу насилием с целью посеять в обществе панику, ослабить или опрокинуть влияние официальных властей и вызвать политические изменения. Сам по себе терроризм — явление ненормальное. Россия, например, пережила не один всплеск терроризма, рожденного верой в то, что убийство царственных особ и высокопоставленных чиновников открывает прямой путь к свободе.

Россия в этом была не одинока. Западную Европу тоже захлестывал террористический вал. В 1894 году итальянский анархист убивает президента Франции Карно. В 1897-м анархисты совершают покушение на императрицу Австрии и убивают испанского премьер-министра Антонио Канова. В 1900-м жертвой анархистского нападения стал король Италии Умберто I. В 1901 году американский анархист убивает президента США Уильяма Маккинли.

Терроризм конца прошлого века носил прицельный характер и имел ограниченные последствия. Нынешний терроризм представлен, как правило, организациями, которые, с одной стороны, занимаются бизнесом и политической деятельностью, а с другой — террористическими актами. С этим связан их разветвленный характер. Таковы братья-мусульмане, палестинское движение Хамас, Ирландская республиканская армия, тамильские «тигры» в Шри-Ланке, баскские сепаратисты. Со стороны определенных государств существует поддержка террористических организаций, основанная на религиозных или идеологических соображениях. Все это меняет качество терроризма.

Важным изменением в практике терроризма следует считать появление возможности использовать средства, которые могут вызвать массовую гибель людей. Всеобщее пристальное внимание обращено на похищение радиоактивных веществ с государственных предприятий. Если в руках террористов окажется ядерное оружие, то возможности шантажа резко возрастут.

Серьезную тревогу всегда вызывала возможность попадания в руки террористов химического и биологического оружия, над созданием которого многие государства работали десятки лет. Теперь возможность превращается в действительность. У всех на памяти трагедия 1995 года, когда в токийском метро члены религиозной секты «Аум Синрикё» распылили газ зарин, в результате чего погибло и пострадало множество людей.

Для воздействия на представителей террористических организаций весьма важно знать **мотивы** их действий. Терроризм нельзя понять без учета определенного романтизма, окружающего героев, жертвующих собой ради большой идеи. Возникают также религиозные и идеологические основания массового **самопожертвования**. Весьма симптоматичным был опыт набора камикадзе во время второй мировой войны в Японии. На призывные пункты явились тысячи добровольцев ради защиты Страны восходящего солнца.

Если в основе террористических акций лежат религиозные мотивы, мотивы содействия Апокалипсису, разрушению технической цивилизации, то применение оружия массового поражения может казаться логически оправданным. Доктрина секты «Аум Синрикё», например, учила, что убийство помогает и жертве, и убийце обрести спасение. Те, кто верит в наступление судного дня, считают, что чем раньше наступит царство Антихриста, тем скорее будет разрушен продажный мир, восторжествуют новые небеса. С этой точки зрения **все становится дозволено**, зло превращается в добро. Если ставится ограниченная политическая задача, то террористы не заинтересованы в массовых убийствах, которые их дискредитируют. Они склонны к использованию огнестрельного оружия, других традиционных, а не ядерных, химических, биологических средств, применение которых может вызвать неуправляемые последствия. Различия ликов террористов свидетельствуют о том, что в основе терроризма все чаще лежат не столько объективные экономические и политические факторы, сколько **информационное воображение**, черпающее вдохновение из самих экстравагантных идеологических и религиозных источников.³

Это важно понять, поскольку в информационном обществе проблема надежности бытия обретает парадоксальный смысл. Чем выше уровень развития такого общества, тем большей опасности оно подвержено. Развитое общество в огромной степени зависит от нормальной работы электронного накопления, доступа, анализа и передачи информации. Оборона, действия полиции, работа банков, торговля, транспорт, научные исследования, деятельность правительства и частного сектора — все это связано с нормальной работой компьютеров и информационной сети.

Некомпетентное управление или саботаж компьютерных хакеров могут сделать всю страну неспособной к нормальному функционированию. Не случайна возрастающая тревога по поводу возможностей **информтерроризма и кибервойн**³. Высказываются предположения, что достаточно двадцати квалифицированных хакеров и одного миллиарда долларов, чтобы сокрушить Америку⁴. Защитные меры доказывают свою ограниченность, если даже хакеры-тинейджеры могут проникать в самые секретные информационные системы. Если терроризм двинется в этом направлении, то, как предсказывают наблюдатели, он сможет принести значительно больший ущерб, чем от химического или биологического оружия. У информационного терроризма могут быть самые необычные и странные мотивы. Это заставляет смещать привычные акценты в изучении мотивов терроризма. Раньше казалось достаточным изучать терроризм с точки зрения действия **социальных мотивов** — борьбы за национальную независимость, за социальное освобождение, за равенство и т. д. Теперь же ключевое значение приобретает исследование **индивидуальных** мотивов. А это крайне неопределенная сфера — сфера свободы (или произвола) выбора.

Типы свободного насилия

Хотя сфера свободы кажется не поддающейся научному изучению, однако она может исследоваться постольку, поскольку находит определенные формы своего эмпирического воплощения. И здесь особый интерес представляют те формы насилия, которые признаются обществом как необходимые жизненные реалии. Характерным примером в этом отношении является **культовое насилие**.

Существуют различные формы культового насилия. Многие из них считаются предметом этнографических исследований, свидетельством ушедших в прошлое нелепых представлений дикарей, но прошедших школы современной цивилизации. Исследователи, однако, фиксируют тот факт, что даже в контексте со-

³ Walter Laqueur. Postmodern Terrorism. In: Foreign Affairs. Vol. 75, № 5, p. 35.

⁴ Там же.

временной цивилизации фантастические представления продолжают действовать, влияя на реальные человеческие отношения. Известный британский исследователь Дэвид Гельнер, описывая явления хилеров, медиумов и ведьм в долине Катманду (Непал), приводит любопытный случай, свидетелем которого он был сам. Рядом с дамой-медиумом из Лэлитпура проживала молодая женщина, которая не ладила со своей свекровью. Все дети, которых она родила, умерли, и она твердо верила в то, что ее свекровь ведьма и что именно она убила ее детей. Она пришла к медиуму, и та сказала ей, что свекровь на самом деле ведьма и что у этой женщины не будет наследника, который сможет выжить. Если же свекровь умрет, то ее дети будут спасены.

Перед лицом всей общины свекровь отвергла выдвинутые против нее обвинения. Однако медиум заявила, что все же она ведьма, и слегка прикоснулась своим ритуальным жезлом к ее виску. Хлынула кровь, свекровь была помещена в больницу. Позднее свекровь по поводу этого ложного обвинения подала заявление в суд. На суде медиум заявила: если свекровь ведьма, то она умрет в ближайшие девять дней. Если не умрет, то она не ведьма. Женщина действительно умерла в течение девяти дней. Судебное разбирательство было прекращено⁵.

Этот случай раскрывает дилемму, которая подталкивает даже родственно близких людей на применение насилия. В данном случае эта дилемма выглядит так, либо остается жить свекровь и будут умирать дети невестки, либо свекровь умрет и дети невестки будут спасены. Совершенно очевидно, что в этой дилемме заключена **необходимость** той или иной человеческой жертвы. Вопрос, **кто** конкретно должен быть принесен в жертву, получает свое разрешение в реальном столкновении субъектов взаимодействия. Сама по себе смерть человека бессмысленна. Однако принесение человека в жертву обретает специфический смысл в контексте **одухотворения** мира. Человеческое жертвоприношение может обретать либо форму **признания могущества божества**, либо характер **извинительной жертвы** перед ним за совершенные безнравственные, преступные деяния. И в том, и в другом случае возникает необходимость в субъекте — **свободном носителе зла**, который решает, какое насилие или какое жертвоприношение должно быть совершено, чтобы восстановить **равновесие** бытия, связанное со специфическим нарушением равновесия между человеком, космосом и демиургом (Богом).

Свободный носитель зла становится средством реализации высшего Блага, Добра. Поэтому он наряду с божеством участвует в **потреблении** священного животного, приносимого в жертву. Хотя животное подвергается закланию, оно не уничтожается. Считается, что священное животное возрождается через ритуал, а человек, потребляющий плоть священного животного, обретает его качества. Сам акт потребления превращается в слияние земного и божественного.

Представление о наличии **родственной связи** между живущими и умершими, возникшее в Китае в V веке до н. э., создало предпосылки для человеческих жертвоприношений как «жалованья» мертвым за то, что они выступают просителями перед божеством за верховного правителя Китая. Считалось, что без этого земное процветание невозможно.

Какие же реалии могут стоять за этими представлениями? В таких представлениях фиксируется сложное информационное отношение: исторический опыт выявляет ту истину, что приоритет частного интереса приносит индивиду личный успех. Вместе с тем эта жизненная установка, воспринятая в качестве общей истины, ведет к эрозии социального целого — разрушению общины, падению государства. Утверждение приоритета общего происходит путем освящения насилия и человеческого жертвоприношения.

Этим объясняется и возникновение массового представления, согласно которому насилие над личностью, мучения людей являются свидетельством приближения всеобщего спасения. Ранние мученики за христианскую веру, например, были убеждены, что их страдания являются основанием их воскресения, своеобразным «пропуском» к Христу. Игнатий Антиохский заявлял, к примеру, что он надеется на то, что будет разорван на части зубами диких зверей и сможет превратиться в пшеницу для хлеба Господа Бога.

Рельефным примером утверждения общих нравственных принципов над частным интересом можно считать культ Бусидо, возникший в Японии в эпоху Токагава. С ним связано ритуальное самоубийство самурая. Оно осуществляется для того, чтобы не выходить за установленные нравственные границы, избежать плена во время войны, выразить свой протест господину в том случае, когда тот не последовал мудрому совету.

Осмысленное ритуальное самоотрицание индивида практически утверждает общие нравственные принципы. В этом отличие ритуального самопожертвования

⁵ Man. The Journal of the Royal Anthropological Institute. Vol. 29, № 1, 1994, pp. 35—36.

от принесения в жертву других индивидов. Все вышесказанное объясняет, почему человеческие жертвоприношения могут иметь массовый характер. Показательны жертвоприношения **ацтеков**. Они считали, что боги питаются людскими органами. И если жертвоприношения сокращаются, то наступает голод, другие стихийные бедствия. Одним из важных мотивов войн, которые вели ацтеки, было стремление взять как можно больше врагов в плен, чтобы приносить в жертву кровь и сердца людей.

В соответствии с космологией ацтеков боги сами принесли себя в жертву ради того, чтобы взошла заря и солнце начало свое движение по небу.

Подготовка жертвоприношения длилась четыре дня и включала в себя различные церемониальные акты. Военнопленные и рабы, которые приносились в жертву, принимали специальную ванну и обряжались в костюмы, соответствующие облику богов, которым надо было принести жертвы.

Характерно, что эти жертвоприношения сопровождалось каннибализмом.

Каннибализм — это особенно трудное для понимания явление.

Н. Тинберген, исследуя специфику человека сравнительно с другими видами животных, отмечал, что среди многих тысяч биологических видов только человек ведет разрушительную борьбу. «Человек уникален тем, что он составляет вид массовых убийц; это единственное существо, которое не годится для своего собственного общества. Почему же это так?»⁶ Это вопрос о специфике агрессивности человека.

Тип поведения, нерациональной с точки зрения сохранения жизни, — специфическое явление, свойственное человеку. Оно кажется абсурдным. Между тем именно человек стал господином природы. Другая сторона той же загадки.

Таким примером нерационального для сохранения жизни типа поведения и можно считать **каннибализм**. Антропологи отличают эндоканнибализм, характеризующийся поеданием членов одной и той же группы, от экзоканнибализма, потребления в пищу членов другой, часто враждебной группы. Нельзя принять упрощенные объяснения каннибализма нехваткой пищи или перенаселенностью. Такие объяснения игнорируют многие факты, свидетельствующие о связи каннибализма с представлениями о влиянии на человека сверхъестественных сил.

В религии ацтеков Солнце, являющееся покровителем воинов, «требовало» себе в пищу человеческие сердца и кровь. Конечности и другие части тела готовились в пищу знатым и богатым последователям религии ацтеков.

Представители некоторых африканских секретных обществ, символами которых были человек-леопард или аллигатор, рассматривали каннибализм как необходимое условие принадлежности к группе. Каннибализм может быть понят лишь в определенном культурном контексте: противоположное явление начинает обретать смысл от привнесенной в него идеи.

Каннибализм нередко сочетается с ведьмовством, способом обретения личной власти путем потребления своей жертвы.

Идея обладает свойством универсализации поведения. Универсализация — это меч, пересекающий естественные склонности, конкретные привязанности, подчиняя их себе. Потенциально человек, подчиняющийся логике идеального самоопределения, обретает свободу. Он может быть как всем, так и ничем, следовать бесконечному разнообразию принципов и отрицать их как заблуждения. Только человек может определить свой путь как самоисключение из эмпирического бытия. В этом его принципиальное преимущество перед всеми биологическими видами. Но здесь заключен и потенциальный исток универсальной деструктивности.

Общество инстинктивно стремится к тому, чтобы заложить в каждого индивида такой код поведения, который предопределяет приоритет позитивных нравственных и социальных ценностей. Страх общины перед независимыми индивидами, игнорирующими общие структуры поведения, не случаен. Индивид, следующий лишь своим личным устремлениям, своей воле, способен привести к гибели всю общину, принести ее себе в жертву. Следование сложившимся общим нормам, однако, также включает в себе непростые проблемы. Общие нормы, хотя они и относительно константны, формируют тип поведения народов, амбивалентный по своему содержанию и смыслу.

Характерно отношение общества к колдунам и ведьмам. Так, например, африканские общества, чтобы ограничить влияние колдунов, действовавших на судьбы и жизнь людей, обвязывали их сухими банановыми листьями, а затем сжигали. В XIX веке многие колдуны были устранены таким способом⁷.

⁶ Tinbergen N. On War and Peace in Animals and Man. Science, 160 (1968). Washington, p. 1412.

⁷ Mair Lucy Philip. Witchkraft. London, 1963, p. 140.

Аналогичным образом личности, обладающие сверхъестественной способностью создавать разного рода проблемы и трудности, получали такое же наказание, как и колдуны⁸.

До встречи с европейцами наказание, как правило, следовало сразу же: иногда ведьму убивали, иногда получали соответствующую компенсацию или прибегали к смертельной магии⁹. Исполнял наказание обычно кровный родственник жертвы.

В Европе магические силы активно использовались средневековой церковью. Уже апостолы ранней церкви привлекали последователей, показывая чудеса и поражая людей различными сверхъестественными излечениями. Останки святых превращались в фетиши, обладающие силой излечивать различные болезни и защищать от опасностей. Освящали соль и воду как для укрепления здоровья, так и для изгнания злых духов. Самым распространенным амулетом был *agnus dei* — маленький торт из воска, приготовленный из пасхальных свечей, освященных папой. Он был защитой от дьявола, грома и молнии, огня и затопления. В 1591 году в Оксфорде некто Джон Аллен продавал кровь Христа по двадцать фунтов за одну каплю¹⁰. Все имевшие кровь Христа считались защищенными от телесных болезней.

Месса также ассоциировалась с магической силой.

Чем же в таком случае священник отличался от мага? Во-первых, социальным положением. Во-вторых, использующий молитву христианин не мог быть уверен в успехе, тогда как маг учил тому, как контролировать оккультные силы.

Утверждение протестантизма, как известно, связано с пересмотром таинств церкви, отрицанием необходимости крещения для спасения. Пуритане отрицали особые качества святой воды, возражали против знака креста, а конфирмация отвергалась ими как колдовство¹¹.

Фундаментальное различие между религией и магией с критических позиций протестантизма выглядит как различие между словами молитвы, которые обретают силу лишь при включении Бога в их действие, и **чарами** слов, которые действуют сами по себе, автоматически.

Без размывания двойных стандартов, применяемых к церковным ритуалам, с одной стороны, и ритуалам магическим — с другой, Европа вряд ли смогла освободиться от периодически возникавших волн насилия над личностью, связанных с «охотой на ведьм» и преследованием ересей.

Конечно, терпимость к религиозным конфессиям, официально признаваемым и способствующим укреплению общественной нравственности, и терпимость к колдовству, магии, которые используются отдельными лицами в своих интересах против других лиц, — это, как говорится, «две большие разницы». Вместе с тем с колдовством могут отождествляться также те или иные религии.

Так, в частности, произошло с известным культом Вуду, который на Гаити является религией большинства. Эта религия была занесена на Гаити рабами, завезенными из Дагомеи. Рабовладельцы боялись колдовства своих рабов и считали ритуалы Вуду, о которых они почти ничего не знали, ритуалами секретного общества, связывающего людей страшными клятвами.

В 1884 году британский консул Спенсер Сент Джон написал книгу, в которой утверждалось, что ритуалы Вуду представляют собой убийство и поедание детей в честь бога-змеи. В XX веке об этом много писал американский журналист Сибрук, который находился на острове во время американской оккупации в 1915—1933 годы.

В действительности Вуду — это религия, соединяющая пантеоны христианских святых и африканских богов. Однако ее ритуальные церемонии мало что заимствуют из христианской литургии и состоят из танцев и пения, во время которых некоторые участники оказываются во власти духов, заставляющих их действовать в специфической для данного духа манере¹². Роль священнослужителей культа Вуду заключается в защите своих пациентов от колдовства и излечении его предполагаемых жертв. Считается, что у наиболее удачливых индивидов есть близкие им помощники — зомби, поднятые из могил мертвецы. Это представление — часть дагомейской традиции.

Некоторые антропологи отмечают специфику африканского представления о ведьме как **предателе, тайном враге, который прикидывается другом**. Соответст-

⁸ Там же.

⁹ Там же.

¹⁰ Keith Thomas. Religion and the Decline of Magic. London, 1971, p. 31.

¹¹ Там же, pp. 55—57.

¹² Mair Lucy Philip. Witchcraft. London, 1969, pp. 234—235.

венно для африканских обществ характерен страх перед неизвестными личностями, планируемыми разрушение всей нации.

Очевидно, что подобное присуще и европейской ментальности, тем политическим формам «охоты за ведьмами», которые получили распространение в XX веке.

Культ разума и насилие

Как известно, философия Просвещения связывала насилие непосредственным образом с обскурантизмом, массовым распространением ложных представлений. Утверждение принципов Разума в качестве специфического кulta считалось действенным средством освобождения истории от ее пороков, неоправданного применения насилия. Считалось, что разумный человек — это человек **естественный**, с нормальными запросами и потребностями, свободный от предрассудков. Позитивные качества человека полагаются как бы заложенными в нем самой природой. Социальная среда мешала проявлению этих качеств, и ее следовало изменить, чтобы наступило царство социальной гармонии и вечного мира.

Поскольку, однако, изменение социальной среды само по себе не вело к рождению идеального человека, то стали возникать концепции «новых людей», «сверх-человека», которые должны сформироваться посредством усвоения определенных идеалов, выделяющих «правильных» индивидов из «неправильной» массы.

В конечном счете общественное сознание восприняло представление, согласно которому проблема насилия может быть решена тем же самым способом, каким решается любая техническая задача: необходимо научно исследование вопроса, осмысление его природы с последующим определением механизмов и этапов его решения. Но здесь исследовательская мысль столкнулась с двумя неожиданными проблемами, которые рельефно обнажились в XX веке: парадоксом эры науки и кризисом просветительского представления о том, что природа человека — это сосуд, наполненный стремлениями к Добру.

Парадокс эры науки

В двадцатом столетии человечество встало перед проблемой ядерного Апокалипсиса, а вместе с ней и надежности своего бытия. Фатальная угроза третьей мировой войны усматривалась в глобальной идеологической конфронтации.

Идеологическая дихотомия была устранима. Но это не сняло проблему надежности. Человечество подходит к рубежу двадцать первого столетия, ожидая глубинных цивилизационных разломов с ужасающими последствиями для всех.

Теоретическая мысль пытается открыть первопричины катастрофических тенденций общественного развития и найти возможные контрмеры для их изменения.

Почти что рефлекторно и социальные теоретики, и политики хватаются за два рычага, позволяющих сузить сферы действия глобальной деструктивности. Это, во-первых, мировое правительство и, во-вторых, утверждение в международных отношениях принципов разума.

Угроза тотальной деструктивности, однако, возникает не только на глобальном уровне. Путь к установлению мирового правительства лежит также через ликвидацию суверенитетов отдельных народов, что само по себе чревато взрывом насилия. С утверждением в самосознании народов принципов разума дело обстоит не просто.

Философская мысль издавна рассматривала разум как фундаментальную предпосылку надежности бытия человека. Разум позволяет избегать опасностей. Он служит основой решений, которые не только в данный момент, но и в перспективе служат интересам жизни.

Как ни странно, но это представление о практических функциях разума оказалось поколебленным в результате триумфа научно-технической ментальности. Он принес человеку материальное процветание, но вместе с тем и взрыв деструктивности.

Корни этого явления уходят в начало эпохи Просвещения. В самом деле, в XVI веке основные европейские державы имели 87 военных сражений, в XVII — 239, в XVIII — 781, в XIX — 651, в 1940—1990 годы — 892¹³.

Чем же объяснить, что освобождение общественного сознания от религиозного фанатизма (а это и была одна из главных задач Просвещения) порождает кумулятивное нарастание разрушительных конфликтов? Ведь гении Просвещения были

¹³ Wright Q. A Study of War. Chicago, 1965, p. 626.

убеждены в том, что преодоление религиозного фанатизма создаст условия для искоренения религиозных войн, утверждения эры толерантности. Торжество научной ментальности казалось базой терпимости, установления гражданского и всеобщего мира.

Однако нарастание могущества интеллектуальных, а вместе с тем и технических сил человека ведет к фрагментации разума, сужению его социальных мировоззренческих ориентаций. Абсолютизация идеологических национальных, этнических, классовых, групповых, а в конечном итоге индивидуальных интересов — таков путь фрагментации разума, порождающей кумулятивный рост конфликтов во всех сферах жизни.

Как оказалось, «абсолютные» идеологические истины становятся предпосылкой массовых убийств. Это требует теоретической коррекции традиционных представлений, согласно которым жестокость массовых убийств можно объяснить лишь разрушением разума. Дело в том, что причиной массовых убийств может быть специфическая, а именно — **предвосхищающая рациональность**.

Когда говорят об экономической эксплуатации, получении от нее физически ощущаемых выгод или о политическом и духовном господстве, требующем применения насилия, то все здесь кажется предельно ясным. Причина насилия перед нами.

Другое дело — предвосхищающая рациональность. Она требует не столько фиксации того, что наличествует здесь и теперь, сколько ясновидения будущего. Наличие информации о будущем становится причиной действий в настоящем. Подчас предвосхищающая рациональность воспринимается как нечто исключительное, как явление неординарное, пример **страшного греха**, который не следует повторять ни при каких обстоятельствах. Царя Ирода считают вечным злодеем, единственным в своем роде. Между тем его можно с полным правом считать первооткрывателем политики превентивного уничтожения. Чтобы наверняка уничтожить младенца Христа, он приказывает уничтожить **всех** младенцев, оказавшихся в том месте, где родился Христос. Царь Ирод стал **символом бесчеловечности**. Однако определение данной конкретной формы массового убийства как бесчеловечности не устраняет бесчеловечность как таковую. Достаточно напомнить о Варфоломеевской ночи. Мотив превентивного уничтожения, когда в нем возникает необходимость, подчиняет себе любые религиозные и нравственные принципы.

Характерно в этом отношении массовое убийство, совершенное в Америке в 1857 году и получившее название «убийство в Маунтейн Мидоус». Произошло следующее. Религиозная община мормонов вела себя слишком самостоятельно и не всегда подчинялась Федеральному правительству. Президент решил направить в штат Юта войска, чтобы установить порядок. Мормоны же в ответ опубликовали декларацию, запрещающую вступление войск на территорию штата и объявляющую, что они будут биться до последнего в каньонах и в горах. Федеральные войска были вынуждены отступить, чтобы подготовиться к весенней кампании. В это время на территорию штата вступила группа из 140 эмигрантов, направлявшаяся в Калифорнию. Некоторые из эмигрантов вели себя неподобающим образом, обижали индейцев, оскорбляли женщин мормонов и запускали свой скот на их поля.

В ответ индейцы атаковали эмигрантов, и семеро из них были убиты. В итоге эмигранты попали в осаду. Они направили трех человек, чтобы известить федеральные войска о своем положении. Однако двое из них были убиты индейцами, а один мормонами.

Чтобы скрыть эти убийства и предотвратить ввод федеральных войск на территорию штата, миссионер мормонов Джон Ли собрал 50 мормонов и договорился с индейцами о полном уничтожении эмигрантов. При этом индейцы брали на себя уничтожение женщин и детей, поскольку мормоны не могли проливать **невинную кровь**. Мормоны же должны были уничтожить всех взрослых мужчин. Эмигрантам пообещали полную безопасность при прохождении по территории штата. Но в итоге они были уничтожены. Характерно, что массовое убийство совершалось со словами: «О Господь, мой Бог, прими их души, ибо мы делаем это во имя твоего царствия». Сам Джон Ли не ушел от возмездия. Через двадцать лет он был казнен на месте преступления.

Стремление к превентивному уничтожению закономерно ведет к искажению нравственных принципов. Поскольку это стремление становится массовым, то извращенная нравственность воспринимается как социальная норма, диктующая содержание общественного долга.

Формы превентивного уничтожения

Общественное сознание формируется в трех измерениях времени. Прошлое дает опыт, на котором базируется историческая информация. Будущее проясняет

потенциальные угрозы, заложенные в настоящем. Превентивное уничтожение воспринимается общественным сознанием как **разрешение проблем будущего в настоящем**. Превентивное уничтожение — это не война. Это социальная «профилактика», санация, позволяющая устранять источники заражения социального организма. Опасными социальными вирусами такого рода обычно считаются определенные этнические и социальные группы. Так рождается потенциал массовых убийств.

Применительно к ситуации информационного общества необходимо особо учитывать появление все более совершенных технических средств массового внушения. Это обеспечивает стандартизацию нравственно извращенного поведения. Противоречие между совестью как истинным индивидуальным нравственным сознанием и стремлением к превентивному уничтожению снимается утверждением приоритета идеологически обусловленного понимания **общественного долга**. Очевидно, что для устранения угроз, которые привели в XX веке к гибели десятков миллионов человек, недостаточно принять экономические и социальные меры. Необходимо обоснованная политика, обеспечивающая очищение сознания от исторических и идеологических предрассудков, полноту информации и формирование адекватных нравственных представлений.

В начале XX века, в 1915 году, произошло массовое убийство армян, проживающих в Турции. Они воспринимались как потенциальная угроза. Для ее устранения было принято решение, в соответствии с которым **все** армяне, служившие в рабочих батальонах, а также все старше пятнадцати лет были собраны в городах, поселениях, деревнях, вывезены в незаселенную местность и убиты. Число убитых, по разным оценкам, колеблется от четырехсот тысяч до миллиона человек.

Соблазнительно допустить, что это ужасное преступление — проявление специфической врожденной азиатской жестокости. Однако тот же тип ментальности и с еще большим размахом действовал и в Европе.

Показателен в этом отношении холокост — массовое уничтожение евреев нацистами. При этом были использованы современные технические средства, созданы специальные производственные мощности — «фабрики смерти», в массовое убийство были внесены элементы плановости. Это был «рационализм» превентивного уничтожения в своем техническом воплощении.

Характерно, что исходным принципом превентивного уничтожения могут служить как этнические, так и социально-классовые признаки. Все зависит от господствующей идеологической доктрины. В Камбодже, например, людей уничтожали по социально-классовому и образовательному признакам. Образованные классы, исходя из доктрины справедливого общества, считались его потенциальными врагами и поэтому подлежали высылке и систематическому уничтожению. В 1975—1979 годы в результате такой политики погибло около двух миллионов человек.

Для превентивного уничтожения людей может быть принят и такой критерий, как принадлежность к оппозиции. Так, в Аргентине, когда к власти пришли военные, они начали расправу со всеми оппозиционерами режима, партизанами. Их тайно похищали и убивали, сбрасывая с вертолетов в океан.

Что это за люди, которые в эру науки, разума и гуманизма создают возможность практической реализации жестоких и безумных идей массового насилия?

Попытку ответить на этот вопрос сделал Эрих Фромм.

Разгадка психологической загадки?

Эрих Фромм исходит из представления, согласно которому «деструктивность и жестокость не являются сущностными чертами человеческой природы»¹⁴. Вместе с тем массовое применение насилия — признак того, что общий разум «ушел» из реальной жизни.

С точки зрения государственной ментальности применение насилия так же естественно, как то, что лев питается мясом. Вопрос возникает лишь в связи с **мерой** использования насилия как средства управления общественной жизнью.

Здесь можно выделить два возможных полярных подхода.

Первый. Сужение сферы действия индивидуального насилия, подчинение разрозненных индивидуальных воле единой государственной воле требуют утверждения страха, заставляющего всех подчиняться верховной власти. А это возможно в том случае, если воля верховной власти подкреплена реальной возможностью применения насилия на всех уровнях и во всех основных звеньях жизни общества. Имеется в виду, что люди не способны сами по себе следовать принципам **общего разума**, они следуют лишь своей собственной воле, что превращает общественную жизнь в хаос.

¹⁴ Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., «Республика», 1994, с. 157.

Второй. Индивиды могут сформировать в себе такие качества, установить такую систему взаимных отношений и правил общезнания, которые, сохраняя их свободу и освобождая их от страха, позволяют сделать жизнь общества мирной, целесообразной и упорядоченной. Кризис веры в общий порядок жизни ведет к серьезным психологическим сдвигам, к расширению бессмысленной деструктивности, возникновению ненависти ко всему.

Э. Фромм выделил факторы, побуждающие к тому, чтобы **разрушать ради разрушения, ненавидеть ради самой ненависти**. Это некрофилия, т. е. любовь к мертвому, закоренелый нарциссизм и симбиозно-инцестуальное влечение¹⁵. На этой почве получают развитие так называемые злокачественные формы деструктивности. Эти факторы оказывают широкое воздействие в условиях, когда надежность бытия становится фундаментальной проблемой.

По мысли Э. Фромма, биологически адаптивная агрессия способствует поддержанию жизни. Она является доброкачественной. Злокачественная агрессия не связана с сохранением жизни. Главные ее проявления — убийство и жестокие истязания — не имеют никакой цели, кроме получения удовольствия.

Непреднамеренная агрессия (случайное нанесение ущерба), игровая агрессия (учебные тренировки, не имеющие разрушительных целей), агрессия как самоутверждение (наступательность, необходимая для достижения цели), оборонительная агрессия (как реакция на угрозу жизненным интересам), агрессия как выражение потребности в свободе, конформистская агрессия и инструментальная агрессия как стремление к тому, что желательно, — все это, считает Э. Фромм, нормальные формы поведения человека в обществе. Они служат делу жизни.

Злокачественная же агрессия связана со специфическим влечением мучить и убивать, поскольку при этом испытывается, как было сказано выше, удовольствие¹⁶.

К. Лоренц рассматривает внутривидовую агрессивность как функцию биологического выживания рода. Он видит в человеке лишь продолжение биологического вида, цельного в своей инстинктивной определенности. И это весьма сомнительно. Если агрессивность носит инстинктивный характер, то остается неясным, почему она проявляется по-разному у различных людей и обретает бессмысленную форму. Специфика инстинкта — это рациональность и единообразие действия у всех без исключения представителей данного вида.

Другой стороной односторонней биологизации человека является не менее искусственное превращение живого мыслящего человека в бездумного робота. Это новая форма самоизоляции человека от тех нравственных проблем, которые не могут решаться разумом.

Аналогичную функцию может выполнять рождение новой мифологической волны. В этой связи нельзя не обратить внимание на реанимацию древних мифологических представлений в качестве символа родины, крови, расы, корня и вместе с тем хаоса смерти. Мать-Земля — это почва всего живого и вместе с тем его могила. Классический тип этого представления — индийская богиня Кали, богиня смерти и разрушения. Любовь матери невозможно заслужить, ибо она не ставит никаких условий, но и ненависти ее невозможно избежать, ибо для нее также нет «причин».

На фоне таких мифологических представлений кажется более рациональной интерпретация жизненных злоключений человека как следствия влияния на его судьбу тех людей, которые реально желают ему зла. Когда очевидцы сталкиваются с такими явлениями, как движение Мау Мау в Кении, которое характеризуется как тайная секта, стремящаяся к дикости и ведьмовству, то они пытаются объяснить их возникновение по аналогии с известными социальными явлениями — движениями за независимость или колдовской практикой в Европе. Между тем неприличные ритуалы, характерные для этого движения, не укладываются ни в одно привычное представление. Ритуалы и клятвы, присущие адептам этого движения, направлены на то, чтобы развязать все сдерживающие неприличные формы поведения узлы. Инструкции по каннибализму и сексуальным ритуалам в ходе церемоний принятия клятвы более изобретательны по сравнению с любым европейским учебником по ведьмовству или с африканской мифологией. Приверженцы Мау Мау дают клятву в том, что они по первому требованию совершат подвиг или убийство врага, если даже этим врагом окажутся отец или мать, брат или сестра.

Человек становится подлинным приверженцем правил Мау Мау, если он признается в самых низменных поступках, которые совершил. Речь, таким образом, идет о том, чтобы выявить свою низменную сущность, а затем стать сознательным участником движения, которое такого рода сущность превращает в общий принцип

¹⁵ Фромм Э. Душа человека. М., «Республика», 1992, с. 19—20.

¹⁶ Там же, с. 189.

поведения. Этот принцип отвергается для того, чтобы адептов сделать потенциальными предателями в отношении всех, не входящих в круг движения Мау Мау.

Мы имеем дело со специфическим смещением эмпирической ментальности, свойственной науке, с фетишистским сознанием. И в том и в другом случаях абсолютным ориентиром служит конкретный эмпирический ориентир — движение, партия, лидер, а не принцип как таковой.

Правомерно предположить, что эмпирическая нравственная ориентация и делает неизбежным массовое насилие, становящееся следствием войны всех против всех. В этой ситуации и выявляется специфическая социальная функция антропоцентрической философии.

Антропоцентрическая философия и ненасилие

Антропоцентрическую философию можно считать реалистическим взглядом на ситуацию современного человека, утратившего защиту высших сил и вместе с тем осознающего собственное бессилие.

Антропоцентрическая философия легитимизирует приоритетный характер защиты индивида. Эта защита имеет две основных ипостаси.

Первая — определение прав человека и утверждение необходимости их гарантий в государственном законодательстве и политике. Эта линия кажется наиболее существенной в обеспечении надежности бытия.

Вторая — изменение характера сакрализации, видения той высоты, которая определяет отношение человека к самому себе. Это позволяет понять скрытые мотивы поведения.

В XX веке в поле зрения социальных исследователей оказываются массовые проявления садизма и мазохизма. Из индивидуальных явлений они превращаются в социальные.

Настоящий садист, отмечает в этой связи Э. Фромм, — человек, одержимый страстью властвовать, мучить, унижать других людей. «Садизм (и мазохизм) как сексуальные извращения представляют собой только малую долю той огромной сферы, где эти явления никак не связаны с сексом»¹⁷.

Садизм дает ощущение абсолютной власти над другим существом — это один из способов самовозвышения. Садизм, согласно Э. Фромму, «есть превращение немощи в иллюзию всемогущества»¹⁸.

Всемогуществом, хотя и иллюзорным, теперь может обладать рядовой человек.

Иллюзия всемогущества, однако, имеет своим истоком и определенную реальность. Индивид, следующий зову всемогущества, вызывает у людей страх и трепет. Страх обусловлен возможностью быть подвергнутым самому гнусному унижению; трепет порождается изумлением перед абсолютной свободой. Она кажется реальной именно потому, что ее суть выходит за пределы всякого смысла. Это свобода духовных уродов.

Но существует и магия абсолютной свободы. Ее природа не совсем ясна. Здесь ясно лишь то, что она проявляется в способности бытия в крайностях. С этим связано возрастание риска бытия. В современных условиях наблюдается усиление общественного внимания к принципу ненасилия. Это вызвано стремлением вывести жизнь человека из расширяющихся зон риска. С ростом общественных движений, следующих этому принципу, оказывается связанным и кризис традиционных форм государственного регулирования общественной жизни.

Содержание принципа ненасилия, конечно, неоднозначно. Исторически в практике жизни складываются альтернативные — «жесткие» и «мягкие» — варианты применения принципа ненасилия. Это отчетливо прослеживается в религиозных традициях Индии. В джайнизме следование учению ахимсы (ненанесения ущерба) приняло настолько радикальный характер, что случайное убийство любого живого существа, даже насекомого, считается серьезным препятствием на пути к кармической чистоте.

В буддизме акт убийства считается состоявшимся лишь при наличии пяти условий: нечто должно жить; килер должен знать, что нечто является живым; он должен иметь осознанное намерение убить; должен быть свершен акт убийства; нечто должно в действительности умереть.

Буддист может питаться мясом, и это не будет считаться грехом, поскольку он не принимает непосредственного участия в убийстве животного. Буддист может пользоваться вооруженной защитой, поскольку он не планировал убийство.

¹⁷ Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности, сс. 246—247.

¹⁸ Там же, с. 252.

Человек реально стоит перед фундаментальной нравственной проблемой: компромиссное следование принципу ненасилия представляется правильным, но оно делает невозможной жизнь самого человека. Способен ли человек выбрать свою смерть ради того, чтобы следовать истине принципа? Когда человек сталкивается на деле с проблемой использования насилия и даже убийства для сохранения своей жизни, как и жизни близкого ему человека, наступает момент истины.

Человек жаждет вечности бытия тех реалий, без которых его жизнь лишается позитивного смысла. Стало быть, к пониманию подлинности сверхъестественного мира человек приходит через открытие абсолютной значимости для него эмпирических реалий особого рода. Сверхъестественное «разлито» в эмпирическом, но таким образом, что оно выявляется в восприятии отдельных индивидов как сверхъестественное **для них**. Общее сверхъестественное также возникает не как абстракция, а как общий индивидуальный символ.

Например, Будда, конкретная личность, определившая истинный путь жизни, обретает характер общего символа и становится Богом. То же самое происходит с Иисусом Христом, но через насилие над ним. Применение насилия к Иисусу Христу оказывается не обычным актом убийства. Насильственная смерть Христа воспринимается как нравственная необходимость для окончательного выявления его сверхъестественной сущности. После воскресения римские палачи оказываются в нравственном лепрозории и должны принять кару.

В реальной истории палачи и их жертвы постоянно меняются местами. Перемена мест определяется изменением знака освящения. Это может быть и религиозное, и теоретическое освящение. Рациональный смысл сущности освящения заключается в **открытии**. Открытие в данном случае не есть новое знание об объективности, а видение истины бытия. Это видение духовно наполняет жизнь и вместе с тем заставляет массу увидеть нравственную цель. Открытие на межличностном уровне есть создание истинного эмпирического мира. Истинная эмпирия — это мир особых отношений, наполненных смыслом. Человек знает их высокую ценность. Характер особых отношений определяется тем, что каждая их составная — фундаментальный аспект жизни индивидуальности. Именно эта жизнь становится микрокосмом благодаря включенности мира в его внутреннюю духовную жизнь. Всеохватная наполненность создает реальное чувство бесконечности. Вне микрокосма нет подлинной жизни. С этим и связано позитивное сакральное чувство, которым наполнен человек, несущий микрокосм внутри себя.

В своем эмпирическом воплощении абсолютное обретает многообразные, в том числе социальные и этнические, формы. Социальное и этническое абсолютное формируют пограничные линии насилия и ненасилия. Эта закономерность начинает действовать уже в отношениях духовных единоверцев.

Внутри протестантизма, например, противопоставившего Ватикану подлинное истолкование Нового Завета, возникли течения, отказывающиеся от ношения оружия и насилия (вальденцы, табориты, анабаптисты, меннониты, квакеры). И вместе с тем они подвергались преследованиям — вплоть до сожжения на костре — со стороны своих же единоверцев-протестантов. Ислам по своему определению является религией мира. Однако духовный лидер имеет право объявлять «газават» — священную войну мусульман против иноверцев.

В наше время принцип ненасилия нашел своеобразное применение в освободительной антиколониальной борьбе. Махатма Ганди, стремясь к тому, чтобы избежать кровопролития, рассматривал принцип ненасилия (ахимсы) под углом зрения несотрудничества с колониальными властями. Эта стратегия дала, как известно, поразительный эффект. Ненасилие как несотрудничество — специфически современная форма самовозвышения и нравственного воздвигновения. Социально высокий здесь унижается тем, что социально низкий ставит себя выше его в нравственном отношении. Вместе с тем это форма утверждения собственного высокого достоинства. Такое признание делает неэффективным в социальном смысле применение насилия.

Насилие создает вокруг себя безличностный псевдочеловеческий мир, удобный в том отношении, что составляющие его элементы соглашаются со своей ролью **средства**. Если эта цель не достигается, то насилие теряет социальный смысл. Здесь открывается совершенно неожиданная возможность противодействия деструктивному насилию через массовое осуществление принципа **позитивной самореализации**. Этот принцип открывает перед человеком возможность внести вклад в формирование цивилизационного кода, который наследуется из поколения в поколение. Через такую самореализацию человек приобщается к вечности. Через приобщение к бытию рода путем формирования его культурной парадигмы человек получает понимание истинного смысла бытия. Все остальные смыслы оказываются пеленой майи. Подлинный смысл обнаруживает путь к новой парадигме образа жизни.

От насилия к терпимости

Самое сложное в метаморфозе насилия — это одновременность, коллективность типа поведения. Коль скоро общие правила реализуются поведением большинства, возникает качественно новая ситуация: **социальная идентичность** индивидов.

Общие правила социальной жизни — это, конечно, насилие над волей индивидов, но такое насилие, которое может быть внутренне принято ими, оправдано с нравственной и правовой точек зрения и тем самым превращено в свою противоположность: став результатом нравственного и правового выбора, общие правила оказываются стержнем и базисом **социальной** свободы.

Исторически складываются различные типы обществ, в которых отношение к насилию становится основополагающим признаком социальной структуры.

Э. Фромм, опираясь на исследования выдающихся этнографов и антропологов и систематизируя данные о тридцати первобытных племенах, выявил системы трех разных типов отношения к агрессивности и миролюбиво: система А — жизнеутверждающее общество; система В — недеструктивное, но агрессивное общество; система С — деструктивное общество¹⁹.

В системе А того, кто ведет себя недружелюбно или агрессивно, считают ненормальным. Для такого общества характерны: коллективное выполнение работ, стабильность браков, стремление делать друг другу подарки, главной ценностью считается сама жизнь и все живое. Важнейшее место в системе А занимают песни, ритуалы и танцы. Мифы и легенды никогда не рассказывают об ужасах и опасностях. Иной социально-психологический строй жизни складывается в системах В и С.

В традиционном обществе социальная идентичность становится результатом **социального выбора**. Ценностные предпочтения большинства определяют тип социального поведения.

Информационное общество имеет определенные принципиальные отличия. Информация в ее различных формах оказывает влияние на основные стороны общественной жизни. Власть информации отличается от связанной с насилием политической и экономической власти. Это власть **знания**. В силу этого правомерно говорить об информационной стадии общественного развития.

Информационное общество обычно рассматривают как разновидность постиндустриального общества, характеризующегося универсальным охватом жизни информационными технологиями. Они создают предпосылки формирования такой среды, в которой человек получает возможность постоянно развивать свои **творческие способности**. Возникают практические проекты создания нового образа жизни. Японский исследователь Ёнеи Масуда выдвигает идею Компьютопии (аббревиатура слов «компьютер» и «утопия») — создания новых городов с инфраструктурой информационного общества. Основная цель — обеспечение процветания творческих способностей человека. Очевиден контраст этой стратегической цели с потребительским обществом, где главной целью считается материальное изобилие.

Какое место будет занимать насилие в информационном обществе? Ответ на этот вопрос связан непосредственным образом с определенным сущности **информационного сообщества**.

О нем имеет смысл говорить как о реальности, поскольку оно опосредует образ жизни человека, придает ему свою специфическую «траекторию». Культура информационного сообщества позволяет обеспечивать осмысленное взаимодействие, синхронизацию деятельности различных частей социального организма. Нарушение связей в структуре информационного сообщества приводит ко все более глубоким негативным последствиям.

Термин «сообщество» в данном случае употребляется для того, чтобы подчеркнуть его отличие от естественной и социальной общности, характеризующейся наличием внешних эмпирических различий взаимодействующих субъектов. Вне этих различий бессмысленно говорить о семейной общности, производственном коллективе, социальной организации. В информационном сообществе исходным является не внешнее эмпирическое различие взаимодействующих субъектов, а их тождество, основанное на общности знаний и ценностных ориентаций. Субъекты информационного сообщества образуют специфическое внутреннее тождество независимо от их естественных, социальных, этнических и иных различий. Так, современные информационные сети могут объединять сотни тысяч владельцев персональных компьютеров, получающих доступ к информации, содержащейся в центральной ЭВМ. Современные банковские системы, основанные на использовании информационной техники, позволяют каждому, имеющему соответствующую кредитную карточку, получать наличные в любом из автоматов, установ-

¹⁹ Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности, сс. 148—156.

ленных в данной стране и за рубежом. Индивиды здесь образуют сообщество, не вступая в непосредственный контакт и не зная друг друга. Такого рода отношения становятся важнейшим фактором формирования новой цивилизации. И, очевидно, в структуре таких отношений применение насилия не может дать какого-либо выигрыша. Вместе с тем, поскольку информационное сообщество создает условия для превращения в «свой мир» основных регионов мира, оно требует закрепления нравственной и правовой эмпатии (внутреннего контакта), обеспечения доступности информации на разных языках, постоянного развития и совершенствования информационной инфраструктуры.

Со становлением информационного сообщества неразрывно связана деятельность, направленная на создание идеального продукта, для которого материальное является лишь внешней оболочкой. Все более массовое производство и распространение идеальных предметов — это, по сути дела, создание продукта, который не исчезает при своем потреблении. Это новое социальное явление, последствия которого трудно оценить во всей полноте. Очевидно одно: что традиционная борьба за обладание материальными ценностями и связанное с ней насилие должны в этой сфере претерпеть глубокую трансформацию.

Соответственно претерпевают изменения и представления об экономически господствующих классах, поскольку общество теперь определяется в точках соединения науки, производства, финансов, кадровых и материальных ресурсов.

Возникают новые тенденции и в распределении власти. Власть начинает сливаться с субъектом, который является носителем компетентности. Предпринимательство, управление становятся тем видом деятельности, которая непосредственно связана с умением производить и использовать информацию. Происходит глубокая ревизия традиционных типов внешней (предметной) и внутренней (духовной) самоидентификации личности. Человек теперь утверждает себя путем постоянного заполнения информационного вакуума, превращаясь в интеллектуальную сущность, которая взаимодействует со своим окружением. Физическая сила человека становится лишь фактором здоровья, физической культуры, а нравственная сила тяготеет к нахождению компетентных решений возникающих социальных проблем. На этой почве возникает определенный духовный кризис, связанный с тем, что в системе отношений информационного сообщества снижается значение и индивидуальности как самостоятельной ценности. Формализация и алгоритмизация входят в структуру бытия широких слоев населения. Поведение становится все более конформным. Происходит сдвиг в сторону повторяющихся ритмов жизни, признания пользы и удобства общепризнанных тривиальностей. Это относится и к взаимодействию граждан и социальных институтов, которое регулируется теперь социальной информацией. Социальная информация входит в само понятие власти.

Это оказывается верным и применительно к возросшим техническим возможностям влияния человека на окружающий мир. Возникает необходимость адаптации понятия «виртуальная реальность» к системе информационного обеспечения. Виртуальную реальность в этом смысле следует понимать как действующую возможность. Если, например, эпидемия СПИДа охватит большинство населения определенной страны, то можно предвидеть, что эта страна станет «свободной» от человеческого присутствия. Судьбы народов во все большей степени начинают зависеть от осмысления виртуальной реальности и коррекции своего поведения. Это меняет традиционные механизмы внешнего давления на социальное поведение. Происходит медиатизация политики. Технотелемедиумы — все множество технологий передачи информации путем изображения и звука — начинают играть определяющую роль в исходе политических схваток.

Новый смысл обретает сегодня и традиционный вопрос: «Что есть истина?» Если раньше истина определялась характером религиозного откровения или принципами разума, то теперь она зависит от того, в каком информационном поле оказывается человек.

Под информационным полем следует понимать то пространство, в котором действуют носители информации, способные вызвать ее восприятие, индуцировать тип образа жизни и направленность действий. Индивиды теперь узнают друг друга и определяют свое внутреннее тождество по типу информационного поля, в котором они находятся. Разрыв с традиционными детерминантами в определении жизненных предпочтений особенно наглядно проявляется у так называемых «фанатов»! Их субъективный выбор становится для них приоритетом. Они как бы сливаются с символом, который может иметь облик человека или даже предмета.

Все это радикально меняет структуру социального самоопределения. Раньше оно отталкивалось от общей истины бытия, разделения всех явлений на истинные и неистинные. Влияние информационных полей ставит все явления культурной реальности рядом друг с другом, делая их потенциально равнозначными.

Информационная открытость современного мира становится той аркой, через которую осуществляется контакт традиционных культур с современной информационной культурой, обеспечивая возможность постоянного их диалога. В этом состоит шанс предотвращения глобального столкновения цивилизаций.

В процессе своего цивилизационного развития человек вышел за рамки естественных законов, определяющих отношения в мире животных. В нем различные виды хищных животных имеют в качестве пьедестала своего бытия популяцию травоядных, играя роль их «санитаров». Если исчезнут травоядные, погибнут и хищники; не будет хищников, начнется биологическая деградация травоядных.

Человек находит такие источники существования, которые не связаны непосредственным образом с уничтожением животного мира. Вместе с тем в целом как вид он находит источники своего существования в различных формах биосферы.

Формируя свой мир, определяя его измерения и качества, человек развивает у себя способности сужать сферу использования насилия. Использование насилия как решающего средства достижения величия создало свою историческую инерцию в человеческих отношениях. Набирая силу вместе с ростом технического могущества, эта инерция привела человечество к потенциальной возможности собственного самоубийства. В этой критической ситуации возникает новый аспект понимания человеком собственной сущности. Давно известно, что сущность человека можно описать лишь с помощью противоположных категорий. Но лишь в XX веке возникает тезис, согласно которому все противоположные категории в конечном счете сводятся к основной биологической дихотомии между инстинктами, которых человеку не хватает, и самосознанием, которого бывает в избытке²⁰. Избыточность самосознания увязывается с другим трагическим раздвоением: между чувством свободы и чувством ответственности, между добром и злом, радостью жизни и экзистенциальным страхом, порождающим глубокое отчаяние.

Горе от ума становится теперь горем от наличия в человеке разума, способности осознать трагическую сущность своего бытия и неспособности определить основания его подлинной надежности.

Те формы насилия, которые носят глобальный характер и ставят под угрозу существование человечества, непосредственно связаны с попытками найти основания абсолютной надежности. Эта ситуация ставит под сомнение представления, согласно которым позитивные качества, такие, как взаимное доверие, сотрудничество и альтруизм, вмонтированы в структуру нервной системы (Р. В. Ливингтон), или что существует биологическая совесть (К. фон Монаков), обеспечивающая стремление к совершенствованию, радость и чувство безопасности.

Сегодня, видимо, необходим новый взгляд на природу исторически сформировавшихся цивилизаций. Их следует рассматривать в качестве тех социальных форм, в которых потенциальная война всех против всех превращается во взаимодействие индивидов в соответствии с определенными правилами общественной игры.

Информационное общество — это новая цивилизационная реальность, которая соединяет константы жизни локальных цивилизаций и информационные универсалии. Это такое общество, которое может выжить лишь в том случае, если превратит толерантность из индивидуальной установки человека в образ жизни социума.

Вместе с тем становление информационного общества создает предпосылки информационных катастроф. Это могут быть катастрофы технические, связанные с неполадками в информационных системах и программах, но это могут быть и катастрофы гуманитарные, связанные с разрушением нравственного и социального кода, обеспечивающего гармоничное развитие общества.

Если мы правильно осознаем специфику информационного сообщества в контексте обострения глобальных проблем, то мы уже начинаем двигаться тем путем, который ведет к нейтрализации грозного потенциала информационных и цивилизационных катастроф, накапливающегося в процессе стихийного развития. Вместе с тем мы сознательно начинаем работать над созданием адекватных механизмов, ограничивающих сферы действия насилия, с одной стороны, и расширяющих поля толерантности — с другой.



²⁰ Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности, с. 196.

По ту/эту сторону стекла

•
**Алексей Пурин. СОЗВЕЗДИЕ
РЫБ. Стихотворения. М., Спб.,
«Atheneum», «Феникс», 1996.**

•

Зачем тебе Алжир, зачем Китай?

Г. Иванов

Дежурная постсоветская обложка в стиле «честная бедность». Дежурный советский формат поэтических книжулеч. Первому взгляду решительно не за что зацепиться, кроме, конечно, фамилии автора. С него-то и начнем.

Книга начинается фотографией поэта. Поэт Пурин смотрит на читателя взором, строгость которого подтаила от безнадежной усталости. Сумеречный взгляд. За плечами автора (обтянутыми легкомысленной маечкой) встает не неявный садово-парковый ансамбль Петербурга, а книга, точнее, Книга, — тяжело давшаяся, тяжело давшая себя написать. Ясно, что благородных ямбов с хореем про любовь и природу с литературой мы там не обнаружим. Курчавая пушкинская тень на нее не ляжет, смуглые когтистые пальцы не цапнут струну-другую сей лиры, словно виноградину из богемской вазы.

Впрочем, обдуманно жест в сторону золотца русской поэзии все-таки сделан. «Пейзаж за стеклом», последний стихотворный цикл книги, имеет следующий эпиграф:

От меня вечер Леила
Равнодушно уходила.

Этим стихотворением закрывается любое собрание пушкинской поэзии. Дата написания — 1836 г. За равнодушным уходом «насмешницы нескромной» последовали лишь поиски секундантов, кинематографично алая кровь на белом снегу и тайные похороны. Редкий стихотворец, будучи на свободе и в полном здравии, завершает свое служение Музам столь безнадежно-грустным аккордом. Последние строки последнего стихотворения Пушкина звучат так:

Сладок мускус новобрачным,
Камфора годна гробам.

Без комментариев.

Фамилию Пурин от Пушкина мало что отличает: стоит только поменять шкодливую парочку «шк» в серединке на угрюмого однолюба «р». Нехитрое фамилиеведение подскажет, что мы имеем дело с, во-первых, адептом «чистого искусства» («rigus» по-латыни — «чистый») и, во-вторых, с поэтом современным — лира его дребезжит, словно звук «р» в середине его фамилии. В неласковый для поэзии «железный век» лучшие лиры дребезжат; честь этого открытия, кажется, принадлежит Баратынскому.

Вернемся, однако, к камфорному эпиграфу. Что за Леила уходит от Пурин в последнем цикле его последней книги? С пушкинской Леилой все ясно — это Муза, а вот с пуринской — нет. Муза его, кажется, при нем, ведь Пурин — поэт *par excellence*, как Бодлер, Верлен, Блок; а вот Александр Сергеевич таковым не был, то есть он был и поэтом гениальным, и столь же гениальным прозаиком. Потому и клонили его года к суровой прозе. С «чистыми» поэтами иначе. Они сочиняют стихи (и, быть может, побочно нечто другое) либо не сочиняют ничего; Муза всегда при них, а если она уходит, то письменного извещения о том читателям не поступает.

Чтобы персонифицировать пуринскую Леилу, посмотрим, о чем же последний цикл «Созвездия Рыб», что за пейзаж растапливается за стеклом, за стеклами очков автора. По ту сторону сумеречный (как не вспомнить Баратынского) взгляд, а по эту:

Нет ни счастья, ни злодейства
в мире, губы не криви,—
только пакость лицедейства
и тоска полулюбви.
В талой жиже безразличья,
на безличной скользоте —
нет двуличья и величия,
только пуля в животе...

Пейзаж, что ни говори, впечатляющий. Прежде всего обратим внимание на густоту отрицательных частиц и приставок, намекающих на некий ущерб: «нет», «ни счастья», «ни злодейства», «не криви»,

«нет двуличья», «безразличья», «безличной». Закроем список «тоской полулюбви». Одно слово из цитированного отрывка откликается на «равнодушную Леилу» — «безразличье». «Равнодушие» и «безразличие» — почти синонимы; пушкинская Леила «равнодушна», пушкинский «пейзаж за стеклом» (читай — «мир») — «безразличен». Пушинская Леила — весь мир; мир уходит, точнее, отворачивается от поэта, а вот он от мира отвернется не может и потому обречен цепко всматриваться усталым взглядом в обрыдлый пейзаж за стеклом.

Мир этот эклектичен, безлюб, безнадежен. «Железный век!» — воскликнем мы и снова вспомним о Баратынском. Что может быть естественнее для русского поэта (считающего себя «последним»), как помяться на военной службе, десяток-другой раз нарезать на литературских пьянках, потом разругаться с приятелями, сумеречно взглянуть на мир в последней книге и отправиться умирать в Италию. Имею в виду не только Баратынского, но и Батюшкова; однако последний физически оказался крепче, а психически — слабее, поэтому сошел с ума в Италии, а умер в Вологде.

Пушин, слава Богу, ни сходить с ума, ни умирать не собирается, поэтому выпускает свои «Сумерки», где совершает массу литературных путешествий: в Александрию («...город Птолемея / расцветает — роза всех ветров»), в Средиземноморье («море Средиземное... Земная / соль, живородящая вода»), на Восток («От Бригантина до Трапезунда все / города уставлены сном...»), наконец, по русским городам — в Ярославль (цикл «Письма вслепую»), в Вологду («Вологды кулек измятый»), в Михайловское, как бы сопровождая пушкинский труп:

Ничего печальней Луги
нет и санного пути!
Ритуальные услуги,
вечной славы конфетти.

В общем: «Мне зеленая Босния снится...»

Выражаясь психоаналитическим языком, пушинские литературные путешествия — та самая «сверхкомпенсация», которая «снимает дефект» Смерти. А ее, родимую, ой как надо «снимать»:

Потому что — точно: зазор все уже,
капилляр все тоньше, Коцит все ближе.

Так что, забегая вперед, скажу: в следующей своей книге Пушин вряд ли появится в баратынском сюртуке «последнего поэта». Элегическая смесь грусти и желчи — не самый вкусный коктейль; тем более что Бродский уже выпил его до дна.

Но пока, в «Созвездии Рыб», наш поэт занят только одним: запечатлением черт потерявшего смысл, остывшего, усталого мира, которому нет дела ни до поэзии, ни до самого себя. Мир «равнодушно у-

дит» из положенного ему места в оптике наблюдателя, дробится в постмодернистскую мозаику, в ruzzle, состоящий из бесконечного количества элементов.

И любовь здесь под стать всему остальному. Она бисексуальна (то «Как люблю я ходки эти — страх! — / стрелкой вверх, а гирьками вниз...»), то «Непорочна Сучка, пока твой ствол / точно папский скипетр, кольцом горячим / держит...»), так сказать, политически корректна («Аравийский запах твоих кудрей»), вполне в духе времени.

Нас много: нас, может быть, двое —
С мяучащим адом во рту,
сплоченных извечной задачей:
Благую улещивать Весть
искрящей шерстью кошачей
и долнього лещика съесть.

Иеремия Бентам был бы доволен: «Созвездие Рыб» превращается в «астрологию», «астрология» — в «ихтиологию» («Не астрология, пожалуй — / ихтиология, увы...»), «ихтиология» — в поедание «долнього лещика». Самый жаркий любовный цикл книги называется «Апостериори».

О «железном веке» — хватит. Давайте о «последнем поэте». Любви нет. Давайте о ненависти.

Как истинный «только поэт», «поэт по преимуществу», Пушин ненавидит (то холодно, то раздражаясь бранью) «литератора», особенно успешного, бонзу и брахмана, по большей части «литературоведа». И здесь он (осознанно или нет — вопрос особый) следует за Блоком. В дневниках автора «Возмездия» то и дело: «литераторы: Аничков опротивел, прости меня, Господи», «всякий Арабажин (я не знаю этого господина, он — «только символ») есть консistorский чиновник, которому нужно дать взятку...», наконец, совсем уж неприличное: «Боборыкин — сволочь». Впрочем, какие могут быть приличия у символистов? Пушин в критической прозе более сдержан (см. его книгу «Воспоминание о Евтерпе»), пытается что-то разъяснить читателю, потому не совсем убедителен. А вот в стихах грубовато-изящен:

Серый нем зеркал —
но свинцов — ответ:
ты, Батил, ласкал
не Леил, а бред;
не Вафил — бахил,
не жбига, жал...
Спи. Ты — пир бацилл,
логофага жар.

Угадай, читатель, о каком это Аничкове/Арабажине?

Блок часто возникает в моем тексте совсем не случайно. Пушину принадлежит одно из самых звонких определений хулигателя почтенных литераторов. «Блок — розовощекий лирический вампир», — пи-

шет он в эссе «Тот Август» (отсылаю все к тому же «Воспоминанию»). «Ай-яй-яй!» — воскликнет непросвещенный читатель. И будет не прав. Перед нами шедевр маскировочного искусства, образчик блестящей и почти бесполезной мимикрии. Ругаем Блока, «символятинку вообще», и вот мы уже в компании почтенной и безошибочно правильной: Мандельштам, Николай Степанович, Анна Андреевна, Анненский. В перспективе маячит римский профиль покойного нобелевского лауреата. Блестят очки — велосипеды раннего Заболоцкого. Картавый господин с козлиной бородкой напекает образчики «прекрасной ясности».

Борхес dixit: каждый писатель создает своих предшественников. Рискну добавить: за каждым писателем тянется три эволюционных хвоста. Первый — для публики; так Набоков возводил себя к некоему Делаланду, а тот же Борхес — к Де Куинси. Вот она, маскировка, ради которой наш поэт обозвал Блока «лирическим вампиром». Второй ряд — генеалогия, собственным нутром прочувствованная. Рискну предположить, что Пурин считает себя «последним символистом», точнее, «последним поэтом символистской эпохи»; и Блок, и Вяч. Иванов (первый — поэтическим темпераментом, второй — фонетической одержимостью) пусть не отцы, но уж непременно его дядьки. Третий же (истинный) известен одному Богу, который, забавляясь, может порой насадить прозу Кафки на интонацию неведомого последнему Геральда Валлийского (1146—1227 гг.). Тем больше радости в попытках разгадать горний замысел...

Что ж, попробуем. Переместимся в чудовищно жестокий, багряно-черный XVII век, век холоста Тридцатилетней войны, постной морды Кромвеля, изощренно-роскошной контрреформации; век Кеvedo, Гонгоры, Донна, позднего Шекспира, аукнувшийся недавно бессмысленным великолепием гринуэвских фильмов. Начнем переключку.

Кеведо: «...сейчас я выведу на позор наиболее его заслуживших, а именно: Диагор Мелийский, Протагор Абдерит, ученики Демокрита и Феодора (прозванного Безбожником), и Бион с Борисфена, ученик нечестивого и безумного Феодора».

Пурин:

От Арзрума до Ростова —
вдоволь выюги и айги,
вдосталь снега холостого,
от лугзи, мезги — ни зги...
Пригов, пасынок Хвостова.
Сват Кибиров, брат пурги...
Среди воя их пустого
сбились наши битюги.

* С удивлением обнаружил в этом мудреном речитативе интонацию стихотворных экспериментов покойного А. М. Кондратова.

Следующий! Гонгора:

Пока соцветье губ твоих цветет
Благоуханнее гвоздики ранней
И тщетно снежной лилии старанье
Затмить чела чистейший снег и лед...

(Пер. С. Гончаренко)

Наш поэт продолжает с несколько гидрографическим уклоном:

Я глаза раскрою во тьме, а ты
воплотись, приснись наяву
теплотою дышащей наготы:
это ветер клонит траву,
а теченье водоросли... Чисты
мои помыслы: я плыву.

Я целую губы, ключицы, грудь —
и Гольфстрим несет меня вниз...

Наконец, Джон Донн. Настоятель собора Св. Павла, теолог, начинает (по созвучию) с ихтиологии:

Любовь глотает душу не жуя.
Как связки ядер, в прах она громит полки.
Любовь есть Щука, а сердца Мальки.

(Пер. А. Парина)

Пурин уныло соглашается:

Любовный шепот, залежалый
пожар, пожива для молвы...
Не астрология, пожалуй,—
ихтиология, увы...

Слово «увы» станет сочтаться слезами двенадцать страниц спустя:

Вообще — расстроено фортепьяно
бессердечное... Нил, говоришь, течет?
Присмотрись — не слезы ли Адриана?

Донн, как истинный англичанин, неравнодушен к Нилу, Африке и колониальной теме в целом:

На шар слепой
По трафарету нанести попробуй
Хоть Африку, хоть Азию с Европой:
Вмиг из слепого шара стал — земной.
Так каждый раз
Слеза из глаз
Вмещает целый мир, тобой творимый;
Пока, моим вослед, из глаз любимой
Не хлынет слез прилив, весь мир сметая
зримый.

(Пер. В. Топорова)

Воистину — эротические империалисты... И пусть мои домыслы о божественных поэтических играх ушли «в молоко», но в «Созвездии Рыб» я бы поместил иной портрет автора: белоснежный кружевной отложной воротник на черном кафтане, завитые локоны, вандиковская борода. Взгляд: тот же. И, конечно, никаких очков. Поэт барокко.

Сбой программы

Чингиз Гусейнов. ДИРЕКТОРИЯ ИГРА.

М., Издательский Дом Русанова. Серия «Новая московская проза», 1996.

Любой прозаик скажет, что он из себя пишет: в основе даже самой отвлеченной коллизии почти всегда лежат личные обстоятельства. Тем более если сюжет — из нашей «жизни», нашего времени. Детали, конечно, художественно перерабатываются, но. Съездил к морю, завел любовницу, купил машину или компьютер. Значит, переход на компьютер или духота в купе, пусть мимоходом, у какого-нибудь необязательного персонажа в речи обязательно всплывут. Чтоб было. Как Плюшкин: все в дело, все сгодится.

Более фундаментально: а зачем вообще все это затевается, зачем прозаик сидит и пишет? А просто он реальность свою упорядочивает. В стихии окружающего хаоса нужно (иначе мочи нет) разделить важное и второстепенное, разложить по полочкам. Моделируя тем самым призрачную власть над миром. Запихивая в текст реалии, сохраняя их в единственно правильной «редакции», писатель отстраняется от них.

Компьютер мирволит двойному отстранению: и от реальности (которая вызывает к жизни некий текст), и от самого текста. Который как бы закавычивается рамкой дисплея. На улице — ветер и слякоть, дома — отсутствие стабильности и денег, в телевизоре — Чечня-война, все буйствует, кружится-мелькает, претендуя на твое здоровье-вниманье-время. А здесь мирно журчит процессор, а голубой экран настраивает на медитативное раскачиванье-раскручивание некоего орнаментального текста — именно орнаментального. Потому как ограниченное пространство экрана не позволяет охватить произведение целиком, и приходится толочься на маленьких пятачках, до самозабвения оттачивая стиль каждой виньетки. Каждый файл тянет одеяло на себя — пока ты им занимаешься, он главный. Потом переходишь к другому, и трудно состыковать два разных состояния — «до» и «после». Тогда придумываешь новую (но и как бы старую) реальность текста. Который разворачивается, как свиток, до бесконечности. До отторжения.

«И тут кто-то спросил о жанре, комедия или трагедия?»

— *Опыт игрового повествования, претендующего на роман». Да.*

Многие вспахиватели Чистого Листа пересели за компьютерные тракторы. Внутри технологии зарождается какая-то новая эстетика, и любой неофит обречен мутировать в сторону Полной Луны. Иное дело, когда за стального коня садится писатель «старшего поколения». Он-то прекрасно понимает (или все же не понимает? Процессы-то в большинстве своем идут на подсознательном уровне), **какие** возможности открывает эта машинка. Но себя уже не переделать. Можно, конечно, постараться (как Гусейнов), но с неба на небо не перепрыгнешь. Это не плохо и не хорошо, это данность. *«А компьютер? — При чем тут компьютер?! — Как Alter ego». Вот именно!*

Все вроде бы правильно: главы-файлы, некое игровое пространство (протицирую аннотацию: «Действие разворачивается на Горбатой Площади, где творятся деловые игры: политические — с захватом власти, этнические — с разделом территорий, словесные баталии, игры-пытки, игры-войны, любовные игры-авантюры...»), но по сути — достаточно традиционное письмо, традиционные сюжеты (немного гротеска, шепоть лирики etc). Однако в книге все это выглядит как диалог с компьютером, с Alter ego: автор и чудо враждебной техники беседуют на только им одним понятном языке. Эзотерика — полнейшая. Программа запущена, но как на ней работать, нам не объяснили, усилия по дешифровке требуются весьма и весьма затратные. Похожей методой пользуются в поэзии метаметафористы, вынося предмет описания за скобки и никак в тексте онный не обозначая. Остаются одни ассоциативные навороты, мясо без костей. То есть радиоактивный след, а не комета. Но что хорошо в небольшом лирическом стихотворении... Игра — игрой, но обед, пожалуйста, по расписанию: нужно же уважать мои читательские права! Я-то тут при чем: сидит человек и что-то весьма витиеватое говорит. Ключ где?! Где ключ?!

Понятно, что что-то происходит, проистекает некое действие, масса аллюзий и отсылок к современным политическим событиям и реально действующим политикам (тоже, как в каком-нибудь катаевском «Алмазном венце», шифрованным-перешифрованным), но движется от намека к намеку, от экивока к экивоку. Вот и думай, что да как.

Все это накладывается на некую избретенную писателем «игрологию», которая и является базисом всего происходящего. Рассказчик всю жизнь посвятил различным аспектам этого учения. Коро-

че, совсем, бедняга, заигрался. А теперь, после трудного дня трудового, сидит за компьютером и как бы свой дневник заполняет, анализирует, что сделано и что сделать... Апофеоз игрологии, сочащейся из всех щелей утомленного сознания.

Наиболее человечны главы, посвященные разборкам Мустафы, Alter ego писателя, со своими женами и возлюбленными («особый раздел **игрологии**»). Поэтому как, видимо, здесь из сферы полной абстракции Гусейнов переходит к обстоятельствам, весьма приближенным к реальности. Роман с женщиной как предпосылка к другому роману: «*Это наш с тобой роман*». Тепло, теплота переживаний здесь воспринимаются-передаются помимо слов, помимо текста... Но нет, политика занимает на этой директории куда больше места, чем. Что ж, обстоятельство куда более узнаваемые, зато ведь и более чужеродные, вовсе чужие, оставляющие в равнодушии.

«*Но если постоянно жить игрой как делом жизни, то не станет ли сама жизнь игрой?*» Человек (автор, писатель) вдруг (или не вдруг) отстраняется от своей жизни и, будучи существом предельно рефлексивным, начинает воспринимать все с ним происходящее как Игру. Игра в любовь, игра в книгу, игра в политику. Достаточно традиционный после освоения Хейзинги подход. Но в соединении с компьютером выходит нечто большее, чем просто рядовое такое отстранение. Сидишь себе, качаешься на стуле, медитируешь (арабские покая)... В памяти всплывают разорванные куски реальности, которые ты и склеиваешь в только тебе понятном порядке. Директория IGRA. Новая московская проза.

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ

Холодные руки Венеры

1. Дождь, вечное напоминание о покое, о том, о чем бы мы желали не думать или совсем забыть: о разладе в людях, о разгневанном божестве и о радуге, расцветшей в знак примирения, хотя спаслись отнюдь не многие. Впрочем, дождь вообще многолик, недаром он в дальнем родстве с Протеем.

Я использую его доброту, смену форм и возможность за каждой формой разглядеть определенный смысл, пусть изменчивый и текучий. Если влага напоминает время, то гремящий по мостовым и крышам ливень есть эмблема некоторых эпох,

скажем, такой, как эта. И, кому какое сравнение лучше, я вижу забывшихся в первую подворотню не людей, но — книги, будто люди, толкающиеся локтями, пытающиеся выставить крайних под дождь.

Выражение «занять свою нишу» подходит ныне мало каким людям. Впрочем, книги основанного в 1993 году частного издательства «Энигма» рождают мысль не о людях — о статуях. Перечислив названия серий и вышедшие или готовые выйти в этих сериях томики и тома, легко отвлечься, не заметить сложившейся картины.

Вот «Книга Сивилл», «Элевсинские мистерии» Д. Лауэнштайна, «История средневековой философии» Ф. Коплстона из серии научных и научно-популярных книг «История духовной культуры». Вот сочинения И. Тецлаф «Граф Сен-Жермен» и Л. Повеля «Мсье Гурджиев» из серии «Incognito», посвященной загадочным личностям, событиям, явлениям и местам. Вот «Rosarium», отмеченный именами не широко известного у нас француза Жерара де Нерваля и прекрасно известного француза Бальзака или немца Новалиса. Вот «Лики времени», обращенные к вечным проблемам, куда вошли книги К. Линдербера «Технология зла» и Х.-В. Шредера «Человек и ангел». Вот «Грифон», серия, представляющая те же проблемы в наглядных картинах, ибо книги ее адресованы детям, как, например, роман «Глиняный страж» о рабби Леве бен Бецали, создавшем Голема. А вот и внесерийные собрание сочинений Рудольфа Штайнера и трехтомник Фулканелли (известного тем, кто интересуется алхимией, а равно готической архитектурой).

А теперь поглядим чуть пристальней. Намеренно, нет ли издатели создали особое, пусть воображаемое пространство, где в чудесном, цветущем саду, вписываясь в гроты, возвышаясь на пьедесталах среди цветов, стоят прекрасные статуи-книги. В этом саду живут грифоны, здесь тайно растет мандрагора. Бродя по дорожкам, раскинувшись на траве, так приятно рассуждать об истории, о загадочных личностях и событиях. Это значит: культура — кому подворотня, проходной двор, кому — сад или дом.

И выпускающие книги под маркой «Энигма» ведают: сад требуется растить терпеливо, дом надо обустроить безотступно, а принимать гостей следует с открытой душой и ясным сердцем. И потому отменна полиграфия, строго и со вкусом подобрано оформление каждой книги. Что же до подготовки текстов, комментариев и предисловий, то с издательством связаны лучшие переводчики, литературоведы и культурологи. И редактора выше похвал, довольно сказать — главный редактор «Энигмы» Нина Николаевна Федорова. Знающий да поймет.

2. Но по какому принципу составляются эти серии? Итак, мистика. Вряд ли кто-либо точно ведаёт, что это такое. Тут присутствует некая сложность, которую хочется свести к более простому, понятному (может быть, потому во многих произведениях, причисленных к мистике, столь силен дидактический элемент). Добро существует не только по диалектическому единству со злом, добро существует в первую очередь как защита, то же можно сказать и о простоте, обязательно доброй, злой простоты нет в природе. А неизбежность — из иного ряда, из ряда зла (и из него старательно ищут выхода).

Вероятно, чтобы понять, почему в серии «Мандрагора» объединены те или иные книги, стоит обратиться к обстоятельному и толковому словарю, откуда следует: «Мандрагора (бот. *Mandragora officinarum*) — растение высокого символического значения. Его разветвленный корень (особенно после некоторой обработки) напоминает человеческую фигуру и вплоть до Нового времени высоко почитался как альяун (волшебный корень). <...> Как свидетельствуют многочисленные сказания, его одновременно высоко ценили и боялись. <...> Вообще он рассматривался как указание на силы, с которыми человек должен обращаться лишь с величайшей осторожностью».

Три тома, открывшие серию мистической прозы, слишком разные, и объединить их в силах лишь столь пространный эпиграф. Роман Франца Верфеля «Песнь Бернадетте» — о простой вере и простом человеке, крестьянской девочке, которой открылось нечто высшее (высшее и выражается через простое, еще один аргумент в пользу предположенного истолкования мистического). Слабое здоровье, бедность, темнота мысли — не помехи, напротив, они обязательная дань, отдаваемая за право приблизиться к необыкновенному. Что же до волшебного источника, исцеления больных, — это опять-таки внешнее, рассчитанное на тех простых людей, через каковых и идет высшее в мир. Внутренне человек богат, не понимая того.

Клод Сеньоль рассказывает о повседневном, в коем кроется сверхъестественное. Кого бы ни выбрал он героем повествования, девушку Мари, наделенную даром лечить волчьи укусы, кота Матагота (давшего именование книге), он опирается на народные верования и показывает: мистику порождает страх, пусть страх и мистика несоизмеримы. Почему коту приписывают волшебные свойства и обладание семью жизнями и семью смертями? Потому, что в коте существует нечто не подвластное пониманию: он, по посло-

вице, только пуще горбится, когда его гладят, и таинственно урчит нутром, выражая то ли удовольствие и благодарность, то ли единственно полноту собственного бытия.

Третья книга серии — рассказы и повести Мирчи Элиаде, сложенные в единый том «Под тенью лилии». В повести «У цыганок» толкуется о растяжимости времени и о выпадении временного ряда (постоянный мотив у Элиаде), а повесть о любви индусской девушки Майтрейи и европейца печальна и безысходна не по киплингговскому стиху о Западе и Востоке (ведь сказано: нет Востока и Запады нет, если встретился сильный с сильным, достойный с достойным).

О прочих, покуда не вышедших книгах возможно судить, даже не видя их, — авторы знамениты. Стефан Грабинский — сочинитель умозрительных историй в жанре «черной» фантастики, в его рассказах дидактика очевидна, они почти аллегоричны. Валлиец Артур Макен настоятельно доказывает: под пленкой разума прячется нечто ужасное, так стоит ли туда заглядывать. Это страшная и умная литература, скорее отвращающая от мистики, чем толкующая ее. Дино Буццати в рассказе «Как убивали дракона» говорит о трагическом конце чуда.

Кажется, книги подобраны безошибочно. Но недоумения вероятны. Не ведаю, кто решил назвать сборник из 99 рассказов Дино Буццати «Мастер Страшного суда», но это чужое название. Так назван роман Лео Перуца, чьи произведения нельзя позабыть, составляя серию мистической прозы. И чрезвычайно странно, что обойден молчанием Ганс Гейнц Эверс, сочинивший роман «Альрауне». Без него гуляющих в чудесном саду станет встречать пустой пьедестал, предназначенный для одной из лучших статуй.

3. Разумеется, остается выбор. Никто не обязан рушить сложившиеся привязанности и лишь из уважения, а то из моды читать перечисленные книги в ущерб другим. Кому-то слабые и живые люди дороже самых роскошных статуй. И, кстати, следует помнить: статуи существуют утратой. Потери, приобретенные с бегом времени, подчеркивают красоту оставшихся форм. Руки Венере ни к чему, камень холоден, им хорошо любоваться, но не обнимать, да и загадка должна оставаться загадкой. А совершенство — не полнота, оно нехватка, пришедшаяся в пору, воспринятая с благодарностью либо восторгом. И так хорошо на душе, особенно если прошел дождь, трава зелена и радуга высится в небе.

• Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ

Татьяна НИКИФОРОВА

«... ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО ЛЮДЯМ»

К истории собирания рукописного наследия Л. Н. Толстого

27 марта 1895 г. Л. Н. Толстой писал в своем дневнике: «Вчера думал о завещании Лескова* и подумал, что мне нужно написать такое же. Я все откладываю, как будто еще далеко, а оно во всяком случае близко. Это хорошо и нужно не только потому, что избавляет близких от сомнений и колебаний, как поступить с трупом, но и потому, что голос из-за гроба бывает особенно слышен. И хорошо сказать, если есть что, близким и всем в эти первые минуты». В первом своем завещании Толстой выражает желание быть похороненным там, где он умрет, «на самом дешевом кладбище, и в самом дешевом гробу — как хоронят нищих. Цветов, венков не класть, речей не говорить. Если можно, то без священников и отпевания. Но если это неприятно тем, кто будет хоронить, то пускай похоронят и как обыкновенно с отпеванием, но как можно подешевле и попроще».

В завещании Толстого нет никаких распоряжений относительно собственности: 7 июля 1892 г. Толстой подписал раздельный акт, по которому все недвижимое имущество, все денежные средства перешли от него к жене и детям. Толстой просил своих близких отказаться от авторского права на издание его сочинений, передать это право обществу: «Но только прошу об этом и никак не завещаю. Сделаете это — хорошо. Хорошо это будет и для вас, не сделаете — это ваше дело. Значит, вы не могли этого сделать. То, что сочинения мои продавались эти последние 10 лет, было для меня самым тяжелым для меня делом».

Почти половина первого завещания Толстого отведена судьбе того, что он называет «мои бумаги», иными словами, его личному и творческому архиву. Толстой просил: «Бумаги мои все дать пересмотреть и разобрать моей жене, Черткову В. Г., Страхову, <дочерям Тане и Маше> (что замарано, то замарал сам. Дочерям не надо этим заниматься), тем из этих лиц, которые будут живы. Сыновей своих я исключая из этого поручения не потому, что я не любил их (я, слава Богу, в последнее время все больше и больше любил их), и знаю, что они любят меня, но они не вполне знают мои мысли, не следили за их ходом, и могут иметь свои особенные взгляды на вещи, вследствие которых они могут сохранить то, что не нужно сохранять, и отбросить то, что нужно сохранить. Дневники моей прежней холостой жизни, выбрав из них то, что стоит того, я прошу уничтожить, точно так же и в дневниках моей женатой жизни прошу уничтожить все то, обнаружение чего могло бы быть неприятно кому-нибудь. Чертков обещал мне еще при жизни моей сделать это. И при его незаслуженной мною большой любви ко мне и большой нравственной чуткости, я уверен, что он сделает это прекрасно. Дневники моей холостой жизни я прошу уничтожить не потому, что я хотел бы скрыть от людей свою дурную жизнь: жизнь моя была обычная дрянная, с мирской точки зрения, жизнь беспринципных молодых людей, но потому, что эти дневники, в которых я записывал только то, что мучало меня сознанием греха, производят ложно одностороннее впечатление и представляют...»

А впрочем, пускай остаются мои дневники, как они есть. Из них видно, по крайней мере, то, что, несмотря на всю пошлость и дрянность моей молодости, я все-таки не был оставлен Богом и хоть под старость стал хоть немного понимать и любить Его.

Из остальных бумаг моих прошу тех, которые займутся разбором их, печатать не все, а только, что может быть полезно людям.

* Н. С. Лесков умер в ночь на 21 февраля 1895 г. Его завещательное распоряжение, составленное в дополнение к нотариальному завещанию и озаглавленное «Моя посмертная просьба», было опубликовано во многих русских газетах. — Т. Н.

Все это пишу я не потому, чтобы приписывал большую или какую-либо важность моим бумагам, но потому, что вперед знаю, что первое время после моей смерти будут печатать мои сочинения и рассуждать о них и приписывать им важность. Если уже это так сделалось, то пускай мои писания не будут служить во вред людям».

Одного из трех названных душеприказчиков Толстого — Н. Н. Страхова — не стало в 1896 г. Жена писателя и В. Г. Чертков, ближайший друг и помощник Толстого, человек, о котором Толстой говорил: «Он удивительно одноцентричен со мной», стали теми людьми, в руках которых постепенно накапливались две огромные части единого целого — творческого и личного архива Толстого. В письме к В. Г. Черткову от 13—26 мая 1904 г. Толстой, возвращаясь к своему завещанию, записанному в дневнике 1895 г., еще раз поручал Черткову вместе с Софьей Андреевной Толстой взять на себя труд пересмотреть и разобрать оставшиеся после него бумаги и «распорядиться ими, как вы найдете нужным».

По мере того как зрело решение Толстого уйти из Ясной Поляны, менялось его отношение к судьбе своих рукописей.

1 ноября 1909 г. Толстой подписал юридически оформленное формальное завещание на имя своей младшей дочери А. Л. Толстой. В объяснительной записке к завещанию Толстой выражал желание, чтобы фактически его произведения не составляли ничьей частной собственности и чтобы все его рукописи были переданы Черткову, который должен был заняться пересмотром их и изданием.

Окончательное завещание Толстого от 22 июля 1910 г., составленное на имя А. Л. Толстой, делало В. Г. Черткова единственным человеком, наделенным правом распоряжаться литературным наследием и рукописями Л. Н. Толстого. В объяснительной записке к завещанию, составленной В. Г. Чертковым, относительно рукописей говорилось следующее:

«... Л. Н. Толстой желает, чтобы все рукописи и бумаги (в том числе: дневники, черновики, письма и прочее и прочее), которые останутся после него, были переданы В. Г. Черткову с тем, чтобы последний, после смерти Льва Николаевича, занялся пересмотром их и изданием того, что он в них найдет желательным для опубликования...»

Текст объяснительной записки завершался собственноручной припиской Л. Н. Толстого: «Совершенно согласен с содержанием этого заявления, составленного по моей просьбе и в точности выражающего мое желание. Лев Толстой. 31 июля 1910 г.» Таковы были распоряжения самого Толстого относительно его рукописей и прочих материалов его архива.

Попытаемся проследить, как сохранялись и собирались рукописи произведений Толстого при его жизни. В молодые годы Толстой весьма равнодушно относился к своим черновикам. Много было потеряно, навсегда утрачено. Случалось такое и позже. Например, в ноябре 1883 г. Толстой писал Н. Н. Страхову:

«...Ах, да, со мной случилась беда, задевшая и вас. Я ездил на недельку в деревню в половине октября и, возвращаясь от вокзала до дому, выронил из саней свой чемодан. В чемодане были книги и рукописи, и корректуры. И книга одна пропала ваша... Все объявления ни к чему не привели».

Другой пример. Летом 1910 г. сгорел дом последовательницы Толстого Марии Александровны Шмидт в деревне Овсянниково в шести верстах от Ясной Поляны. В огне погибло все жалкое имущество «старушки Шмидт», погибли все письма Толстого к ней, подлинная рукопись толстовской «Сказки об Иване-дураке», рукописные списки многих сочинений, которые представляли собой последние исправленные редакции.

«У меня сгорело все. И самое мое дорогое, что составляло сущность моей жизни — рукописи Льва Николаевича и моя Шавочка», — писала М. А. Шмидт Т. Л. Толстой-Сухотиной после пожара.

И все же можно утверждать, что архив Толстого хорошо сохранился.

Первым человеком, который начал заботиться о сохранении автографов Толстого, была его дальняя родственница и воспитательница, — «тетенька» Татьяна Александровна Ергольская. Следуя усадебной традиции, Татьяна Александровна тщательно хранила деловые бумаги, счета, семейную переписку. В старинной шифоньерке в комнате Татьяны Александровны в объемистой шкатулке хранились детские рисунки и самодельные тетради с первыми сочинениями ее юных племянников, их многочисленные письма из Москвы, Казани, с Кавказа, из-за границы. Благодаря Татьяне Александровне до нас дошли первые литературные опыты самого Толстого: семь маленьких рассказов, написанных в 1835 г. семилетним «Графом Львом Николаевичем Толстым» для журнала братьев Толстых «Детские забавы», одно из немногих стихотворений Толстого, сочиненное по случаю именин Татьяны Александровны 12 января 1841 г., его ученические сочинения. Татьяна Александровна сохранила некоторые бумаги отца и матери Толстого. Письма мате-

ри к отцу и теткам Толстого были ему особенно дороги: они помогли ему представить духовный облик матери, умершей, когда ее младшему сыну Льву не было еще двух лет. Со смертью Татьяны Александровны Ергольской для Толстого разорвалась «одна из важнейших связей с прошедшим». Перебрав бумаги Татьяны Александровны после ее смерти, Толстой писал сестре 15 августа 1874 г.: «В бумагах ее видна ее чистая, милая душа и любовь, особенно к тебе».

С. А. Толстая с первых же дней замужества взяла на себя обязанности помощницы в творческой работе мужа. Ее роль переписчицы в ходе работы Толстого над романами «Война и мир», «Анна Каренина» и другими произведениями хорошо известна. Но далеко не сразу Софья Андреевна осознала важность сохранения черновых рукописей Толстого. Учитель старших сыновей Толстого, филолог И. М. Ивакин, в своих записках рассказывает о беседе с С. А. Толстой, состоявшейся в мае 1886 г.:

«Вероятно, разговор о рукописях Толстого и был причиной того, что я в тот же день вечером заходил к Толстым, видел графиню и говорил с ней про обещание Льва Николаевича отдать рукопись «Анны Карениной» в Румянцевский музей. Графиня сказала, что отдать всегда готова на сохранение — все равно едят же их мыши в сарае — но с тем, чтобы не лишаться никаких на них прав. «Я никогда, конечно, не сделаю такой подлости, чтобы продать, например, рукопись «Анны Карениной», положим, за 10 тысяч, но прав на нее лишиться все-таки не хочу. Пускай они сохраняются в музее, лишь бы я имела право взять их по первому моему требованию. Не знаю, как здесь, а в Петербурге, раз отдавши в библиотеку, вы лишаетесь на нее всяких прав, а я этого не хочу. Очень может быть, что я и не потребую их никогда, это даже наверное, но право пускай будет за мной — взять их по первому моему требованию. Какая я прежде была дура! Двадцатипятилетней девочкой я не понимала, что рукописи Льва Николаевича составляют драгоценность. Бывало, говорю мужу: «Левочка, теперь я переписала, а то можно бросить?» Он, бывало, деликатно мне скажет: «Нет, зачем же бросать, пусть полежат». Их теперь набралось страшно много. Пускай берут на сохранение, но лишь на таких условиях, так и скажите».

А в 1907 г. С. А. Толстая рассказывала Д. П. Маковицкому, как в прежние годы она по незнанию не дорожила черновиками: рукописями «Войны и мира» и «Анны Карениной» заклеивали окна на зиму в яснополянском доме. Случалось, что черновики подвергались опасности по недоразумению. Так, в 1871 г., когда С. А. Толстая тяжело болела после рождения дочери Маши, прислуга, убирая в доме, выбросила в канаву целую связку бумаг, среди которых были черновики «Войны и мира». По весне Софья Андреевна обнаружила эту связку, забрала ее в дом и как могла привела в порядок. Немало страниц черновых рукописей Толстого было утрачено при «содействии» переписчика Александра Петровича Иванова, который частенько бывал пьян, строптив, черновики Л. Н. дарил, продавал или отдавал за водку.

Вернемся к рассказу И. М. Ивакина. Из его записок видно, что И. М. Ивакин был посредником между С. А. Толстой и Николаем Федоровичем Федоровым, библиотекарем Румянцевского музея в Москве. Именно Н. Ф. Федоров был инициатором передачи рукописей Толстого в Рукописное отделение Румянцевского музея. Труд всей жизни Н. Ф. Федорова «Философия общего дела» повествует о всеобщем братстве людей, постигшем законы природы, поборовшем смерть, научившемся воскрешать из мертвых ушедшие поколения. Библиотеки и музей в учении Федорова играли исключительно важную роль, они были, по его мысли, своеобразными ковчегами, где сохраняется память о каждом ушедшем человеке, чтобы было возможно его воскрешение. Книги, рукописи Федоров считал общим достоянием всех людей и настойчиво добивался передачи рукописей Л. Н. Толстого в Румянцевский музей. Около двух лет ушло на то, чтобы убедить С. А. Толстую передать рукописи в музей.

1 сентября 1887 г. С. А. Толстая привезла в Москву и сдала на хранение в Румянцевский музей первую партию рукописей, упакованных в девять ящиков (картонов). Условия хранения рукописей Толстого в Румянцевском музее были изложены в письме хранителя отделения рукописей Д. П. Лебедева к С. А. Толстой от 10 сентября 1887 г.:

«По существующим правилам музея могут хранить бумаги или запечатанными, отвечая за целостность Вашей печати, или принимая их по реестру. Подобный реестр, с подборкою и обозначением числа листов, требует для составления своего много времени. Поэтому мне кажется, Вам лучше всего запечатать бумаги своей печатью в тех картонах, куда мы их положили: имея краткий реестр содержимого в каждом картоне, Вашему Сиятельству удобно будет потребовать все нужное для Вас, обозначая только номер картонов. В таком случае и музей не может подвергнуться никакому нареканию, и владельцы рукописей могут быть вполне уверены в

абсолютной их целости. <...> В выданной Вашему Сиятельству расписке в приеме бумаг будет обозначено, что они будут выдаваться каждый раз только по требованию графа Льва Николаевича, Вашего Сиятельства или Ваших наследников».

С. А. Толстая согласилась с предложениями Лебедева. 25 сентября 1887 г. хранитель рукописного отделения составил краткую опись на каждый картон. Вот пример его описания: «Картон 1. "Анна Каренина". Картон 2. а) "Беглый казак" и бумаги к "Казакам"; б) "Поликушка", 2 редакции; в) "Детство", 2 редакции; г) "Юность". Картон 3. "Война и мир"».

В течение многих лет рукописи Толстого оставались в Румянцевском музее только в режиме хранения, никто не занимался их обработкой и изучением. С. А. Толстая время от времени пополняла свою коллекцию, предварительно пытаясь хоть как-то разобраться в целом море материалов. 20 июня 1889 г. она писала А. А. Фету:

«На другой день <...> началась дурная погода и дожди, столь необходимые, и холод, Лев Николаевич опять прихворнул желудком, маленький мой нездоров, и стало очень уныло. А я, в утешенье, начала разбирать разные письма, старинные и новейшие, раскладываю их под заглавиями: литературные, родственные, знакомых и т. д., письма Ваши, все отдельно. Я некоторые старые к Льву Николаевичу перечитала, — сколько в них всего: ума, юмора, живости, стихов, оригинальности и другого. Но я не позволяла себе слишком увлекаться, это удовольствие чтения старых писем — впереди, а надо было разобраться. Много писем Тургенева, Некрасова, Дружинина и других. Со временем очень будет всем интересно прочесть».

В ответном письме Фет писал:

«Так как, продолжая мои воспоминания, я в настоящее время плаваю в душистом море дружеских интеллигентных писем, то не могу воздержаться, чтобы хотя бы парой слов не иллюстрировать Ваших заметок о Вашем собрании, которое, будучи обращено к такому живительному солнцу ума, как Граф, не может не носить на себе исключительной значительности. В чем сильнее и несомненное сохраняется аромат одаренной, исключительно тонкой души, чем в дружеских письмах, не предназначавшихся для печати?»

14 мая 1894 г. дирекция Румянцевского музея выдала С. А. Толстой новую расписку на ее коллекцию, где появилось еще одно условие со стороны музея: «Ящики эти в случае надобности в помещении должны быть по первому требованию директора музея тотчас же взяты графинею или ее наследниками обратно».

Так и случилось через 10 лет.

18 января 1904 г. С. А. Толстая записывала в дневнике:

«Но главное дело мое в Москве было: перевозка девяти ящиков с рукописями и сочинениями Льва Николаевича из Румянцевского в Исторический музей. Меня просили взять ящики из Румянцевского музея по случаю ремонта. Но мне странно показалось, что в таком большом здании нельзя спрятать девять ящиков в один аршин длины. Я обратилась к директору музея, бывшему профессору Цветаеву. Он заставил меня ждать полчаса, потом даже не извинился и довольно грубо начал со мной разговор.

— Поймите, что мы на то место, где стоят ящики, ставим новые шкапы, нам нужно место для более ценных рукописей, — между прочим говорил Цветаев.

Я рассердилась, говорю:

— Какой такой хлам ценнее дневников всей жизни и рукописей Толстого? Вы, верно, взглядов «Московских ведомостей»?

Мой гнев смягчил невоспитанного, противного Цветаева, а когда я сказала, что я надеялась получить помещение лучшее для всяких предметов и всего, что касалось жизни Льва Николаевича, Цветаев даже взволновался, начал извиняться, говорить льстивые речи, и что он меня раньше не знал, что он все сделает, и так я уехала, прибавив, что если я сержусь, то потому, что слишком высоко ценю все то, что касается Льва Николаевича, что я тоже львица, как жена Льва, и сумею показать свои когти при случае.

Отправилась я после этого в Исторический музей к старичку восьмидесяти лет — Забелину. Едва передвигая ноги, вышел ко мне совсем белый старичок с добрыми глазами и румяным лицом. Когда я спросила его, можно ли принять и поместить рукописи Льва Николаевича в Исторический музей, он взял мои руки, начал целовать, приговаривая умильным голосом:

— Можно ли? Разумеется, везите их скорей. Какая радость! Голубушка моя, ведь это история!

На другой день я отправилась к князю Щербатову, который тоже выразил удовольствие, что я намерена отдать на хранение в Исторический музей и рукописи, и вещи Толстого. <...> На следующий день мы осматривали помещение для рукописей, и мне дают две комнаты прямо против комнат Достоевского.

Весь персонал Исторического музея, и библиотекарь Станкевич, и его помощник Кузминский, и князь Щербатов с женой — все отнеслись с должным уважением и почетом ко мне, представительнице от Льва Николаевича.

В Румянцевском музее был только Георгиевский в отделении рукописей. Мы приехали четверо: помощник библиотекаря Исторического музея Кузминский, солдат, мой артельщик Румянцев и я. Забрав ящики, мы благополучно свезли их в Исторический музей и поставили в башне. Теперь я вся поглощена заботой о перевозке вещей и еще рукописей Льва Николаевича туда же. Надо спасти все, что можно, от беспорядочного расхищения вещей детьми и внуками».

Закончив перевозку, С. А. Толстая писала сестре, Т. А. Кузминской: «Я очень довольна, и Левочка очень одобрил мои действия». Таким образом, на день смерти Л. Н. Толстого, 7 ноября 1910 г., его рукописи, входящие в коллекцию С. А. Толстой, находились на хранении в Историческом музее и только она одна имела к ним доступ. Напомним, что по условию завещания Толстого все написанное им по день его смерти, «где бы таковое ни находилось и у кого бы ни хранилось», переходило в распоряжение А. Л. Толстой (то есть В. Г. Черткова). 16 ноября 1910 г. завещание Толстого было утверждено Тульским окружным судом. 20 ноября поверенный А. Л. Толстой Н. К. Муравьев обратился в администрацию Исторического музея с прошением, в котором требовал выдачи автографов Толстого А. Л. Толстой на основании вступившего в силу завещания ее отца. С. А. Толстая, не оспаривая завещания Толстого в целом, не желала отдавать собранную ею коллекцию.

Софья Андреевна считала, что завещательное распоряжение Толстого относительно рукописей, где бы таковые ни находились и у кого бы ни хранились, распространяется лишь на те автографы, которые к моменту смерти принадлежали *лично ему*, находились в его владении или им самим были сданы куда-либо на хранение.

Автографы Толстого, сданные *ей* на хранение, она считала своей собственностью, так как они были подарены ей самим Толстым, чему имелись убедительные свидетельства. Важнейшее из них — официально заверенное письмо Григория Петровича Георгиевского, хранителя рукописного отделения Румянцевского музея, к С. А. Толстой:

«24 апреля 1911 г. Москва. Румянцевский музей.

Многоуважаемая графиня Софья Андреевна!

Опять я прочитал в газетах известие о том, что у Вас хотят отобрать автографы Льва Николаевича, на этот раз уже судом. Очень больно читать обо всем этом мне, знающему подлинную историю Вашей собственности, и я считаю своим долгом выразить Вам искреннее мое сочувствие и подать Вам посильную руку помощи.

Кажется, я остался уже единственным свидетелем тех живых и постоянных сношений между Львом Николаевичем и Николаем Федоровичем Федоровым в конце восьмидесят и в начале девяностых годов прошлого XIX века и центром которых был Румянцевский музей, где служил Николай Федорович и откуда пользовался книгами Лев Николаевич. Я помню, сколько огорчений доставляли Николаю Федоровичу те противоречия, которые он находил у графа Льва Николаевича Толстого, вашего покойного мужа. Одним из таких противоречий он считал отношение Льва Николаевича к своим автографам. Отрицая собственность вообще, граф Лев Николаевич Толстой, однако, свои рукописи отдавал не Румянцевскому музею, как признавал правильным Николай Федорович, а Вам, своей супруге, в чем Николай Федорович видел признание собственности.

Помню, однажды граф Лев Николаевич Толстой вошел к Николаю Федоровичу, а Вы, графиня, одновременно привезли еще один сундучок с автографами Льва Николаевича на хранение в Румянцевском музее. Николай Федорович при мне стал укорять Льва Николаевича за отдачу автографов Вам, а не Румянцевскому музею, в собственность. Лев Николаевич не в первый раз был этим смущен и ответил Николаю Федоровичу следующее:

— Тут я ничего не могу поделать. Я не могу взять назад свое слово: все свои автографы я подарил Софье Андреевне, и это ее собственность.

Я был свидетелем этой сцены, и я сам слышал это заявление графа Льва Николаевича Толстого о том, что он подарил свои автографы Вам, графине Софии Андреевне Толстой, и что автографы графа Льва Николаевича — Ваша собственность. К сожалению, нет в живых ни самих собеседников, Льва Николаевича и Николая Федоровича, ни свидетелей их бесед — Дмитрия Петровича Лебедева, Владимира Сергеевича Соловьева, Ивана Михайловича Ивакина. Я один из свидетелей пережил всех остальных, и мне не хочется умереть, не передавши Вам нелицеприятного свидетельства о том, что я слышал собственными ушами и что вполне подтверждает Ваше неотъемлемое право собственности на автографы Льва Николаевича Толстого, бывшие на хранении в Румянцевском музее и перенесенные потом на хранение же в Исторический музей.

Уважающий Ваши многолетние попечения о графе Льве Николаевиче и лично Вас, графиня, Григорий Петрович Георгиевский, статский советник, хранитель рукописей Румянцевского музея».

Управление Исторического музея, оказавшись в затруднительном положении, приняло Соломоново решение: доступ кому бы то ни было к указанному собранию «прекратить совершенно вплоть до полного выяснения дела».

Опуская подробности многолетней тяжбы между вдовой Толстого и его младшей дочерью, скажем только, что в декабре 1914 г. права С. А. Толстой на рукописи, хранившиеся в Историческом музее, были признаны официально. 5 января 1915 г. С. А. Толстая получила из Правительствующего Сената копию указа Николая II об утверждении за нею прав на ее собрание рукописей Толстого, и она вновь получила к ним доступ. Однако оставлять рукописи в Историческом музее С. А. Толстая больше не желала. Видимо, она чувствовала обиду из-за того, что администрация музея не поддержала ее в споре о рукописях. В письме к президенту Российской Академии наук по разряду изящной словесности Великому князю Константину Константиновичу С. А. Толстая писала: «...Весь архив, находящийся в Историческом музее, я желала бы передать в Румянцевский музей, если таковой изъявит на то свое согласие. <...> Избираю именно этот музей как хранилище потому, что Лев Николаевич постоянно там работал, пользуясь материалами, особенно для «Войны и мира». Он любил этот музей и Москву, всегда относясь отрицательно к Петербургу. Кроме того, в Москве мне ближе и удобнее работать над копиями и материалами для моих мемуаров».

Уже 31 декабря 1914 г. хранитель отделения рукописей Румянцевского музея Г. Георгиевский писал С. А. Толстой: «Румянцевский музей с полной готовностью идет навстречу Вашему желанию поручить ему почетную обязанность хранить рукописи и все, относящееся к памяти величайшего русского писателя, Вашего мужа, графа Льва Николаевича Толстого. Главные условия: постоянное хранение в музее, отдельные шкафы или отдельная зала, смотря по Вашему желанию и количеству предметов, Ваше полное и самостоятельное распоряжение всеми сокровищами, которые Вы передадите в музей. Подробности установим взаимно при свидании в Ясной Поляне, куда я примчусь по Вашему зову».

Директор наш, благороднейший и прекрасный человек, князь Василий Дмитриевич Голицын, живет в доме музея, Моховая, 3.

Августейшему нашему попечителю Директор сообщит о состоявшемся соглашении, когда оно последует».

Соглашение последовало в начале 1915 г., и С. А. Толстая приняла живейшее участие в устройстве кабинета Л. Н. Толстого в рукописном отделении Румянцевского музея.

«Кабинет Толстого», или «Толстовский сейф», существовал в Румянцевском музее, позже — рукописном отделе Библиотеки имени В. И. Ленина, до 1939 г.

В. Г. Чертков был вторым важнейшим лицом в деле собирания и хранения рукописей Толстого. Еще в июне 1885 г. Чертков писал Толстому, как было бы важно, чтобы все его рукописи хранились в полном порядке, и спрашивал его, не может ли он поручить это дело кому-либо из членов своей семьи. На хуторе Черткова Ржевск в Воронежской губернии, помимо его помощника по делам издательства, почти всегда жил платный переписчик, туда нередко приезжали и месяцами жили люди, сочувствующие взглядам Толстого, которым можно было поручить переписку и приведение в порядок черновики Толстого и копий с его писаний. Чертков начал разбирать и систематизировать черновые рукописи Толстого, нередко представлявшие собой беспорядочную грудку перемешанных друг с другом, неразборчиво написанных, перечеркнутых и исправленных листов. Разбирая эти рукописи, не вошедшие в окончательную редакцию, Чертков делал из них выписки, предназначенные для задуманной им большой работы — Свода мыслей Л. Н. Толстого. Кроме того, Чертков начинает собирание писем Толстого и копирование его дневников. Чертков понимал, что средняя любимая дочь Толстого Мария больше, чем кто-либо другой из близких писателя сможет быть полезной в деле собирания писем:

«Пожалуйста, записывайте, последовательно обозначая месяц и число, всех тех лиц, к кому он отправляет письма. <...> Неизвестно, кто кого переживает, но, наверное, в свое время люди, близкие по духу, будут тщательно собирать каждую строчку, написанную вашим отцом за это последнее время, и последовательная запись его писем, веденная вами, поможет им в хорошем и нужном деле», — писал Чертков М. Л. Толстой. По поручению отца Мария Львовна копировала некоторые его письма и время от времени пересылала эти копии Черткову. Таким образом в Ржевске, в доме Черткова, начало создаваться исключительное по своей полноте собрание рукописей Толстого, от черновики его произведений до писем включительно — огромный архив, о котором Толстой говорил как о самом полном собрании всего написанного им с 1881 г.

Черткову первому пришла мысль копировать все без исключения письма Толстого. Для этой цели из Англии был привезен в Ясную Поляну копировальный пресс. Толстой стал писать свои письма специальными чернилами, стойкими к воде. Готовое письмо накладывалось на чистый лист папиросной бумаги, осторожно с обратной стороны кисточкой смачивалось водой и затем помещалось под пресс. На копировальном листе оставался точный отпечаток письма.

В Ясной Поляне письма Л. Н. Толстого копировались прямо в специально подготовленные копировальные книги. Таких книг набралось девять.

В феврале 1897 г. Чертков был выслан из России за распространение запрещенных произведений Толстого и пропаганду его учения. Местом жительства для себя и своей семьи Чертков избрал Англию. В этой стране Чертков бывал неоднократно, хорошо знал английскую жизнь, имел связи с людьми из разных слоев общества. Архив, собранный Чертковым, с должными предосторожностями был перевезен сначала в дом Черткова в графстве Эссекс, близ городка Перлей; а затем в дом в местечке Крайстчерч, в 150 километрах от Лондона. Поначалу архив хранился в ящиках, нагроможденных в комнате самого Черткова, где он спал и работал. В 1900 г. при доме в Крайстчерче на средства В. Г. Черткова было выстроено для рукописей Толстого по последнему слову техники особое несгораемое хранилище. В 1907 г. Чертков получил разрешение вернуться в Россию и в июле 1908 г. поселился с семьей в деревне Телятенки близ Ясной Поляны. Архив Толстого оставался в хранилище английского дома Черткова до 1913 г. В 1913 г. Чертков сдал на хранение в Академию наук свое собрание. Годом раньше А. Л. Толстая отдала на хранение в Академию наук все имеющиеся у нее оригиналы и копии, по которым печаталось трехтомное издание посмертных произведений Л. Н. Толстого.

В 1911 г. в Москве был создан музей Л. Н. Толстого, предпринявший большую собирательскую работу. Собрание автографов Толстого, материалов о его жизни и творчестве в музее стремительно росло.

5 мая 1926 г. Чертков прислал в Государственный музей Л. Н. Толстого следующее заявление:

«Заявляю, что доставленный из Академии наук в Толстовский музей мой архив переведен в Толстовский музей вследствие выраженного мной желания передать его в этот именно музей.

Вновь подтверждаю, что архив мой, хранившийся ряд лет в библиотеке Академии наук (у В. И. Срезневского), передаю Толстовскому музею на постоянное хранение.

В. Чертков».

В 1939 г. Совет народных комиссаров СССР принял постановление, в котором говорилось, что Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве становится главным и единственным хранилищем рукописей Л. Н. Толстого. Все архивы, библиотеки, музеи обязаны были передать музею имеющиеся у них автографы Л. Н. Толстого. В стенах рукописного отдела музея Л. Н. Толстого в Москве соединились накопец собрания С. А. Толстой и В. Г. Черткова, вновь образовав единое и неделимое целое — творческий и личный архив Л. Н. Толстого.

«ВЫ КАЖЕТЕСЬ МНЕ В СТО РАЗ ВЫШЕ ПЕТРА I!»

Владимир Васильевич Стасов (1824—1906) был выдающейся, яркой фигурой в культурной жизни России XIX века. Знаток русской и западноевропейской литературы, истории, музыки, живописи, архитектуры, археологии, фольклора, он был автором многочисленных статей и монографических исследований в этих областях. Человек в высшей степени эмоциональный, увлекающийся, Стасов при этом, по замечанию современника, «сравнительно редко ошибался в общей оценке всего значительного, талантливого и самобытного».

Смолоду Стасова привлекала работа с подлинными документами, их публикация. С 1856 г. он занимался этим по долгу службы — В. В. Стасов был приглашен в комиссию для собирания материалов о жизни и царствовании императора Николая I. В результате им был написан ряд работ по русской истории, предназначенных для Александра II и хранившихся в его библиотеке.

Осенью 1872 г. Стасов переходит на службу в Императорскую публичную библиотеку (ныне Библиотеку им. Салтыкова-Щедрина). Здесь по-настоящему развернулся его талант собирателя. Ему удалось уговорить С. А. Толстую подарить библиотеке несколько автографов Л. Н. Толстого, в том числе черновой автограф главы из трактата «Что такое искусство?».

С семьей Толстых его связывала многолетняя дружба. Отношения эти отличались особой теплотой. В последние годы жизни В. В. Стасов несколько раз тяжело болел, и сообщение об этом неизменно вызывало тревогу в доме Толстых. «Известие в газетах о вашем нездоровье очень встревожило меня... Я все ждал и вот дождался такого же, как всегда, энергичного письма», — сообщал ему Толстой 3 марта 1906 г. Обычно в своих письмах к Стасову Толстые спешили высказать сочувствие, надежду на благополучный исход болезни и их будущую встречу. Так было и 10 октября 1906 г., когда Л. Н. Толстой писал Н. Ф. Пивоваровой: «Почему-то мне кажется, что Владимир Васильевич поправится и что мы с ним если не увидимся еще, то перепишемся, кажется мне это, вероятно, потому, что очень желается». Но в этот день Стасова не стало.

Эпистолярное наследие В. В. Стасова необычайно обширно. Много из него опубликовано, в том числе и его переписка с Л. Н. Толстым. И все же еще находят документы, представляющие значительный интерес и не попавшие в научный оборот. Некоторые из них включены в настоящую публикацию.

В. В. Стасов — Л. Н. Толстому

22 апреля 1881 г. Петербург.

Лев Николаевич, меня убедительно просят передать Вам следующую просьбу и вопрос: не позволите ли Вы переделать «Анну Каренину»¹ для театра? Закон о печати не запрещает подобных переделок и помимо согласия автора. Но тот драматург (из лучших наших — сравнительно говоря, при современном безрыбьи) так глубоко любит и уважает Вас, что ни за что не станет приниматься за переделку, если Вы только скажете: «Не хочу» или «Мне это неприятно». Напротив, если б Вы ничего против этого не имели, он немедленно изложил Вам сам свою просьбу и намерение — если б Вы это позволили.

Буду ждать Вашего ответа, *хоть одного слова*: «Да» или «нет». Если же Вам не захочется или некогда будет писать, не разрешите ли Вы, чтоб неполучение ответа Вашего в продолжении 2—3 недель мой «автор» может считать за *несопротивление* Ваше его работе?²

Что касается лично меня, я являюсь тут лицом чисто *передаточным*, не выражающим в настоящем случае никакого ровно своего личного мнения.

Ваш всегда
В. Стасов.

¹ Здесь и далее в текстах писем курсивом выделены слова, подчеркнутые В. В. Стасовым.

² Толстой ответил на просьбу Стасова так: «Насчет «Карениной». Уверю вас, что этой мерзости для меня не существует и что мне только досадно, что есть люди, которым это на что-нибудь нужно. <...> Я ничего не могу сказать, кроме пожать плечами». (Письмо от 1 мая 1881 г. ПСС, т. 63, сс. 61—62.) Дело в том, что с конца 70-х гг. Толстой напряженно работал над сочинениями религиозно-философского содержания, подвергнув резкой отрицательной оценке свои прежние художественные произведения.

В. В. Стасов — Л. Н. Толстому

31 июля 1902 г. Парголово. Деревня Старожиловка.

Так я Вас снова увижу, Лев Николаевич? И так скоро, через немного дней? Здорового, могучего, бодрого, храброго по-прежнему? Ах, какое счастье! А я было уже приуныл совсем, — мой антракт так долго длился, с самого января! Я только недавно прочитал Ваше предисловие к роману «Крестьянин» Поленца¹ и радовался и восхищался без меры! Этак, как Вы, никто и не думает, и не говорит. Как же я буду вдруг неправ, когда говорю всем и каждому, что Вы кажетесь мне в сто раз выше Петра I! Тот толкнул Россию вперед только внешним толчком и по внешним делам, Вы же ее будите и толкаете к тому, что всего важнее, выше и глубже — в уме и понятии, Вы ее преобразуете, обновляете и направляете, как никто еще этого не делал и не воображал, да по дороге тоже направляете и устремляете вперед и всю Европу и Америку. Как же Вы не выше его! Конечно, в тысячу раз выше. И вот, получив сегодня утром в Библиотеке милое, чудесное, доброе письмо от Софьи Андреевны, о том, что мне *можно* к Вам ехать и что я Вас увижу и услышу, я так обрадовался, как редко со мною может случаться, и теперь буду только ждать дня и часа, когда тронусь из Петербурга. Из Москвы пошлю Вам телеграмму. Раньше 7-го и 8-го августа мне не придется уехать отсюда, потому что жду Элиаса, который,

изморившись во время болезни и потом смерти своего великого и чудесного учителя Антокольского, поехал вздохнуть немножко в Швейцарию. К 6-му или 8-му числу он должен быть назад сюда, и тогда мы покатаем к Вам во весь дух. Вы и не знаете, что это такое для нас двух, быть у Вас, с Вами. Притом же раньше того времени, кажется, и Софья Андреевна не воротится в Ясную из Москвы. Итак, жду сто тысяч раз того дня и часа, когда поеду к Вам.²

В. Стасов.

¹ Роман В. Поленца «Крестьянин» Л. Н. Толстой прочитал в 1900 г. Рассказывая близким его содержание, он заметил: «Читая этот роман, я говорил себе: Отчего ты, дурак, не написал этого романа? Действительно, я этот мир знаю: а так важно отметить всю поэзию крестьянской жизни!» (А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1922, 1, с. 39.) Тогда же он начал работу над предисловием к переводу с немецкого В. Величкиной и с предисловием Толстого вышел в издательстве «Посредник» в начале 1902 г.

² В. В. Стасов и И. Я. Гинцбург были в Ясной Поляне с 10 по 14 августа 1902 г.

В. В. Стасов — С. А. Толстой

21 января 1902 г. Петербург.

Графиня Софья Андреевна, несколько часов тому назад я получил Ваш большущий конверт и в нем три Ваших фотографии со Льва Николаевича. Ах, какую радость Вы мне прислали! Это именно те самые фотографии, которые так восхитили меня у Льва Николаевича и которых я так ревностно жаждал, а потому и просил Вас! Вы — чудеснейшая фотографистка: позы, группы всегда у Вас превосходны, как только можно себе вообразить! И какие световые эффекты всякий раз, какая красивость этих пятен, какое разнообразие их и цветистость; и, должно быть, аппарат фотографический у Вас превосходный. От всего этого вышло то, что все *три* фотографии передают ЛЬВА ВЕЛИКОГО с великим совершенством, живописностью, картинностью и поэтичностью. Эти фотографии Бог знает как восхищают меня, и я не нахожу слов, чтобы поблагодарить Вас за чудный дар. Как собственно «картинки с художественной обстановкой» фона, пейзажа, природы, эти фотографии превосходят все другие, мною до сих пор виданные. У меня при взгляде на них родилась мысль и просьба, которые я Вам здесь передаю, но на которые, Бог весть, согласитесь ли Вы. Мой большой обзор «искусства всего 19 века» начинает перепечатываться теперь из «Нивы», но с восстановлением всех громадных пропусков, которые решены были редакцией «Нивы» по обширности моих размеров. Не позволили бы Вы, может быть, отпечатать там в начале лучший из трех портретов, тот, где Лев Николаевич сидит совершенно *один*, в профиль вправо? Лев Николаевич позволил мне *посвятить* ему эту работу, сказав, что мои идеи об искусстве сходятся с его мыслями так много и часто, что он *согласен* на это посвящение и *разрешает* его. Конечно, посвящение должно быть *больше и пространнее*: слишком сжали!

Моя книга «Искусство 19 века» настолько обширна, что выйдет из печати не ранее июля, августа или сентября¹, и потому я думаю, что до того времени этот чудный портрет *давно* уже выйдет в свет в Вашем *собственном издании, раньше* моей книги; но я все-таки искренно жаждал бы получить Ваше разрешение на *перепечатку* его во 2-й половине настоящего года.

Кончаю свои строки тем, что для меня теперь *важнее* всего на свете: здоровьем ЛЬВА ВЕЛИКОГО. В первую минуту Ваши известия о его состоянии испугали и потрясли меня. Но, помня прежние его болезни нынешних годов, я подумал, что его железная, монументальная натура перенесет и эту непогоду и справится с нею, как со всеми предыдущими! Его силы и жизненность физические столь же необычайны и беспримерны, как душевные, духовные и создательные. И в этом моя отрада, утешение и надежда! Дай Бог поскорее услышать о поправке великого человека!

С глубоким почтением Ваш всегда В. Стасов.

Еще одно слово: Как мне понравилось одно слово в Вашем письме: «*мой непокорный и великий муж!!!*» Как я восхищался этим словом, как я им объедался!!!

¹ Книга В. В. Стасова «Искусство 19 века» вышла в свет только в 1906 году и составила IV том Собрания сочинений (тт. 1—4, СПб., 1894—1906). Открывается том посвящением Л. Н. Толстому, но воспроизведения фотографии нет.

В. В. Стасов — С. А. Толстой

28 августа 1902 г. Петербург.

Глубокоуважаемая (не на словах, а в самом деле — впрочем, я думаю, Вы и сами это немножко знаете) Софья Андреевна, я не хотел Вам писать до тех пор, пока не получу II-й и III-й томы «Женского Календаря», которые мне непременно надо послать. Получил их, и вот сейчас посылаю их Вам, и выступаю на секундочку Вашим докладчиком, просителем, ожидателем великих и богатых милостей Ваших. Первая милость Ваша пусть будет та, что Вы возьмете да просмотрите оба томика «Календаря», вторая та, что Вы найдете их чем-то порядочным, третье, что Вы решитесь, твердо, прочно и любезно, участвовать собственно персоною на страницах этого Календарика, а именно дадите туда хороший портрет Ваш, только не во весь рост (как я все вообще портреты люблю и понимаю), а до пояса или до колен (как я и не понимаю, и не люблю, так как это *фальшь* против того, что существует в действительности, но таковы заведенные порядки, и весь свет хочет «поясных портретов», в таком смысле: «Что такое ноги! На что им в портрете быть?! Не надо, не надо!»). На этом-то основании я покорно и смиренно прошу Вас, властительнейшая и всемогущественнейшая графиня, дайте Ваш портрет *en buste* или по колену, для «Календаря», а мне, ради всех святых, учитывая, что мне нужно, дорого, и мило, и хорошо — *настоящий* Ваш портрет, т. е. от макушки и до пяток, и со всем тем, что между этими обоими полюсами заключается. Вы просто *отгадчица*: дали мне уже однажды Ваш портрет, но именно такой, какой мне нужен и дорог: во весь рост! Только не удалось лицо тогда, в том портрете — значит, нынче всепокорнейшая всенижайшая просьба: дайте, дайте новый, хороший, отличный, в самом деле похожий... Однако это я все еще на 1-м пункте, а их у меня сегодня несколько. *Вморогой* тот, что, поглядевши оба томика, и серый, и красненький, решитесь, ради всех святых, не отказаться от данного тому две недели (или сколько-то, не помню хорошенько сколько!) обещания: набросать «автобиографию» — большую, малую, среднюю, капельную или громадную, как сами заблагорассудите, только дайте, дайте, дайте...¹ В-третьих, я себе забрал в голову, что Вы меня не обманете и что сказали, то и сделаете: т. е., пользуясь всеобщим большим отъездом всех нас, докучных и ненужных «визитеров», только понапрасну обременивших яснополянскую землю, паркету, кочки, леса, поля и луга, воспользовавшись таким знатным авантажем, Вы возьмете да раскроете свои светлого дерева и квадратных разных форм ларчики, да повыберете из них все десятки (а дай Бог и сотни) портретов нашего несравненного ЛЬВА ВЕЛИКОГО, сделанные Вами самими и дочками, и пришлете их нам сюда, в Библиотеку, в вечную и несокрушимую гавань, на веки веков! Ах, как я буду восхищаться и в ладоши бить, когда открою, что в этом достоянии из глубины Ваших ларцов окажется всего более портретов онго ЛЬВА в том нынешнем его костюме, который так меня восхитил и прельстил с первого же раза, а потом восхищает, прельщает и по сию минуту (да, кажется, и впрямь всегда так будет): в *кольчуге* (хотя бы покуда и шерстяной), как величайшему из воинов и воевод быть следует, чтобы никакие пуля, сабля и ядро не царапнули его могучей груди; в высоких сапогах, 7-мильных, в которых он производил и будет производить свое *pas-de-giant*; в широкополой *бурской* шляпе, которую на него возложил бы (ради эстетики) и Рембрандт, и Рубенс — по чудному вкусу их чудного 17-го века, но еще более — мы, нынешние, чтоб он из-под этих своих широких полей глядел на нас всех, маленьких, своими глубокими, пронзительными глазами, как горящими угольями. Получим ли мы таких портретов побольше? Захотите только, дорогая графинюшка, и будем кругом их плясать, как Евреи около Хорива. Да, да, да, вот еще это: я послал на прошлой неделе на Ваше имя том Ничше, где «Антихрист». Кажется, это Льву Николаевичу нужно. Но вообразите: в первый раз мне с почты прислали мою книгу назад, говоря: «Тула, Ясная Поляна» — не адрес; прекрасно! Но какая это *станция*? Я плюнул и закричал у себя, у стола, в б-ке: «Фу ты, черт возьми, что за дурачьё! Не знают, что, и как, и где — Ясная Поляна!!! И этикие балбесы есть еще в России!!!»

Ваш В. С.

¹ В ответ на просьбу В. В. Стасова 6 сентября 1902 г. С. А. Толстая написала: «Календарь женские я с благодарностью получила, но биографию свою писать не намерена. Там нет автобиографий, а есть биографии известных женщин. А я ничем не отличаюсь от простых смертных, и мне просто совестно о себе писать». (Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878—1906—1929, с. 286.)

В. В. Стасов — С. А. Толстой

11 сентября 1902 г. Петербург.

Несравненная и дорогая Софья Андреевна.

Вы меня изрядно обрадовали и поразили уже и письмом своим, куда вложили себя и целых 2 отменных портрета ЛЬВА ВЕЛИКОГО: мучащегося поганой болезнью и полного воскресшей опять чудной силы и жизни. Но еще более обрадовали и поразили Вы меня второй своей посылкой: портретами ЛЬВА РУССКОГО. Целых 51! Да какие все! Из всех моментов своей необычайной жизни: и в Москве, и в Ясной, и в Гаспре. Этакая, однако же, беда и досада: нет этого ЛЬВА и в Петербурге! Голубушка-графинюшка, если только можно, если судьба даст, снимите его однажды и в Петербурге! За что же и Петербургу не гордиться и не величаться тоже, как Москве, и Туле, и Крыму! Вот я хочу (авось удастся) однажды поставить в Музей, который-нибудь, тот стол библиотеки, у которого он сидел тут у меня, и тот стул, на котором он к нему придвинулся, и ту чернильницу, из которой черпал. И это нужно, нужно, нужно для всех будущих. Ведь показывают пятно в Вартбурге, оставшееся на стене навеки оттого, что Лютер бросил в черта, ему явившегося, чернильницей, так по всем правилам надо сохранить у нас в библиотеке ту чернильницу, которой русский ЛЕВ ни в кого не бросал и никаких пятен не делал ни на стене, ни на бумаге. И если *Петр Великий* написал: «И все сие Петрова, и чернило новое», *Владимир Малый* может и должен написать и сказать: «И все сие правда, и тот ВЕЛИКИЙ здесь в самом деле был, и сидел, и читал, и писал, и глядел, и говорил, и смотрел, и слушал, и удивлял всех!» ...Так вот, неправда ли, дорогая, самая дорогая Софья Андреевна, Вашего мужа надо бы *закрепить* (как говаривал другой великий человек, Герцен), закрепить фотографией в Петербурге. Ведь правда?!

Да, вот посмотрели бы Вы давеча утром, какая шла радость у нас в библиотеке с той минуты, как я распаковал Вашу посылку. Словно двенадцатый праздник ходит, собираются около меня толпой, разглядывают из-за плеча друг друга пачку портретов, только что полученную с почты. «Ах, Лев Толстой! — он, он! — Смотрите, тоже на коньках! — Какой чудный Гарпан, и как чудно он на нем сидит! — Ах, но вот и большой! Как его измучило, измозжило! Нет, смотрите, смотрите, — вот опять он прежний, сильный, крепкий (словно *крепость*, прибавил кто-то вдруг, из-за спины), — опять посмотрите, какие глаза, — как смотрит, — что за взгляд!...» Этому не было конца, со всех сторон возгласов, жужжунья, восторгов и восхищений. Скоро потом приехал и директор (Кобeko) из Павловска, с дачи. И ему тоже я поскорее показал богатую нашу библиотечную громадную новость, с гордостью, с чванством и восхищением. Ну, директор, хоть и изрядный канцелярист и формалист, а все-таки безмерный поклонник ЛЬВА ВЕЛИКОГО, как и мы все. И он просил, что если мне можно, то чтоб в письме к Вам тоже помянул и его, как он был рад и восхищен. Ведь Вы знаете (кажется, я Вам рассказывал, если не ошибаюсь), что в нашей новой Читальной Зале, открытой для публики в *октябре* прошлого года, еще при директоре Шильдере, в ряду больших людей русских, первый бюст — Ломоносова, потом идут все другие, и Карамзин, и Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и т. д. и т. д., а последним, на ком все дело остановилось и живет теперь, — это ЛЕВ ВЕЛИКИЙ. Бюст мраморный, очень хороший и прекрасно сделанный. Прямо у входа, в Читальной Зале, тотчас у входной двери, и рядом с надписью из «Несторовой Летописи»: «Науки суть источники из» коих «мир напояется». Это — скульптура. Потом, в Зале рукописей и автографов, там, где лежат «Анна Каренина» (наполовину печатная, наполовину в рукописном тексте самого автора — проложенные среди печатного листки) и «Что такое искусство» (рукопись), у нас будет повешен на днях портрет *фототипия* почти в 1 аршин вышины с оригинала Репина (босоногий), деланный недавно в Берлине. Вот это — два. В-третьих же, будет *фотографическая* коллекция, 51 портрет, сейчас вот только что подаренные Вами. Они все вместе образуют большой том на толстой бристольской бумаге, переплет из белого пергамента, с золотом, обрез книги — ярко-красный с тисненою крупною надписью, золотом, по красному фону обреза: ЛЕВ ТОЛСТОЙ. Извините меня за все эти маленькие подробности, но они близки моему, тоже маленькому, *библиотечарскому сердцу*. Всякому свое, и, я думаю, селедочница раньше и аппетитнее всего разговаривает про свой селедки, генерал — про звезды на груди у себя и про кнуты на спине у других, я — про книги, обрезы и переплеты. Но все-таки, невзирая на все наши переплеты, вы различите, я надеюсь, как Вы нас вчера всех обрадовали и осчастливили. Увидьте же нас хоть капельку издали и порадитесь тоже немножко за хорошее, чудесное свое дело! При этом всем надеюсь, милостивейшая государыня, что Вы не будете на меня в гневе за то, что про Ваш приятный подарок мы на днях напечатем во всех газетах. *Закон* Библиотеки: печатать во всеобщих известиях и тотчас же, в продолжении года, обо всех крупнейших приобретениях Библиотеки — а это ли еще не крупное! Но я с великой еще радостью должен рассказать Вам, как мне приятно бы-

ло увидеть исполнение Вашего обещания: *хороший* портрет Ваш. В нынешней коллекции их несколько, не то что *хороших*, а просто *отличнейших!!!* И я безмерно был обрадован. Это, во-первых, тот портрет № 28, который у вас обозначен как «неудавшийся снимок». Да, «неудавшийся» в техническом, фотографическом отношении, но превосходный как сходство, как профиль, как голова, как выражение, как смотрящий глаз. Потом мне ужасно понравился портрет № 29: «28 авг. 1900, в день рождения Л. Н.» — это настоящая картина! Потом № 30, «с лилиями», а потом несколько других еще. Благодарю, благодарю Вас 10 000 раз. Вы не хотите, чтобы печаталась Ваша биография в «Женском Календаре». Что ж тут делать? Ничего не поделаешь. Надо покориться. Но Вы не правы. Вы думаете, что там нет *автобиографий*: это неверно. Они есть. Биографии графини Уваровой, С. А. Давыдовой, Л. М. Бём — это все «автобиографии», только с небольшими прибавками и пополнениями редакции. Вы считаете, что Вы ничего не сделали, — Вы знаете, что я читаю иначе, и если в биографиях разных больших деятелей, творцов, создателей или даже просто открывателей (Стюарт Милль, Шлиман, Дьёлафуа и мн. др.) непременно везде стоят их жены, работавшие для своих мужей в их деле жизни в меру своих сил и возможностей помощницами, то я не знаю, отчего про Вас должно быть умолчано. Но Вы хозяйка и самодержица в собственном деле, и я принужден положить молчание на уста мои.

Я должен на сегодня кончить. Но только об одном еще попрошу. Не скажете ли Вы мне хоть одним словом в открытом письме или как Вам угодно, дошло ли до Льва Николаевича мое письмо, где я рассказывал про Кавказское издание времен князя Воронцова, где я видел много важных материалов про *Хаджи Мурата*? Нужно ли это издание Льву Николаевичу, или выписки из него, или же он его уже и сам знает? Как мне поступить? ¹ Еще вот что: я видел здесь двух молодых офицеров, лезгинов, которых отец, полковник на Кавказе, был в молодости *на службе* при Хаджи Мурате (когда он был еще только «разбойником», как они говорят). Надо ли этого старика порасспросить на Кавказе? Я бы мог это.

Ваш всегда В. С.

¹ Речь идет о большом и подробном письме В. В. Стасова к Л. Н. Толстому от 3 сентября 1902 г. (Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка... сс. 281—285). В 1902 г. Толстой продолжал работать над повестью «Хаджи Мурат», и Стасов неоднократно присылал нужные ему книги, журналы, документы. 11 сентября 1902 г. Толстой писал: «Спасибо, Владимир Васильевич <...> за книги и готовность доставить что нужно. До сих пор я рад, что могу не утруждать вас ничем. Все нужное у меня есть» (ПСС, т. 73, № 333).

В. В. Стасов — П. А. Сергеенко

13 сентября 1905 г. Петербург.

Многоуважаемый Петр Алексеевич,

несколько времени тому назад Вы крайне любезно прислали мне фотографию Вашей работы, маленькую ростом, но для меня очень дорогую и прекрасную, потому что она изображает мне нашу с Вами поездку в ту церковульку деревенскую, где похоронены предки и родственники Льва Великого. Мне тот день был очень приятен по множеству наших с Вами разнообразных разговоров, и все это я очень живо помню. Но Вы тут же говорите мне, что не встретили в моих печатных «Сочинениях» ничего относящегося к Льву Николаевичу и к моему знакомству с ним. Это не совсем верно. Конечно, особой статьи у меня *не было*, где бы я рассказывал про мое с ним знакомство, но я могу Вам указать одну статью, которая была одною из отдаленных причин знакомства моего с Толстым. В апрельской книжке «Русского вестника» 1877 <года> была напечатана значительная порция «Анны Карениной». Суворин пришел в восхищение от того, что тут прочитал, и написал в «Новом времени» восторженную статью про «Анну Каренину» ¹. Статья Суворина (с которым я был тогда в близких сношениях, равно как и с его газетой) очень понравилась мне, и я на другой же день напечатал в «Новом времени» статью свою про Суворина ². От редакции было прибавлено тут *примечание*, где говорилось: «Помещаем это письмо одного из наших известных писателей, который на этот раз скрывает свое имя. Мы помещаем это письмо потому, что придаем значение тому вопросу, которого оно касается. Вспомните, как отнеслись к роману «Анна Каренина» наши консервативные критики»... (и т. д.). А в конце *примечания* Суворин прибавлял: «Автор этого письма совершенно справедливо говорит, что даже у Пушкина и Гоголя любовь и страсть не были выражены с такой глубиной и поразительною правдой...» Эта моя статья имела тот результат, что со мною очень сблизился и подружился один из моих сослуживцев в Императ. Публ. Б-ке, известный Ник. Ник. Страхов, фанатический поклонник Л. Н. Толстого и его великий приятель. В первый раз, как Л. Н. при-

ехал потом в Петербург, Страхов заговорил с ним о том, что у нас, дескать, в Имп. Публ. Б-ке есть глубочайший обожатель Ваш, которому страшно хотелось бы познакомиться с Вами — вот так и так. Л. Н. согласился, вместе со Страховым пришел в мое Отделение изящных искусств, и мы познакомились³. Я когда-нибудь, может быть, расскажу наши разговоры и знакомство. С тех пор всякий раз, когда потом Л. Н. приезжал в Петербург, он заходил в Б-ку и беседовал со мною (несмотря на то *малое* время, которое всегда проводил в Петербурге, — он его не любил). Иногда он садился за мой стол и работал, обложенный книгами, которых потребовал. Тогда в мое Отделение уже никто не имел права прийти и мешать ему — мы никого не пускали. Но многие тайком и окольными дорогами пробирались на верхнюю, первую галерею этой залы и оттуда украдкой, в полном молчании рассматривали издания Толстого. Несколько десятков людей сменялось таким образом, и все это в полном молчании. Один раз (не помню хорошенько, в котором году) пришел ко мне в Б-ку В. В. Верещагин и, услышав, что у меня сидит Л. Н., написал мне на карточке, что нельзя ли и ему тоже прийти повидаться с Л. Н., но Л. Н. ни за что не захотел, словно испугался, и зашел даже за один шкаф, сказав поспешно шепотом: «Пожалуйста, скажите, скажите, что меня здесь нет...» В другой раз, тоже случайно, пришел ко мне фотограф Шапиро и, услышав, что в Б-ке у меня Лев Толстой, вызвал меня в сенни через солдата и просил меня уговорить Л. Н., чтоб он позволил снять с себя фотографию, одну или несколько. Это было в такое время, когда Л. Н. еще никому не позволял снимать с себя портреты и всем отказывал. Он и ему тоже через меня отказал и даже не захотел видаться с ним и говорить хоть слово. Однажды Л. Н. не застал меня в Б-ке и оставил мне визитную карточку (сохраняемую у меня до сих пор в целости), где написал карандашом: «Я приехал сегодня в Петербург и прямо с дороги — к вам в Б-ку. Ужé увидимся. Я остановился у графа Олсуфьева, на Фонтанке, рядом с III-м отделением». И, действительно, мы в то же утро увиделись и провели несколько часов вместе. В течение нашего знакомства мне удалось послать из Б-ки Льву Николаевичу в разное время громадную массу (сотни, м. б., тысячи) книг русских и иностранных, также рукописных статей и сочинений. В Москве же и Ясной Поляне я бывал много, очень много раз, и наши беседы бывали и в доме, и на прогулках по полям и лесам бесконечны! О чем только мы не говорили! Писать о Л. Н. мне случалось много раз. Если бы Вам, Петр Алексеевич, почему-нибудь это было интересно знать, Вам стоило бы только развернуть «Указатель лиц и предметов» в конце III-го тома моих «Сочинений», и Вы бы тотчас нашли там мои упоминания о Толстом. Замечу мимоходом, что, кажется, один я указывал русской публике на то, что только один ЛЕВ ВЕЛИКИЙ из всех русских писателей и очевидцев написал картины Севастопольской войны. Кроме него, никто не догадался, никто не нашел это нужным!! Скажу еще: мне удалось направить к Л. Н. в разное время двух истинно талантливых людей: Элиаса Гинцбурга (который по моей просьбе и указанию сделал с него один прекрасный бюст и 2 превосходных статуэтки) и Александра Верещагина, который читал ему свои чудесные рассказы из Болгарской войны. Оба с большим талантом написали «Воспоминания» о своем знакомстве с Л. Н. Я же сам напечатал в 1891 г. в «Новом времени» (26 июля) статью о бюсте и статуэтке Л. Н. Толстого работы Гинцбурга. (Бюст Бернштама никуда не годен!) Вот Вам покауда, Петр Алексеевич, несколько слов: в другой раз авось напишется побольше.

До свидания. Ваш В. Стасов.

¹ А. С. Суворин писал: «Это одно из самых реальных произведений реальной русской литературы; никто бы так не изобразил женскую натуру, как сделал Толстой... Автор не пощадил ничего и никого и выставил любовь с таким трезвым реализмом, до которого у нас никто не возвышался; нигде не перешел он границу этой правды, нигде не польстил инстинктам сладострастия. Истинный художник остался верен законам реализма, законам страсти и, сорвав поэтический ореол с нее, представил ее в настоящем виде... Общественное значение «Анны Карениной» бесспорно». («Литературные очерки». «Новое время», 1877, 13 мая.)

² Статья В. В. Стасова «Один из ваших читателей. По поводу г. Льва Толстого (письмо в редакцию)». «Новое время», 1877, 14 мая.

³ Знакомство состоялось в начале марта 1878 г. в Петербурге.

Вступление, публикация и примечания О. А. ГОЛИНЕНКО.

Есть русская интеллигенция!

Этот молодой человек с подчеркнуто невыразительной внешностью подошел ко мне в Чеховской библиотеке. И сообщил, что у него вышла книга, которую он хотел бы дать мне почитать, но не подарить, а если она мне понравится (вернее, окажется каким-либо образом интересна), то уж потом подарить. Потому что осталось мало экземпляров.

Но надо объяснить, что такое Чеховская библиотека. Вот уже несколько лет там собирается по четвергам литературный салон «Классики XXI века». Жанр литературного вечера — публичного чтения стихов или иных каких драматических отрывков — пережил за последнее десятилетие глубокую эволюцию. Когда-то это было глотком свободы. На литературные вечера бегали постольку, поскольку там можно было обрести духовную пищу, коварно сокрытую от нас головорезами-коммунистами. В книжке прочитать стихи Еременко было нельзя, а с эстрады услышать — можно.

Чуть позже, когда книжки уже оказались напечатаны, литературные салоны (так же, как, например, художественные галереи) стали центрами актуальной социальной практики — тусовки. Опороченная доблестными ревнителями «высоких смыслов» тусовка, однако, сыграла и продолжает играть серьезную роль в нелегком деле отлаживания механизмов функционирования культуры. А именно — в торном деле социализации новых культурных проектов и инициатив.

Когда пик моды на тусовки прошел, лучшие литературные салоны стали мутировать в клубы. В массе своей мы еще достаточно далеки от нормального гражданского расклада, когда у всякого есть свой клуб, куда он может либо в любой, либо в определенный день зайти, зная, что встретит тут стабильный набор лиц, впечатлений и развлечений. Иногда я использую для подобных целей ЦДЛ, но в последнее время чаще и чаще — Чеховскую библиотеку.

Потребность зайти куда-либо потусоваться или поклубиться возникает у меня не особенно часто. В итоге я попадаю в Чеховскую библиотеку один раз в месяц — полтора. И мне всякий раз мила неизменность форм. Каждый раз тебя ожидает один и тот же пейзаж. Несколько человек слушает в зале стихи о плачущих ивах и прекрасных дамах, несколько человек курит в курилке, несколько человек сидит в буфете, в фойе торгуют книжками, Дмитрий Кузмин стоит у гардероба, внимательно изучая свою собственную газету «Хроника литературной жизни Москвы». Можно пройти в буфет, выпить чашку чаю и уйти, не узнав, какой поэт-прозаик сегодня выступает, ни с кем не обмолвиться словом и тем не менее чувствовать себя «среди своих». В своей среде и в своей тарелке. Жизнь салона хороша тем, что в ней можно участвовать легкими безответственными прикосновениями.

Почему я так подробно об этом рассуждаю? Да потому, что текст молодого человека из первого абзаца прозвучал в этой касательно-расслабленной салонной атмосфере некоторым, что ли, наездом. Слишком сложным оказался этот текст: книга, которую следует взять, но помнить, что она не моя, и, стало быть, случайно не выбросить, а то хозяин потом предъявит претензию, и будет неудобно. Не объяснять же, что у меня с писателями совершенно не совпадают взгляды на судьбу книг, которые они мне дарят.

Писатель, втюхивающий критику свое свежее детище, почему-то воображает, что критик книжку: а) возьмет, б) прочтет, в) обессмертит в рецензии. Критик же всегда норовит ограничиться первым пунктом. На этой почве случаются, конечно, недоразумения, но, в общем, писатели тоже люди и понимают, что у критиков на них особого времени нет.

А этот молодой человек откровенно меня грузил. Он хотел совершить Дар. Но в обмен на Дар он требовал ответного Дара — моего Чтения. Он переносил на духовную сферу принципы взаимного обмена. Ты — мне, я — тебе. Я — дарю, ты — проявляешь интерес.

Я вспомнил одну замечательную фразу, которую вычитал как-то у Ренаты Гальцевой: чтение каких-то книг (что-то вроде Деррида, но это сейчас не важно), по ее мнению, требовало «неокупаемых нравственных усилий».

Я вспомнил еще какие-то примеры подобного рода. Я подумал, что люди, позволяющие себе такой дискурс, как правило, очень неприхотливы в смысле реальных товарно-денежных отношений. Честны, чисты и добры. Но вот когда речь идет об отношениях духовных, они становятся прямо-таки налоговыми инспекторами. Во всяком жесте ищут фальшь, во всяком духовном деянии — слишком ограниченную ответственность...

Да и интонация у молодого человека была несколько странная. Вручал он мне книгу с какой-то очевидной неприветливостью, настороженностью... Будто боялся, что его начнут обижать.

Конечно, книгу, полученную в таких нетривиальных обстоятельствах, я прочел, и, конечно, она мне понравилась. Чем я спешу с вами поделиться.

На обложке этой книги стоит: Густав Шлезингер. Заметки безъязыкого. Вышла она в издательстве «Либр». Публикатором выступает Никита Гладилин — скорее всего так и зовут сочинителя текста и моего нового знакомого.

Книжка представляет из себя заметки о судьбах русской интеллигенции, сделанные с лета 1988 года по февраль 1993-го. То есть в эпоху, когда дискуссия об интеллигенции в русском обществе претерпела «крутой перелом» (закавычено последнее словосочетание потому, что оно — название одной из передовых «Правды» той эпохи). А именно: от легкого трепя в городской и районной прессе, от рассуждений а-ля поздний академик Лихачев о том, что интеллигентность не сводится к умению правильно держать вилку и нож, — к довольно жестким заявлениям о том, что интеллигенция в специфически русском понимании этого слова уходит с исторической арены, уступая место интеллектуалам западного типа.

Следы этих дискуссий постоянно встречаются в книге Шлезингера — Гладилина. Причем не следы как отсветы бурь и отблески идей, а следы вполне библиографические. Первое, что меня пленило в этой книжке, — шквал отсылок к текущей прессе, к «Огоньку» и «Московским новостям», к «Литературной газете» и журналу «Век XX и мир», о существовании которого я, признаться, уже успел позабыть.

Тут в чем, может быть, соль: названные годы уже плотно стали историей. Если 1993-й еще можно воспринимать как недавнюю современность, то 1988-й однозначно принадлежит глубокой старине. Которую, однако же, я очень неплохо помню. Шлезингеровские отсылки к «Московским новостям» (включающие в себя, как правило, какое-либо мнение-рассуждение) совмещают во мне два этих ощущения: я оказываюсь внутри живой, теплой истории.

Дискуссия вокруг статьи А. Агеева в «Литобозе», где он выставлял нравственный счет русской литературе за ее слишком горячее желание изменить мир... Разговоры о повести Л. Бородина «Женщина и море», интеллигентный герой которой сталкивался в полный рост с хищной пастью надвигающегося дикого капитализма... Публикация в «Октябре» кормеровского «Наследства»...

Светлана Виноградова и Нинель Шахова — кто еще «вставит в историю» эти имена?

«Едва на экране возникает лощеный шоумен Листьев, как откуда ни возьмись прямо в прямой эфир врываются до зубов вооруженные молодчики, заламывают красавчику руки назад и суют ему под нос револьверные стволы. Вот оно, началось, — щедро удобряя штаны, голосят обыватели в блочно-панельных своих крепостях... Как бы не так — через минуту выясняется, что это всего лишь невинный розыгрыш, инсценировка, веселая прелюдия к серьезному разговору о пороках нашей доблестной армии». Сам я такой истории на перестроечном экране не помню, но, конечно, исходя из наших знаний о дальнейшей судьбе Листьева, помнить ее стоит.

Многое стоит помнить: как стояли за газетами в очередях и покупали их пачками, как объявляли нам, что нету бумаги и подписка поэтому лимитирована, как живо переживали дискуссию о русофобах после публикации отрывка из «Прогулок с Пушкиным», как дружно сидели на чемоданах (тогда у всех были знакомые, которые уехали или уезжают, теперь у всех есть знакомые, которые уехали, да вернулись обратно: ререпатрианты), как следили за дуэлями критиков-публицистов в толстых журналах... Как вообще ждали эти журналы.

Но в моей-то памяти это всплывает как увлекательный текст, как вкусная фактура истории, как лирический повод вернуться на мгновение в себя вчерашнего... Я люблю приключения дискурсов и зрелище того, как скромная заметка, про-

читанная мною восемь лет назад, например, в «Юности», вдруг всплывает в чужом тексте, чтобы напомнить какую-нибудь занятую картинку. Ну, скажем, вазу, которая стояла на шкафу в кухне моей тогдашней квартиры...

Для Густава Шлезингера все те же самые вещи — фон для серьезной духовной драмы. Если для меня «роль и судьба интеллигенции» — тема для интеллектуального упражнения, то для него — пот, кровь и судьба. Если для меня всякого рода самоидентификация, определение себя по отношению к тем или иным социальным группам — только ролевая игра, лабораторная работа по социальной психологии, то для автора — едва не смысл и соль бытия. Читать эту книгу было неуютно и зябко. Так же, как видеть в метро или на улице грязных детей, выпрашивающих милостыню, или стариков, собирающих бутылки. Хочется отвернуться. Не потому, что я защищен от этого мира крепкими стенами из долларовых пачек. Совсе нет: я допускаю, что когда-нибудь стану таким же нищим. Стена между нами вполне эфемерна. Мало ли как повернется история, каких только поворотов не знала судьба России, не говоря уж об индивидуальных судьбах, которым подвластна любая замисловатость. Просто я не вижу смысла страдать абстрактно, без конкретного повода и всегда волочь на себе ворох всемирных болей и хворей, до которых столь охоч наш интеллигент.

Интеллигент — каким он описан Густавом Шлезингером и каким он дан в образе автора — отличается двумя основными тактико-техническими характеристиками. Первая: «безусловное и безотчетное изначальное стремление к Истине, Добру и Красоте» с сопутствующей рефлексией. Вторая: вполне истерическое и мрачное переживание этого своего стремления, своей рефлексии и вообще всего комплекса вопросов, связанного с высокими (=глубокими) смыслами и Большими Буквами.

Очевидно, между прекрасным первым и подозрительным вторым существует какая-либо прочная связь. В самом деле, если Истина, Добро, Красота понимаются как некие предельные абстракты, стремление к которым сакрализуется само по себе, как таковое (безусловность и безотчетность — это псевдоним формулы «цель оправдывает средства»), то появляется благодатная почва для гордыни и комиссарских инвектив по отношению к тем, кто хочет строить свои отношения с абстрактами как-то иначе. Из любви к Большим Буквам вытекает плебейская привычка писать чужие фамилии с маленькой нарицательной буковки (Шлезингер в этом стилистическом приеме рекордсмен). Неумение интеллигент обращаться с понятиями и сущностями чуть более конкретными, чем Красота-Добро-Истина, заставляет его запереться в вольере высокомерия. На том основании, что он, видите ли, любит ошалелые смыслы, интеллигент считает себя вправе грузить других. «Невосприимчивость к боли, неприятие трагического во всех его проявлениях», — клеймит Шлезингер своих идеологических врагов, удивительнейшим (но вполне типичным для интеллигента) образом приравнивая свои представления о трагическом к нравственному абсолюту.

Кроме интеллигентов, по Шлезингеру, общество состоит из гопников («99% нищих и неумищих, окажись они на месте Рыжкова, без зарения совести постарались бы урвать кусок не меньший», — вполне здравое рассуждение) и из мещан. Интеллектуалы — это авангард мещанства. Все перечисленные существа глухи к интеллигентским ценностям, не хотят с утра до ночи страдать за судьбу традиции и сомневаться в основаниях бытия, и потому их следует мутузить как в хвост, так и в гриву. Книга написана на удивление грубо и злобно и соперничает в этой номинации даже с лучшими образцами праведной ярости в исполнении Павла Басинского, Станислава Рассадина или Андрея Немзера. Автор, правда, путано объясняет, что «в семантике каждого слова видит лишь денотативный элемент и не видит коннотативного», а потому «с равным успехом вместо "мерзкого гада" (и т. д.) я мог бы вписать "приятного симпатягу"»... Это, может, и звучало бы убедительно, если бы хоть однажды в тексте появился «приятный симпатяга». Увы, там только «мерзкие гады» и прочие «быдлоиды», лексика, за которую неплохо бы привлечь к административной ответственности как за мелкое хулиганство, — и пусть бесребренник-интеллигент нанимает адвоката, знающего слова «денотат» и «коннотат».

Впрочем, все перечисленные особенности интеллигенции хорошо известны. Густав Шлезингер сам посвящает своей родной «прослойке» немало обидных слов, и мне не хотелось бы здесь их повторять. Тем более вывод его все равно остается вполне розовым: «люди воздуха» (еще одно возвышенное определение «прослойки») сейчас в большом загоне, но это ничуть не отменяет красоты их помыслов. Тем более что изменить себя интеллигент не в состоянии. «Потому что я при всем желании не смогу подогнать себя хоть под какие-то стандарты».

Вот это последнее — единственное, в чем я позволю себе не согласиться с Густавом Шлезингером. Это рассуждение о стандартах и нестандартных — безусловное наследие того самого «совка», которым Шлезингер тоже zelo недоволен. Именно

тогда было принято разрабатывать в литературе и искусстве конфликт стандарта и оригинальности: и все неудачники получили на долгие десятилетия вперед хорошую духовную индульгенцию. «Я нестандартный, я не вписываюсь в социум». Но в то-то и дело, что интеллигентское самобичевание, апелляция к запредельным ценностям, рассуждения об онтологическом одиночестве, истерики по поводу умирания великой традиции — это и есть самый что ни на есть классический стандарт. Очень широко известная модель поведения, знакомая по сонмам томов творческая стратегия. Вот в чем не хочет себе признаться интеллигент Шлезингера. Ему важно сохранять представление о высокоом самостоянии в то время, как он всего лишь присоединяется к традиции, освоение которой требует не особо значительных («окупаемых», сказала бы Гальцева) интеллектуальных затрат. А что касается затрат моральных («онтологическое одиночество») — здесь интеллигент способен предъяснить любые язвы. Никто не спросит: а не фальшивы ли они? В юности я, споря со своей невестой о Высоцком и Достоевском, выпрыгнул (трезвый!) с балкона третьего этажа, доказывая какой-то Тезис-С-Большой-Буквы. Когда меня привезли в больницу, санитарка заворчала, что вот, людям делать нечего, из окон сигают, а я ей гордо заявил: де, прыгал я, думая о счастье всего человечества. Конечно, у нее хватило такта не назвать меня дураком. Как же, человек в высоких мыслях, словно в соплях, чего уж его опускаться...

Недавно в телевизоре какой-то банкир (Густав Шлезингер неизменно точнее, а потому сочнее в таких примерах), оценивая то ли поведение альпинистов, странных личностей, которые лазают по горам, то ли деятельность подвизников, спасающих от голода детей русских переселенцев, сказал: «Такие люди нужны обществу. Они сохраняют представление о высоких целях, о жертвенности...» Из уст сытого банкира это звучало почти гадко. Но вопрос такой остается: нужны ли обществу, особенно нынешнему русскому (которым, как официально признано, правят бандиты: иначе откуда бы появилась немцовская задача «жить в небандитском обществе?»), представления о том, что за облаками есть что-то светлое и абсолютное?

Очевидно, что нужны. Очевидно, что государство должно мастерить для населения какую-никакую метафизику. Очевидно, что само государство заинтересовано не в Боге, а в шоу-бизнесе, который так или иначе эксплуатирует идею Бога. Конечно, православная церковь (как, впрочем, и всякая другая) — это шоу-бизнес. Конечно, карательная болтовня о высокой культуре — это только курсы. Конечно, Ельцин думает не о мировой душе, когда наезжает на Мавзолей, а об электорате. И, конечно, этой системе нужны метафизические истерики и словесные рубки вокруг Больших Букв. Чтобы премьер-министр мог говорить хорошо упакованные гладкие тексты о национальной интеллигентности, о традициях глубокой духовности, надо, чтобы в основании этой темы мерцали молнии духовного беспредела, чтобы кто-то рвал на себе рубашку или обзывал другого быдлоидом... Это тот быт на золотодобыче — с поножовщиной и цингой, — который обеспечивает драгоценные бранзулетки на бархатных подушечках.

Кроме того, это ведь еще и неплохая литература. Если бы слово «быдлоид» прозвучало в юридическом или экономическом контексте, зарвавшегося лоха или зарезали бы ножом, или засадили бы за решетку. Но сфера идей у нас традиционно — место, где можно обливать друг друга помоями, не ожидая никаких возмездий, кроме ответной порции того же вонючего вещества. Надо признать, делается это вполне убедительно и мастеровито. По-прежнему самое интересное литературное чтение в России — ругань. Как ругается В. Топоров на друзей Бродского в «Постскрипуме», любо-дорого посмотреть! Какой драйв появляется в текстах упоминавшихся Немзера и Басинского, когда их кто-нибудь хорошенько разозлил! Пыль из-под копыт!

Идея играет в жизни россиянина преувеличенную роль (в этом смысле очень показателен как раз описанный Шлезингером период нашей истории со всеми «Огоньками» и «Московскими новостями»): это не порок, а особенность национальной культуры. Ее нужно не изводить, а пестовать. При условии, если она сидит в гетто, а не лезет в конституцию. При условии, если к ней относятся как к товару, который можно выгодно продать. Или же в качестве нравственной позиции («Да оставь ты его, не убивай, он сумасшедший интеллигент»), или же в качестве литературного продукта со странностями (Достоевский или Сорокин: любой пример хорош), либо в качестве идеологии «империи зла», которую следует задобрять, дабы она не раздала спяну «першинги» солдатам в счет вещевого довольствия.



Простое как самое сложное

Не мной замечено: чем ярче, крупнее, «фигурнее» человек, тем проще он в своих не только бытовых, но и культурных жестах. Главной отличительной чертой гения Пушкин называл простодушие. И, наоборот: именно всевозможная мелочь старательно рядится в пестрые, разноцветные одежды. Это почти аксиома, но она требует поправки. Не всякая простота — признак внутренней глубины. Есть простота отвратительная — следствие не душевного благородства, а душевного плебейства.

В Америке в «русском кафе» выступает молодой поэт, эмигрант. Смотрю, слушаю и не верю ни ушам, ни глазам своим! Гладколиций, с маленькими глазками, поразительно напоминающий ответственного комсомольского работника времен моей незабвенной юности... Но главное: о чем стихи? Об осинах, о березах, о сурепке, чуть ли не о яровой пашеничке! Отчитав и даже сорвав аплодисмент, парняга садится за столик и элементарно с кем-то напивается. Боже, думаю. И здесь свой цэдээл, свой гадючник! Стоило мне за семь верст киселя хлебать!

Замечательной также бывает простота наших «новых русских». От нее не мешь, впадаешь в столбняк, потому что часто она не выше, а *ниже* простого человеческого понимания. Вот история о том, как меня, литературного критика, *покупа-ли*. Вроде бы стоит гордиться: раз покупают — значит, чего-то стоишь. Но — не выходит...

В редакцию «Литературной газеты» без звонка явился некто в сером длинном и сильно помятом сзади пальто (в машине помял, смекнул я, в метро не так помнут).

— Это литературный отдел?

— Да.

— Надо рецензию на книгу.

— Что значит *надо*?

Некто в сером объяснял с довольно усталым видом: я, верно, был не первым в списке. Банкир. Не крупный, но банкир. Пишет стихи. Издал свою книгу. А он (то есть этот некто в сером) делает ей «промоушен». Нужна рецензия. Разумеется, за деньги.

О Боже, подумал я. «Промоушен». И слова-то у них какие-то солитерные! И тут же совершил ошибку, которой до сих пор простить себе не могу.

— Можно на книгу взглянуть?

Некто вытащил из дипломата книгу и протянул мне, но неожиданно предупредил:

— Учтите, что автор этой книги — столь же амбициозен, сколь и бездарен.

У меня отвалилась челюсть. Ни фигя себе «промоушен»! Мало того, что как проститутку покупают, но еще и честно оговаривают, что клиент-то СПИДом болен! Короче, хватило ума книжку в руку не брать. Указав той самой рукой на дверь.

Не тут-то было. Некто меня «не понял». В самом деле — что это за игры такие!

— Вам что, деньги не нужны?

— Нужны.

— Ну и...

Я стал говорить, что в моей среде «так не принято». И вновь допустил ошибку, все запутал, усложнил. Потому что некто стал допытываться, *как именно* в моей среде принято (то есть деньги брать), а на ответ, что *никак* не принято, смотрел на

меня как на барана и начинал все сызнова. Ситуация плавно перерастала в скандал (что делать? выгонять? кричать «пошел вон?»), которого мне не хотелось, потому что сам повел себя дураком. Не надо было книжку спрашивать. И тогда я решился испытать последнее. Понимаешь, сказал я, инстинктивно переходя на «ты». Понимаешь, для меня честное имя и есть деньги. Если в журналах, не дай Бог, прознают, что я «покупной», меня печатать перестанут. Ты понял, командир, в натуре?

Он наконец-то, в натуре, меня понял! Даже с каким-то уважением посмотрел. Мол, извини! За простого фраера тебя принял.

Тогда он ушел, а я вздохнул с облегчением и подумал, какая это на самом деле сложная штука — наша современная уловка.

Такая же сложная, как и наша новейшая филологическая среда. Когда в ней оказываешься или читаешь рожденные там книги и статьи, то сначала теряешься от всей этой жутчайшей терминологии, от этого «птичьего» языка, словно находишься в лесу, не умея различать голоса птиц. Однажды я честно и внимательно пытался освоить этот язык, вооружившись справочником «Современное зарубежное литературоведение» (М., 1996), рассудив так, что коли это язык не русский, то непременно зарубежный.

Ненадолго хватило! Вот, например, очаровательное словечко «нарратор». Немного владея иностранным, я догадался, что это «повествователь». Но я был не прав! «Нарратор» — это *«повествовательная инстанция внутритекстовой коммуникации; разновидность внутреннего адресата, явного или подразумеваемого собеседника, к которому обращена речь рассказчика-нарратора; слушателя обращенного к нему рассказа, воспринимающего информации, сообщаемой повествователем»*.

Всячески напрягаю мозги и кумекаю, что «нарратор» — это не повествователь, а непонятный гибрид читателя и повествователя. А что такое *просто* читатель? Но просто читателя, оказывается, не существует, а есть читатель «имплицитный» и «эксплицитный». «Имплицитный читатель» — это опять же «повествовательная инстанция», но теперь «парная имплицитному автору и, по нарратологическим представлениям, ответственная за установление той «абстрактной коммуникативной ситуации», в результате которой литературный текст (как закодированное автором «сообщение») декодируется, расшифровывается, т. е. прочитывается читателем и превращается в художественное произведение».

То есть надо сначала выяснить, что такое «имплицитный автор». Это *«повествовательная инстанция, не воплощенная в художественном тексте в виде персонажа-рассказчика и воссоздаваемая читателем в процессе чтения как подразумеваемый, имплицитный «образ автора»*.

Не скажу, что все это вовсе не интересно и бессмысленно. Но только это не настоящий смысл, а игра в смысл, притом настолько сложная и запутанная, что гораздо *проще* в нее не вовлекаться, и именно тогда станет *сложнее* и интереснее жить. В том числе и читать книги. Я, например, из справочника выяснил, что такое «тщательное прочтение». Это совсем не то, что мы понимали под «медленным чтением». Это *«методика работы с текстом в «новой критике», требующая от читателя фокусирования внимания в процессе чтения на произведении как таковом. Читатель не должен отвлекаться на фиксацию собственного отклика на произведение и на выявление его связей с окружающей действительностью»*.

Да за что же вы его так мордуете, этого бедного «нового критика»! Это же только протоколы в ГПУ и НКВД так читать и подписывать заставляли! Вне всякой связи с «окружающей действительностью» и, конечно, без всякого «собственного отклика». Да дайте вы ему от книги на секунду оторваться, в окно посмотреть, с женой читаемое обсудить, что-то вспомнить, что-то в себе пересмотреть... О чем-то *другом* подумать. Ведь для того и книги пишутся! Флобер на стуле подпрыгивал, читая Тургенева. Не *тщательно*, наверно, читал...

Истинная сложность вырастает из простоты. Я это понял, когда окончательно запутавшись в философии и социально-политических взглядах В. В. Розанова, прочитал в его биографии, написанной Э. Голлербахом, замечательное место:

«В Розанове писатель и человек поясняют и дополняют друг друга. Вот почему изучать его жизнь нужно в свете его творчества. И вот почему в корне ошибочен формально-критический подход к Розанову... Его можно понять только «изнутри», только психологический анализ может привести к пониманию Розанова. Его «л и о» и есть его «ф и л о с о ф и я» (В. В. Розанов. Жизнь и творчество. Пб., 1922).

И тогда я вспомнил о самой серьезной (по его же признанию) детской душевной травме Розанова. Зарезали корову, которая долго давала небогатой семье Розановых молоко. Для ребенка это было невероятно. Как так! Она *кормила*, а ее *зарезали*! Если не весь комплекс философских взглядов Розанова, то все его социально-политические взгляды точно происходят отсюда, от этой кровоточащей, дымящейся коровьей туши. И понятно, отчего он так ненавидел всех «праздно болтающих», плюющих в собственный колодец, готовых кусать сосцы своей кормилицы.

Розановский учитель и предшественник Константин Леонтьев был еще *проще* и оттого *гениальнее* Розанова. Мыслитель, создавший теорию культурного прогресса (вернее, регресса), — равных по стройности и изысканной простоте немного в мировой культурологии — оставил нам еще и письма, которые писались «просто так» (в отличие от «опавших листьев» Розанова, которые все же «падали» на типографские листы).

И вот эти письма есть едва ли не самое значительное, что создал Леонтьев. *Более значительное*, чем даже его «Византизм и славянство». В сущности, если бы «Византизм...» и не сохранился, по письмам Леонтьева можно было бы восстановить *все*. Даже и восстанавливать бы не потребовалось; умные и так бы поняли и через самое *простое* пришли бы к еще более *сложному*, чем «Византизм...», сегодня бесконечно растасканный на цитаты и опошленный.

Но что такое эти письма? Это тихие, неторопливые беседы с немногими друзьями и учениками, поразительные именно бытовыми штрихами и какими-то легчайшими переливами интонаций.

К. А. Губастову (из Кудинова) — о своем пробуждении утром:

«Крепчусь. Закуриваю сигару».

Весь портрет Леонтьева в трех словах! Эстета и монаха, бунтаря и смиренника. Ему же (о Лескове):

«...зовет меня инквизитором, говорит, что я хочу, чтобы профессоров «секли» (я этого не говорил, но не скрою от Вас, что я против этого, не шутя, ничего не имею: не в ж... (извините) профессорской сосредоточено все достоинство человеческого».

Скажете: грубо, несерьезно? Но когда я в сотый раз слышу сегодня о «правах человека» от людей, на лицах которых ничего человеческого давно не осталось, и сравниваю это с мужественными строками недавно ушедшего от нас Владимира Солова («И не надо мне прав человека, Я давно уже не человек...»), то почему-то вспоминаю именно эти леонтьевские слова. Он не требовал «прав». Он сидел в своей Кудиновке (проданной потом от нищеты), ловил и жарил карасей в постные дни и писал работы, по которым мы и сейчас можем сверять пульс нашей культуры. Он человеком *просто был!*

М. В. Леонтьевой (из Москвы):

«Да что же за вера без мистицизма — т. е. без чудес, без символов, без веры во все эти символы (т. е. в крест, даже в машинальный, например)?»

Мысль очень простая, «детская», но какая глубокая! До нее не мог додуматься и сам Лев Толстой. «Да что ж это за вера...» — если не веришь в самое первичное, элементарное, во что может поверить всякий ребенок, которого на «сложности» не проведешь? Моя деревенская прабабка никогда не говорила «крестик» (висел на шее), но говорила «боженька». Крестик был боженькой. С боженькой на груди она спокойно и померла.

Н. Н. Страхову (из Кудинова):

«Без поэзии правил нет и поэзии нарушения».

Выдумывай сколько хочешь, но нет более ясной и более исчерпывающей формулы эстетики! Но ведь 99 процентов современных литераторов и людей искусства просто органически не способны пробиться до ее смысла!

«Рецептивная эстетика — направление в критике и литературоведении, исходящее из идеи, что произведение «возникает», «реализуется» только в процессе «встречи», контакта литературного текста с читателем, который благодаря «обратной связи», в свою очередь, воздействует на произведение, определяя тем самым конкретно-исторический характер его восприятия и бытования». (Современное зарубежное литературоведение.)

Боже, сколько слов!

Е. М. БАТЛЕР. МАГИ. М., Ассоциация Духовного Единения «Золотой Век», 1997. Тир. 1000 экз.

Иногда скучно, иногда увлекательно автор повествует о Заратустре и Симоне Маге, Пифагоре и Христе, Моисее и Мерлине. Он формулирует десять составляющих реконструированного варианта мифа о маге: таинственное происхождение, знамение перед рождением героя, угроза его жизни во младенчестве, посвящение в тайну, длительное путешествие, магическое соперничество, преследование, решающая сцена, необычная смерть и воскресение. Сведения известные дополнены новыми деталями. Рассказ о Соломоне, поднимающемся в небеса, спускающемся на морское дно и сошедшем с ума от любовной страсти, неожиданно отсылает и к лермонтовскому «Демону», и к его куда более популярному двойнику, народному романсу «Очаровательные глазки».

Михаил БУЛГАКОВ. ДНЕВНИК. ПИСЬМА. 1914—1940. М., «Современный писатель», 1997. 5000 экз.

Сборник объединил подробно прокомментированные письма и дневник писателя, а также автобиографическую прозу и устные рассказы, записанные Е. С. Булгаковой. Возможно, наибольший интерес вызовет в обилии подобранные фотографии — любительские снимки красноречивее и убедительнее любых комментариев.

И. АННЕНСКИЙ. МАГДАЛИНА. Поэма. М., «ИЦ-Гарант», 1997. 1200 экз.

Драматическая поэма, на заглавном листе которой автор указал: «Начата весной 1874 г. Кончена осенью 1875», — впервые печатается по автографу и рукописному списку, хранящимся в РГАЛИ. Как можно понять из датировки, это еще не тот Анненский, что любим читателями, обретший себя после знакомства с французской поэзией. Остается догадываться, какой духовный подвиг следовало совершить, чтобы стать самим собой. И если громоздкая форма поэмы и непривычный лад стиха заставят испытать разочарование, то пространная статья публикатора будет прочитана с интересом. Что делать, иногда в культуре важнее примечания, чем текст, примечания породивший.

Сьюзен ЗОНТАГ. МЫСЛЬ КАК СТРАСТЬ. Избранные эссе 1960—70-х годов. М., Русское феноменологическое общество, 1997. 3000 экз.

Мы живем на развалинах культуры, в какой-то части не сбывшейся, в какой-то пока становящейся, что делается совершенно ясно, когда листаешь книги, прежде от нас закрытые. Отмечаешь даже без горечи, со спокойствием: это безнадежно запоздало (так запоздало эссе Сьюзен Зонтаг «Хеленинги: искусство безоглядных сопоставлений»), об этом думать рано (в «Заметках о кэмпе» подчеркивается: вкус к кэмповому искусству — особого рода дендизм, эстетизм. Какие тут нужны комментарии? Взгляните вокруг...). В своей последней книге В. Б. Шкловский вздыхал: что-нибудь почитать перед сном... Мопассана? Нет, ни к чему. Лескова? «Он уже не в моей жизни». Состояние культуры и состояние человека иногда странно повторяют друг друга, зеркальны.

Сергей ПЕТРОВ. ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. Спб., «ЭЗРО», 1997. Тираж не указан.

Не ведаю, то ли от нашего величайшего богатства духовного, то ли от духовной бедности, а потому подлости, возможно, пребывают в небытии поэты и писатели такой величины, что в государстве более бережном и осторожном, пестующем собственную духовность, они встали едва ли бы не в первом ряду. Мы же воспринимаем почти как должное, что полу-, на треть, на четверть известный при жизни поэт посмертно устаетивается малой книжечки, куда входит всего несколько десятков стихов. Впрочем, об этом уже сказано в одном из немногих стихотворений, опубликованных, еще когда поэт был жив.

Я ханский внучек, маленький малай я,
обличий мне не надобно иных.
И дыбится судьбою Himalaya.
Жизнь — как скопленье пауз ледяных.

Г. АДАМОВИЧ. ОДИНОЧЕСТВО И СВОБОДА. М., «Республика», 1996. 5000 экз.

В сборник вошли статьи, эссе и письма разных лет, стихотворения и рассказы, а также книги «Одиночество и свобода» и «Комментарии» (ее бы стоило перечитать внимательно. Хотя бы фрагмент, где Адамович рассуждает, можно ли вернуть Россию к прежнему состоянию, с тройками, ямщиками, валдайскими колокольчиками, благообразными мужиками в холщовых рубашках, с гимназистками, гуляющими под руку, с монастырями и усадьбами, воскресить «святую Русь», — слова, взятые в кавычки самим Адамовичем. Что следует сделать, превращая подобный проект в действительность? «Надо было бы сжечь почти все книги, консервативные или рево-

люционные — все равно, закрыть почти все школы; разрушить все «стройки» и «строи» и ждать, пока не умрет последний, кто видел иное. Надо было бы на много лет прервать всякую связь с зараженным миром, закрыть все границы; это бред, конечно, это невозможно, но я говорю предположительно... После этого, когда улечится всякое воспоминание об усилиях и борьбе человека, — да, тогда, пожалуй, можно было бы попробовать святороссийскую реставрацию. В глубокой тьме, как скверное дело». Сказано предельно просто. Почему же торопливо возводят храмы, если строительство не терпит спешки, почему публично призывают к покаянию, если не каждому есть, в чем каяться, и винят в наиболее страшном и нелепом прегрешении, в том, что ты жил в свой век, избывал отпущенный жизненный срок со своей страной? Потому ли, что насаждающие скороспелое благолепие не читали того же Адамовича? Либо они вообще не умеют читать?)

ФУЛКАНЕЛЛИ. ТАЙНЫ ГОТИЧЕСКИХ СОБОРОВ. [Б.м.] «REFL-book», «Ваклер», 1996. 10 000 экз.

Большинству читателей имя, а вернее, псевдоним Фулканелли стал известен из вышедшей в 1960 году книги Луи Повеля и Жака Бержье «Утро магов», но это было не началом, а концовкой истории. Человек, называвший себя Фулканелли, исчез задолго до того. Был ли он и вправду одним из величайших адептов алхимической науки, нашедшим философский камень и получившим в награду бессмертие, о том нет никаких сведений, а лишь глухие намеки. Определенно можно утверждать только, что существуют две книги, в которые (по словам знатоков) он вложил свою мудрость. «Тайны готических соборов», зашифрованы ли в ней алхимические знания либо толкуется только о средневековой архитектуре, равно заслуживают пристального интереса и из-за материала, здесь собранного, и из-за доступности изложения, и из-за позиции автора, не навязывающего собственной точки зрения, но убедительного даже в деталях. Что до судьбы Фулканелли, она осталась загадкой: человека, по слухам, владеющего философским камнем, после второй мировой войны искали американская и французская разведки, искали безуспешно. Вероятность, что Фулканелли преобразился и живет где-то рядом, рождает самые фантастические мысли.

Георг ТРАКЛЬ. СТИХОТВОРЕНИЯ. ПРОЗА. ПИСЬМА. Спб., «Симпозиум», 1996. 1000 экз.

Последние несколько лет стихи австрийского поэта стали у нас объектом старательного перевода. Причиной тому и трагическая судьба Тракля, ранняя кончина, очень похожая на самоубийство, и тональность его поэзии. Недаром он признавался в письме, что чувствует «странный озноб превращения, телесно ощутимый до невыносимости, видения мрака, вплоть до осознания собственной смерти, восторги, вплоть до оцепенелости; и протяженное видение грустных сновидений». Стихи Тракля интересны и тем, что у них чаще всего несколько вариантов, встречаются и 1-я, и 2-я, и 4-я редакции. Поэт считал: раз от раза уничтожая личное, он постепенно приходит к универсализму. Но не освободиться от впечатления — наслоение варианта на вариант подходит на приумножение компьютерных файлов, остающихся в памяти машины равноправными. Инвариантность стихов плюс пристрастие к наркотикам придают «машинность» и облику Тракля, позволяють иначе оценить его поведение, в частности, объяснить нарушение культурных законов, например, инцест не как ужасную случайность, а как мифологические последствия «механистичности», «големичности» поэта.

Аза ТАХО-ГОДИ. ЛОСЕВ. М., «Молодая гвардия», «Студенческий меридиан», 1997. 10 000 экз.

Вторая жена и долголетний помощник А. Ф. Лосева рассказывает о драматической жизни русского философа. Но искренняя интонация повествования контрастирует с абсурдными мелочами, придающими обыденным поступкам загадочную парадоксальность. Чего стоит хотя бы такой факт: в память об отце Лосеву осталась дорогая итальянская скрипка, ее подменили другой, тем не менее Лосев ее бережно хранил до самой смерти. Хранить в память о былом знак знака... Любопытная деталь. И не любопытно ли, что в юности философ вел старательные списки своих платонических влюбленностей, присваивая каждой девушке особый порядковый номер, письма же писал по двадцать, а порою по сорок страниц. Бывало и так: не решаясь передать понравившейся девушке приготовленное письмо, клал письмо в карман тужурки, где их накопилось немало. Впрочем, лосевская личность будто провоцирует странности: собравшиеся на конференцию, посвященную памяти Лосева, отправились на родину ученого, однако там никак не могли установить, какой из стоящих рядом домов занимала семья Лосева, определять взылись при помощи маятника и лозы (так ищут место для колодца). Особенно же поражает умиление, которое вызывает у автора книги то, что знаменитый философ происходил из казаков. Описывается, как проходили торжественные казачьи молебны, в какую форму наряжался маленький казачок и с какой серьезностью отдавал честь новому наказному атаману. Кажется, спросишь у Лосева: «Алексей Федорович, как вы относитесь к философии Платона, музыке Вагнера, математическим выкладкам Кантора?» И услышишь в ответ: «Любо!» Нет, всему существует мера.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца этого года и в 1998 году
«Октябрь» предполагает опубликовать
новые произведения известных авторов.*

Среди них:

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга вторая.

Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**

Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года.

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Вяч. Вс. ИВАНОВ. **Воспоминания. Бродский. Пастернак.**

Владимир КАНТОР. **Соседи.** Повесть.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Письма к Господу Богу.** Роман.

Анатолий КИМ. **Мое прошлое.** Автобиографическая повесть.

Юнна МОРИЦ. **Рассказы. Стихи.**

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Владислав ОТРОШЕНКО. **Приложение к фотоальбому.** Роман.

Олег ПАВЛОВ. **Повесть. Записки из-под сапога.** Рассказы.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы и сказки.**

Михаил ПРИШВИН. **Дневник 1939 года.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Уильям САРОЯН. **Рассказы.**

Алексей ЦВЕТКОВ. **Просто голос.** Поэма. Продолжение.

Геннадий ШПАЛИКОВ. **Дневники. Стихи.**

Военный дневник великого князя Андрея Владимировича РОМА-НОВА.

А также **новые произведения** Юрия БУЙДЫ, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Юрия ДАВЫДОВА, Григория КАНОВИЧА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Григория ПЕТРОВА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Валерия ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА, Натальи СУХАНОВОЙ, Людмилы УЛИЦКОЙ, Марины УРУСОВОЙ, Бориса ХАЗАНОВА, Асара ЭППЕЛЯ и др.

Следите за нашей рекламой!